Галина НИКОЛАЕВА

3

Галина
НИКОЛАЕВА

Собрание сочинений

Галина НИКОЛАЕВА

Собрание сочинений в трех томах

Москва
«Художественная литература»
1988

Галина
НИКОЛАЕВА

Собрание
сочинений
Том
третий

ПРОЗА

ПОЭЗИЯ

ПУБЛИЦИСТИКА

Москва
«Художественная
литература»
1988

ББК 84Р7
Н63

Составление
М. САГАЛОВИЧА

Научная подготовка текста и комментарии
А. АЛЕКСАНДРОВОЙ

Оформление художника
Ю. БОЯРСКОГО

Н $\frac{4702010200-216}{028(01)-88}$ подписное

ISBN 5-280-00145-7 (т. 3)
ISBN 5-280-00144-9

ПРОЗА

ПОВЕСТЬ О ДИРЕКТОРЕ МТС И ГЛАВНОМ АГРОНОМЕ

Посвящается комсомольцам
Алтая и Казахстана

Это случилось в Кремле на совещании передовиков сельского хозяйства.

Длинный высокий зал был переполнен. Дневной свет, скупо падавший из узких и глубоких окон, меркпод ровным электрическим сиянием, рождавшимся там, где высокие пилястры с острыми гранями переходили в сводчатые потолки. Под сводами скрещивались лучи «юпитеров», а в проходах между креслами бесшумно сновали кинооператоры и корреспонденты с аппаратами. Из ниши, расположенной за трибунами, на полном шагу входила в зал огромная фигура Ленина. Те, кто поднимались на трибуну, шли ему навстречу, и многие поднимались плотной поступью — не в первый раз и по праву.

— Я, товарищи, хочу сказать о механизации картофелеуборки...— говорила Ефимова, председатель знаменитого овощеводческого колхоза, грузноватая женщина в пуховом платке. Многие из присутствующих хорошо знали и судьбу ее, и характер, и даже любимое ее выражение «конечно-безусловно».— Механизация картофелеуборки — это, конечно-безусловно, большой-колоссальный вопрос! — говорила она своим обычным мерным и властным говором.— Нынче мы урожай удвоили, а убирать нечем! Пришла я к министру. «Хочешь не хочешь, Иван Александрович, выручай! Отпусти комбайн!» Дали нам картофелеуборочный комбайн, а он не усовершенствован! Товарищи директора заводов, товарищи инженеры, товарищи конструктора! Да разве же это конструкция, чтоб тридцать — сорок процентов картошки землей заваливать? Кому это надо, кому ж надо?!

А когда отзвучал этот занесенный над головами конструкторов вопрос, председатель предоставил слово директору Журавинской МТС Чаликову. На трибуну торопливо поднялся никому не известный юноша, с тонкой, как у подростка, шеей и розовыми щеками. И его имя, и название МТС участники совещания услышали впервые.

— После сентябрьского Пленума ЦК КПСС наша Журавинская МТС выполняет и перевыполняет...— Юноша запнулся, но быстро поправился: — Наша Журавинская МТС, как и тысячи других МТС, как и весь многомиллионный советский народ, с новым приливом энтузиазма включилась в общенародное дело и ежедекадно выполняет и перевыполняет нормы и обязательства. В переводе на мягкую пахоту...

После деловитых речей прежних ораторов неуместным казался поток общих фраз. Многие насторожились.

Все знали, какими дорогами пришли на кремлевскую трибуну Ефимова и те, кто выступал до нее.

Но какая дорога привела на эту трибуну юношу с заученной речью, с чем-то мягким, расплывчатым во всем его облике?..

Когда с видимым облегчением оратор выбрался из общих фраз и уже совершенно легко и бойко принялся сыпать цифрами гектаров, центнеров и процентов, председательствующий нажал на кнопку звонка и сказал:

— Проценты, конечно, дело великое! Однако расскажите-ка вы нам существо дела! Расскажите, как вы сумели в засуху взять пшенички в два раза больше, чем соседние МТС.

— Наша МТС действительно собрала урожай почти в два раза больший, чем в целом по району. Это произошло следующим образом...— с разгона, в прежнем темпе начал юноша и вдруг запнулся. Взгляд его остановился на чем-то далеком. Тонкая шея дернулась...

— Это произошло следующим образом...— повторил он и опять умолк.

Молчание затягивалось. Взгляд юноши, словно ища выхода, побежал по высоким стенам узкого зала, по рядам кресел, уходящих в глубину... В зале стояло выжидательное молчание.

— Это произошло следующим образом...— в третий раз повторил оратор с машинальностью испорченной патефонной пластинки.

— Товарищ Чаликов не собирался выступать, но мы его попросили,— поспешил объяснить председатель слушателям, желая выручить оратора, и ободряюще обернулся к нему: — Вы нам попросту расскажите, как вы этого

добились. Расскажите, как это делается. Что вашу МТС подняло?—От желания помочь оратору он даже приподнял обе руки, словно на них была невидимая ноша.

Лицо юноши побагровело. Он переступил с ноги на ногу и с трудом выдавил из себя два слова:

— Нас... подняло...

После этого он опять замолк. Молчание его приобретало безнадежный характер. Освещенный со всех сторон прожекторами, красный, с беспомощным, растерянным взглядом, он мучился на глазах у тысячи людей. Беспощадные кинооператоры целились в него аппаратами. А он подергивал головой и руками с таким усилием, словно ладони его приклеились к краю трибуны и теперь никак не могут отклеиться. Ефимова, сидя в президиуме, взглянула на него и рассмеялась добродушно, со вкусом. Люди в зале откликнулись смехом.

— Да-а!..—улыбаясь и пытаясь сдержать улыбку, сказал председательствующий.—Как видно, на деле вы сильнее, чем на словах... Ну что ж... Уж лучше так, чем наоборот!..

А юноша наконец «отклеился» от трибуны, с каким-то отчаянным выражением махнул рукой и, не проронив больше ни слова, начал спускаться по ступенькам в зал.

Неожиданный финал такого гладкого и бойкого вначале выступления рассмешил слушателей. Под смех и аплодисменты юноша брел к своему месту, натыкаясь на прожектора и радостных репортеров.

Общий смех, сопровождавший его, был не обидным, а дружеским и даже сочувственным. Многим вспомнились в эту минуту ранняя-ранняя молодость и свое отчаянное волнение при первом большом выступлении. Состояние оратора поняли и не осудили; теперь, когда из слов председателя узнали о его работе, многим даже понравилось то, что он оказался не говоруном, что гладкость его первых фраз, наверное, стоила ему больших усилий.

Посмеявшись, все забыли об этом эпизоде.

Через несколько дней после совещания я уезжала из Москвы. В купе оказался лишь один человек, вернее,одна спина, недвижная, безмолвная, прикрытая драповым пальто.

Пока я пила чай и укладывалась спать, в купе царила полная тишина, и только три пивные бутылки в сетке над моим соседом мерно позвякивали в такт поезду.

В глухую полночь спина неожиданно начала подавать признаки жизни.

Сперва сосед тихо покряхтел и повздыхал, потом произнес отчетливым шепотом:

— Ох, как плохо!.. Ой-ой-ой, как плохо!..— Немного спустя он возразил самому себе: — Нет... хорошо...— И наконец, тем же шепотом заключил: — И очень хорошо, и очень плохо...

Я кашлянула и включила свет. Человек повернулся, и прямо перед собой я увидела голубые прозрачные глаза и пушистые ресницы незадачливого оратора.

Он вздохнул и сел.

Лицо его поразило меня странной смесью выражений: в нем была и радостная решимость, и безнадежная отчаянность человека, на все махнувшего рукой, и подлинное страдание, и какое-то полуюмористическое отношение к этому страданию. Бросалась в глаза еще одна особенность: вся верхняя часть его лица, с большими задумчивыми глазами и девичьими ресницами, казалась излишне мягкой, женственной, но это впечатление как бы уравновешивалось энергической нижней частью лица: подбородок был волевой, линия крупного рта была тверда, и очень хороша была улыбка, скорее не улыбка, а усмешка, та веселая, быстрая и чуть ироническая усмешка, которою умеют усмехнуться над самим собой и над трудностью своего положения только люди, обладающие ясным умом и веселым мужеством...

Бывает так, что нечаянному спутнику открывают то, что не открыли бы и лучшему другу. Тишина ли дорожной ночи располагала к беседе, или чувства настолько перенасыщали моего спутника, что сами собой «выпадали» в виде слов, подобно тому, как сами собой выпадают соли из перенасыщенного солевого раствора...

Не знаю, что было причиной, только сложная история нескольких людей прошла передо мной за эту ночь.

— Сейчас мне все ясно, но окончательно прояснилось совсем недавно...— так начал мой спутник.— Тогда... на трибуне... вдруг все сразу поднялось передо мною... Все концы сошлись в один узел... Увидел я все в целом тогда... а понял... еще позднее... Но вам я стану рассказывать так, как мне представлялось в то время...

Видимо, он боялся, что мои слова и движения оторвут его от потока еще горячих воспоминаний, и поэтому повел рассказ, полуотвернувшись от меня к окну, словно говорил не мне, а оконному стеклу, то глянцевито-черному, то пересеченному летящими мимо огнями станций и полустанков...

— Кончил я техникум по сельхозмашиностроению... Как отличника учебы, бывшего тракториста, направили меня директором МТС... Пока учился, все было, что

полагается: и Маяковского декламировал — «Слушайте, товарищи потомки», и пел «Чому ж я не сокіл», и играл левую полузащиту в сборной города. И, главное, был убежден, что как только кончу учиться, так сейчас же начну совершать разные трудовые подвиги и героические поступки!.. Но в Журавинской МТС, куда меня направили, никакого героизма не требовалось. Степь у нас хлебная, МТС в районе раскиданы в степи просторно, все неплохие, и все идут «ухо в ухо». Наша от других не отставала! Договора из года в год выполняла, и горючее из года в год экономила, и шла на добром счету в области... Одним словом, никаких таких условий для героизма мне предоставлено не было,— чуть усмехнулся мой спутник.— Были, конечно, у нас и трудности, и отстающие колхозы, да ведь где их не бывает? Преодолевать эти трудности мне, тогда еще первогодку в МТС, помогали мои товарищи. А народ у нас подобрался интересный. Партийное руководство осуществлял мой ровесник Федя. Пять лет назад был трактористом, а за эти годы вымахал, как подсолнух вымахивает над тыном. Партийную школу кончил, и такая в нем страсть к партийной работе, словно это от природы в него заложено.

Когда он пришел в Журавинскую МТС, отставала она от соседних, директор был слабый. Федя вместе с главным инженером добился того, что наша МТС догнала соседей. Что касается лекций по теоретическим вопросам, так Федя считался первым лектором в районе.

Огорчала его собственная молодость и неудачная наружность. Вернее, чересчур удачная: он у нас этакий русский молодец — кровь с молоком, русые кудри.

Иной раз он с жаром и старанием делает доклад о международном положении, а трактористки после доклада вместо вопросов поют ему тихонько: «Парень молодой-молодой, в синей рубашоночке, хорошенький такой!..» А он человек серьезный, сосредоточенный, ему обидно и досадно.

— Черт ее знает, что у меня за видимость! — говорит.— Ванька-ключник какой-то... Приключится же у человека такое противоречие между формой и содержанием... Хоть уксус пей от румянца!..

Главный агроном наш, Игнат Игнатович,— старый практик, из давних украинских переселенцев. Ехали когда-то в наши места бедняки с Украины... Игнат Игнатович еще мальчишкой лепил первую в нашей степи мазанку, а теперь у него знаменитый в районе сад, куча детей и внуков. Сам он круглый, румяный, жена Домаша круглая, румяная, дюжина внучат катается вокруг него, все, как

один, круглоголовые, тугощекие. Он их всех оптом кличет «гарбузами».

Но, пожалуй, самым интересным человеком в нашей МТС был Аркадий Петрович Фарзанов, исполняющий должность главного инженера.

Специального образования не имел, а работал в свое время и начальником цеха, и директором завода! Любую машину понимает, ведет любой транспорт — от самолета до паровоза,— стреляет, как снайпер. С одного прицела снимает птицу с облаков, как чашку с полки!

Во время войны поизносился, заболел и нажил себе какие-то неприятности. Врачи посоветовали степной климат и покойную жизнь. Вот и занесло его к нам.

Направляя меня в Журавино, мне в области так и сказали:

— Это счастье ваше, что у вас в МТС такой человек, такой главный инженер!

А я как впервые увидел его высоченную фигуру, впалую грудь, горбоносый профиль, взгляд из-под надломленных мохнатых бровей да черную трубку, так и подумал: «Ох, и орел же приземлился в этой Журавинской МТС!»

Много рассказывал он о своей жизни.

— Две,— говорит,— у меня беды. Одна беда — болезни, вторая беда — начальники... Загнали меня эти две беды под конец моей жизни сюда, на степной курорт! Этого степного простора душа просит. А начальник надо мной на сто километров один ты, Алеша! Ждал я нового директора, тревожился: какого пришлют? А как тебя увидел, сразу понял, что ты душа-парень! Будем жить!

А надо сказать, и жил и работал он умело! Жена у него красавица, дом на удивление, два охотничьих ружья, сука-медалистка. Дома полный порядок, и на работе то же самое. Ремонт он всегда заканчивал хоть на три дня, да раньше соседей. Узловой метод ремонта стал вводить первым в районе. Правда, узловой — не то чтоб уж совсем узловой. Но в наших условиях... как он говорил: «Не важны детали, а важно направление...»

Техникум я окончил с отличием, но в практической работе опыта не имел. Помогал Аркадий мне с самого начала. И как помогал! Всегда вовремя, всегда незаметно для других... И в хозяйственных делах, и в вопросах дисциплины...

Есть у нас, например, такая пара — Стенька с Венькой.

Стенька чернявый, чумазый, глазки остренькие, настороженные. Он не смотрит, а высматривает, не сидит, а подкарауливает — сам сгорбленный, съеженный, а головенка на тонкой шее так и вертится!.. Венька — другая

стать. Красивый, чистый. Начнешь ему выговаривать за разные нарушения, а он смотрит на тебя весело и даже одобрительно. Ты, мол, человек умный и умеешь произносить те слова, которые тебе полагается... Я тоже человек умный, я твое поведение понимаю и вполне одобряю! Я бы и сам на твоем месте произносил такие же слова! Одобрительно выслушает все, что я ему говорю, весело ответит все, что полагается, уйдет и по-прежнему будет делать все, что вздумается... То уедут они в Новосибирск с вагонами арбузов, то переметнутся на лесозаготовки... Бродят неведомо где, а к посевной — пожалуйте! Являются подработать!.. И берешь. Вынужден брать, поскольку крепко не хватало у нас механизаторов... И работают они, надо сказать, не из последних.

Никого эта пара и в грош не ставила. Один человек во всей МТС умел с ними обращаться — Аркадий. Его они слушали с первого слова, и даже с каким-то удовольствием.

Да... Даже они признавали его верх над собой. А у меня получилось как-то, что во всех трудных случаях шел я к нему...

От него же, от Аркадия, научился я жить со вкусом в нашей степи. Приедешь по делам в город, там в сельхозотделе агрономы суетятся, бегают, бумажонками трясут. А ты идешь с развальцей, загорелый, уверенный. У тебя МТС на добром счету в области, у тебя земли пятнадцать тысяч гектаров, у тебя одних тракторов полсотни, у тебя легковая машина и рысак-чистокровка. У тебя в квартире пять волчьих шкур своего прицела. Как всем этим не загордиться?

Жизнь наша катилась колесом.

Весь день, бывало, хлопочешь в МТС, а вечерами — или на охоту, или на озера рыбачить, или в сад к Игнату Игнатовичу всей компанией. Домаша застолье организует... «Гарбузы» эти со всех сторон подкатятся... А кругом степь, тишина... От станции мы далеко, от железной дороги тоже. Ничего вокруг, кроме степи...

Рассказчик задумался. Медленно поднял свои девичьи ресницы и взглянул на меня.

— Вы нашу степь знаете? Она — как в люльке убаюкивает. Выйдешь — вокруг на степи пшеница едва-едва качается. По небу облако едва-едва плывет... И ничего больше глазу не видно. Лиса пробежит — и та не торопится. Еще остановится, оглядит тебя сверху донизу... Журавль как встанет в степи, приподнимет одну ногу, так и стоит, — ногу переменить позабывает! А воздуха такая громада,

что сам в тебя льется и у тебя от него начинает голова кружиться... И все уходит куда-то далеко... И нападает на тебя такое спокойствие... Ох, и сильна тишина степная! Втянулся я в нее. Раздобрел, даже росту во мне прибавилось. Вы не смотрите. Это уж после... высушило меня... Правда, и тогда, бывало, нападали на меня мысли противоположного направления. Думаешь, лучшие молодые годы проходят, а у тебя не то что подвигов, но ни событий, ни чувств, ни переживаний — ничего...

На работе и на охоте я об этом не думал. А вот, бывало, на закате возвращались мы с Аркашей с охоты. Проезжали мы к себе в МТС мимо станции. Как раз в это время подходит к полустанку московский поезд. Паровоз фыркает, пассажиры бегают, а наш радист Костя к поезду передает пластинки во всю мощь громкоговорителя. И любимая пластинка у него — «Средь шумного бала».

Подойдем мы с Аркашей к пристанционному киоску, спросим по кружке пива. Постоим. Посмотрим.

А надо сказать, что почвы у нас — каштаны да глины. Земля вся рыжая, пыль от нее столбом, тоже рыжая. Домишки из той же самой глины вылеплены и не побелены, натурального, глиняного цвета... Из-за сельхозснабовского забора глядит на поезд верблюд, и голова у него такая, словно сделана из глины... И надо же быть тому совпадению, что и пивной киоск выкрашен в серо-желтую краску, и собака Шельма, что выбегает к каждому поезду, ждет у киоска колбасной кожуры, тоже какого-то верблюжьего оттенка! Пьешь пиво (а оно тоже, будь оно неладно, рыжее!) и думаешь: «Пропади ты пропадом, рыжий цвет!»

И над всем этим рыжая пыль столбом, а над нею песня, до того к полустанку нашему не подходящая, ни на что у нас не похожая:

Средь шумного бала случайно...
...Тебя я увидел, но тайна...

И слова в ней как с другой планеты, и голос непонятный, сильный, легко перекрывает весь шум, а сам и дрожит и рвется, словно от каких-то непереносимых чувств. И до того тебе вдруг захочется... и чувств таких вот... непереносимых... и «тайны» этой самой...

Мой спутник остановился передохнуть и, усмехнувшись особенною своей улыбкой, продолжал:

— Так вот... Однажды, слышу я, трактористы говорят, что в Волочихинскую МТС (это по соседству) приехала такая агрономша, что в кино ходить не надо. Вскоре поехали мы с Федей к соседям насчет соревнова-

ния. Приезжаем и не узнаем конторы: все выбелено, вычищено, выкрашено. Директор Лукач сидит у себя в кабинете в праздничной тройке, а возле него девушка. По отдельности разберись — нет в ней ничего такого классического, а в целом глядишь — и не понимаешь, как на этой маленькой голове может в уплотненном виде разместиться такое количество всяческой разнообразной красоты! Ресницы и не большие, а почему-то каждая видна по отдельности, и так выгнута, что каждую можно разглядывать. Волос не так уж много, а ходят, как живые, волнами. Губы какие-то такие, что спереди поглядишь — удивишься, и захочешь еще и сбоку поглядеть — заинтересуешься, как они могут сбоку выглядеть.

Лукач нас знакомить не стал, а когда она вышла, показал на дверь подбородком и говорит:

— Видали?..

И глядит на нас так, словно он сам, лично, ее спроектировал и у себя в эмтээсовских ремонтных мастерских изготовил.

— Трактористы,— говорит,— заставили в конторе умывальник повесить. По шестьсот пятьдесят грамм мыла в день вымыливают!

Зачастили мы с Федей в Волочихино. Удивляла нас Лина Львовна не только красотой, но и умением ориентироваться в обстановке. Месяца не проработала, а уже знает, что первый секретарь упорен и в сомнительных случаях надо действовать в обход, через второго секретаря. Знает, что председатель колхоза «Звезда» — кремень-человек и размягчить его можно одним способом — заговорить про сына, командира подводной лодки. И отчет ли составляет, договоры ли заключает — все в руках у нее спорится. А дома возьмет гитару, запоет: «Свиданья час и боль разлуки...» Пальчики тоненькие, и не струны, а все твои косточки они перебирают. Сразу пришлась она к месту в нашей степной жизни! Именно такой женщины нам и недоставало! Как вечер, так меня к ней тянет. Федя поотстал, а я все езжу. Все соревнование проверяю... Однако замечаю, стал Федя на меня хмуриться, и однажды говорит мне:

— Твой интерес к соревнованию я приветствую с партийных позиций. Однако не вижу необходимости каждую неделю гонять машину за сорок километров. А главное, две МТС улыбаются над этим соревнованием. Должен или нет ты учитывать, что ты руководитель МТС? Я же,— говорит,— учитываю, что я руководитель партийной организации! Я же,— говорит,— не езжу!

Я туда-сюда, а Аркадий слушает нас и хохочет.

— Погодите,— говорит,— ребята! Скоро мы свою агрономшу заведем, почище волочихинской.

Игнат Игнатович у нас хороший практик, но без высшего образования. Давно уж просился он на должность семеновода. Поджидали мы нового агронома, и вот наконец звонок из области: «Встречайте! Выпускница, прямо из института! Дайте ей немного присмотреться, а потом пусть принимает дела у главного агронома».

Приготовили мы с Федей ей комнату. Новые галстуки понадевали, поехали встречать. И Аркадий поехал. Высадилось несколько человек, но не видно ничего такого подходящего. Только стоит на перроне пожилая женщина с девчонкой лет пятнадцати. И смотрит эта девчонка вокруг во все глаза. Такое было в этом взгляде ожидание незамедлительных чудес, что мы с Федей сперва вокруг оглянулись — что, мол, такое она увидела позади нас? — а потом и на нее посмотрели. За исключением этого взгляда, девчонка как девчонка — синие лыжные штаны из-под серого пальтишка, вязаная шапка, скуластенькая миловидная мордашка, косицы уложены на затылке и привязаны к вискам черными бантами. И надо же было случиться такому — она и оказалась новой агрономшей! А пожилая женщина — случайная ее попутчица.

Водрузили мы ее на квартиру и поспешили уехать — не ладилось первое знакомство. Когда вышли в сени, Аркадий говорит:

— Ребята, посмотрите, что там у меня на спине повырастало? Когда она смотрит, у меня такое ощущение, будто у меня на спине вырастает не то горб, не то крыловидные отростки!

В МТС она всех несколько разочаровала. Игнат Игнатович у нас человек почтенный, и вдруг на его место такая, по выражению Вени, «довольно малоподобная агрономша». Все по старой памяти шли к Игнату Игнатовичу. А наша «малоподобная агрономша» (звали ее Настасья Васильевна Ковшова) и не обижалась на это. Тихонькая она ходила, словно и нет ее. На совещаниях забьется в угол меж диваном и шкафом, сидит, молчит, только моргает. Моргала она редко и поэтому особенно приметно, хлопнет ресницами раза два и опять упрется взглядом. Глаза у нее как будто и не очень большие, а очень приметные. У других людей обычно видишь глаза целиком и не различаешь, где там радужка, где зрачок, где белок. А у этой — как поглядишь, так обязательно отметишь, какая светло-светло-голубая радужка и какие черные буравчики-зрачки. Сидит за шкафом, молчит, зрачками буравит.

Спросишь ее о чем-нибудь, она повернется к тебе, приподнимет брови, моргнет раза два, будто она тебя слушает не ушами, а глазами. И ответ почти всегда одинаковый:

— Я этого еще не знаю. Еще не в курсе дела...

Линочка одним своим появлением преобразила всю контору, а эта не сумела привести в порядок и своего кабинета. Войдешь к ней — пустота, пыль, нежилой вид. Работы от нее не видно, где-то она бродит по целым дням. Спросишь, где была, отвечает: «В колхозах». Однако не привилась она в главных наших колхозах. Там народ авторитетный, не всякого станет слушать. Она там не пришлась ко двору! Она все больше в тех колхозах, что за солончаками. Попробовали мы ее нагрузить отчетно-статистической работой. Думали, дело не делает, так пусть хоть пишет сводки. Однако у нее ни точности, ни аккуратности... Махнули мы на нее рукой. Так и пошло у нас: хвалить ее не за что, а ругать жалко — уж очень маленькая и безобидная. Так месяц прошел.

А через месяц начала наша Настя мало-помалу разговаривать. И начала она нам открывать Америки. Попросит слово на совещаниях, встанет и поведает что-нибудь такое, что нам давным-давно известно... Надо сказать, что всем словам, написанным в книгах и газетах, верила она безусловно и непоколебимо и очень удивлялась, когда нарушались разные прописные истины.

Приходит и сообщает:

— В степи за солончаками навоз почему-то разбросан как попало! Ведь во всех руководствах написано, что его надо складывать штабелями.

— Действительно,— отвечаю,— Настасья Васильевна, во всех руководствах так написано!

— Тогда я не понимаю, зачем колхозники его разбрасывали?

И на лице у нее действительно отражается полное непонимание того, зачем и почему так делают!

Объясняю ей:

— Потому, Настасья Васильевна, что сбросить как попало куда проще, чем сложить.

Помолчала и изрекла следующую по порядку прописную истину:

— В таком случае я не понимаю, почему участковый агроном не объяснил и не добился? Нас в институте учили, что участковые агрономы должны объяснять и добиваться!

С горечью отвечаю ей:

— Действительно, Настасья Васильевна, нас этому учили!

Меня от этих ее разговоров разбирала и досада и горечь, Федю они тревожили, Игнату Игнатовичу надоедали, а Аркадия до крайности раздражали.

Он все схватывал с лету и не переносил плохо соображающих людей.

Больше всего донимала Настя нас мастерскими.

Однажды в конце совещания задает она нам вопрос:

— Как же это так? Тракторный парк у нас растет, а ремонтная база день ото дня ухудшается! Вчера один станок вышел из строя, завтра, того и гляди, другой выйдет!

И с тех пор взялась она твердить об этом. До нее, видите ли, никто об этом не догадывался! Она пришла и всех научила уму-разуму!

Надоела она нам! Решили общими усилиями растолковать ей положение дела, каждый со своей точки зрения.

Федя терпеливо вразумлял ее:

— В настоящее время у нас налицо временное противоречие между мощью полевой техники и слабостью ремонтно-эксплуатационных возможностей. Такие временные противоречия неизбежны в процессе всякого развития.

Она выслушала, моргнула и отвечает чисто практически:

— Аркадий Петрович на той неделе купил себе машину и сразу сам сделал для нее гараж-мазанку. Почему бы и нам в МТС не сделать хотя бы навесы для хранения машин?

Я вижу, что теории она не воспринимает, и объясняю с точки зрения практики:

— Глинобитные навесы — не выход из положения! Положение это общее для множества районов и областей. А наша МТС в районе не последняя. Все идем «ухо в ухо».

Она опять выслушала и опять отвечает:

— Зачем же,— говорит,— нам идти «ухо в ухо»? Странная какая-то эта «уховухость»! Я в институте иначе все проходила! В газетах и книгах совсем иначе пишут!

Тут у Аркадия лопнуло терпение.

— Опытные люди,— говорит,— читают книги в два глаза. Одним видят то, что в строчках написано, а другим — то, что за строчками. Вы когда читаете, то пошире открывайте этот ваш второй глаз.

Когда она вышла, Аркадий нам говорит:

— Что вы на нее время тратите? Разве такой можно что-нибудь втолковать?

А у нее постепенно обнаруживалась удивительная способность тихим голосом долбить как раз по больному месту! Все знаем, что скверно с ремонтной базой, но раз

всюду такое положение, спокойно переносим эту болячку и приноравливаемся к ней.

А Настасья все ее расковыривает!.. Как возьмет слово, так у нас такое чувство, будто сверлят больной зуб бормашиной.

Я говорю ей:

— Не понимаю, как можно долбить об этом день за днем?

А она отвечает:

— А я не понимаю, как об этом можно молчать? Я же ничего другого сделать не могу! Вот и долблю...— Помолчала и жалобно добавила: — Ведь и капля камень долбит.

Только попривыкли мы к этому ее долбежу, как взялась она долбить по новому месту.

Предложили нам выделить шесть человек на краткосрочные курсы квадратно-гнездового сева. А у нас ремонт в самом разгаре! Ну, конечно, выделили мы тех, кто не чересчур нужен на ремонте. И среди них Стеню с Веней.

И тут вдруг заговорила наша тихоня! Помню, стоит у стола и говорит неуверенным голосом:

— Мне кажется, что мы на курсы выделили совсем не таких людей, как надо.

Объяснил ей, что лучшие люди заняты на ремонте. Постояла, поморгала, посмотрела на меня озадаченно и молча вышла...

Через несколько дней, смотрю, она опять приходит, а с ней один из лучших наших механизаторов, Георгий Чумак.

Чумак у дверей остановился, а она подошла к столу, встала передо мной, как ученица, отлично выполнившая задание, перед учителем, и говорит одним духом:

— Мы решили взять шефство над квадратно-гнездовым севом и добиться, чтобы все сеялки СШ-6 работали на «отлично».

— Кто это «мы»? — спрашиваю.

— Комсомольцы Гоша и Костя Белоусов хотят добровольно стать мастерами квадратно-гнездового сева.

Я удивился: когда это у нее Чумак и Белоусов успели превратиться в Гошу и Костю!

Тем временем и Чумак подошел к столу. А надо сказать, что славился у нас Чумак руками, а не головой. Он один из всех наших механизаторов умел заливать подшипники. Что касается характера, так его по фамилии звали «чумовой» — диковатый и очень молчаливый. Ему легче вспахать двадцать гектаров, чем сказать два слова. А тут прокашлялся и разразился целой речью:

— Поскольку в прошлом году в нашем районе квадрат-

но-гнездовой сев завалился и квадратов нигде не получили, постольку мы в этом году решили доказать это дело. Этого,— говорит,— комсомол и патриотизм требуют...

Я слушаю и думаю: «Тебе патриотизм, а мне кто будет подшипники заливать?»

Объяснил им. Посмотрела она на меня с недоумением. Ушла.

На другой день, гляжу, опять приходит! А меня как раз вызывают в райком: не ладится у меня с ремонтом. Собираюсь я ехать, жду накачки, а тут она опять со своим квадратно-гнездовым!

Тут уже я вышел из терпения и заявил ей напрямик:

— Если вы сами дела не делаете, так хоть другим не мешайте...

Выступили на скулах у нее красные пятна. Голову нагнула. Вышла.

Сижу я в райкоме у секретаря. И вдруг, смотрю — она входит!

Идет, будто не своей волей. Лыжные штаны на ней, бантики на висках — все, как у нее полагается. Встала на середину комнаты, глаза жалобные, говорит — запинается, а знает, какие слова выбирать! И «недооценка квадратов», и «недооценка комсомольской инициативы»...

А надо сказать, что не только мне, но и секретарю в те дни было не до нее. Полевая техника у нас за два года выросла вдвое, а мастерские плохие, станков нехватка, запасных частей мало, рабочих мало. Запарились мы в этом году с ремонтом, как никогда! Секретаря ежедневно область жучит по телефону за то, что район отстает с ремонтом. Секретарь, как водится, нажимает на нас. А тут эта наша агрономша с требованием отпустить с ремонта лучших людей! Некстати, несвоевременно и вразрез с задачами момента!..— Рассказчик опять усмехнулся быстрой и иронической своей усмешкой.— Вразумил ее секретарь. Едем мы с ней на одной машине. Сидеть рядом с ней мне скучно и неприятно. Не проявляла, не проявляла себя, да вдруг и проявила совсем не с той стороны!

— Ничего,— говорю,— не вышло из вашей жалобы...

Уставила на меня свои буравчики и говорит сиповатым голосом:

— Не сердитесь на меня. Ведь я, прежде чем жаловаться, три раза приходила к вам...

Помолчала, поморгала и вдруг заключила:

— Может быть, конечно, я и не права... Но только я думаю, что я права. И поэтому, Алексей Алексеевич, я и дальше буду настаивать.

Прошло еще несколько дней, и вдруг звонят из

райкома: надо пересмотреть кандидатов на курсы! От агрономши поступило официальное заявление в райком, а дубликат отправлен в область.

Пришлось уступить ей. Но всех нас возмутила эта история. Не бывало в наших МТС такого случая, чтобы жаловались друг на друга в райком и в область. А эта двух месяцев не проработала, а уже принялась строчить заявления! А главное, хоть бы она дело делала! Работать не может, а заявления писать в райком и в область, как видно, мастерица!

Всем нам это не понравилось. Больше всех возмутился Аркадий. Плохо переносил он нашу агрономшу. Была меж ними полная противоположность. Аркадий — человек уверенный, видный. Он только в комнату войдет, только голову повернет, только рот откроет, а уж все его слушают. Сам он был таким и только таких людей признавал. К другой породе относился презрительно и даже брезгливо. Настя ему всем претила: и неумением поставить себя, и неспособностью взять авторитетный тон, и лыжными штанами, и бантиками... Прозвал он нашу Настю «агрономическим недоноском». Бывало, твердит:

— Тоже, агрономша! Двух слов не свяжет. Тоже, женщина! Причесаться не умеет.

И вдруг она вздумала вмешиваться в его технические дела! Он таких вмешательств и нам-то не разрешал. К ее вмешательству он сперва отнесся презрительно, как к пустяку. То, что она настояла на своем, было для него полной неожиданностью.

Помню, пришел он ко мне злой.

— Ну,— говорит,— еще хлебнем мы с этой тихоней лиха! Бывает такая паршивая порода людей! Умишком не богаты, дела в целом не видят, а ухватятся за какую-нибудь мелочь и будут долбить! Работа в МТС сложная, всегда найдется к чему прицепиться. При желании всегда найдется чем дискредитировать людей. Советую тебе дать ей по рукам, пока она всем нам не села на голову!

Раньше он хоть как-то сдабривал вежливостью свое пренебрежительное отношение к ней, а теперь стал его демонстрировать. И нас подбивал на то же. Бывало, твердит нам:

— Она у нас в МТС не к месту, и пусть она это чувствует!

Стали мы сторониться ее. А надо сказать, что меж собою мы в этом году как-то особенно сблизились. Центром общего притяжения сделалась у нас, конечно, Линочка. Каждый выходной выезжали мы компанией то по заячьему, то по лисьему следу, то волков загонять.

Лыжные прогулки устраивали. По вечерам собирались попеть. Линочка нас новым танцам обучала. Все держались плотно, вместе. А Настю к себе не подпускали.

Меж собой и шутим и смеемся, с ней держимся официально, да не попросту официально, а этак с нажимом, с подчеркиванием! Посматриваю я на нее и думаю: должно же екнуть у нее сердчишко! Девчонка ведь. Одна. На новом месте. Ни родни, ни друзей... Доведись до меня, и я бы в ее положении затосковал. И верно, сначала она вся как-то попритихла. Смотрела по-прежнему пристально, только нам уже не казалось, будто у нас за спиной возникают разные чудеса. А потом вдруг перестала нас замечать. Завелась у нее какая-то своя компания из наших же механизаторов. А нас она будто и не видит.

Рассказчик умолк и задумался, по-прежнему глядя в темное окно.

— То ли уж она сама к тому времени присмотрелась к нам, произвела нам свою оценку и выключила нас из поля зрения, как не стоящих внимания?—спросил он самого себя, думая вслух.—То ли уже и тогда держала на уме свою цель и шла к ней поверх всяких мелочей, не оглядываясь и не замечая наших ухищрений? Не знаю. И так и так может быть... Только я теперь это думаю. Тогда мне это и в голову не приходило. Решили мы тогда, что просто не дотянуться ей до нас. Бригадиры да трактористы наши ей по плечу! С ними завелось у нее даже панибратство.

Началось это с курсов. Проводила она курсы и занятия и с нашими механизаторами, и с колхозными полеводами. Бывало, вечером занятия давно окончены, а она все сидит с ними. Деваться ей все равно некуда! Особая дружба завелась у нее с Гошей. Наладили они по вечерам сидеть у эмтээсовских ворот на лавочке. Помню, поздно вечером выхожу я из МТС. Луны нет. Тишина над степью. Только Гоша говорит что-то в темноте, глухо и с перебивом. Бывает, так на гитаре играют. Ведут, ведут перебор, да вдруг дадут перебив! Ударят разом по всем струнам... Думаю, не иначе, объясняется в любви Настасье.

И верно, доносятся ко мне слова и «люблю» и «сердце», «Настасья Васильевна». Однако подошел ближе и разобрался. Гоша тихо говорит:

— Люблю я, Настасья Васильевна, запас. Мне первая забота—чтоб запас был. Ведь надо подумать, дизельные трактора, самые совершенные машины, иной раз вырабатывали меньше коня! И из-за чего? Из-за запасных частей!—И вдруг на полный голос сам себя перебивает:— Сердце мое этого не терпит, Настасья Васильевна!

А она его тихо спрашивает:

— А что же главный инженер смотрит?

Он ей снова тихо:

— Главный инженер сам за трактора отвечает и сам с себя за них спрашивает. Разве это работа, когда и спрос и ответ на одном языке?—И опять сам себя горячо перебивает:—Я все стараюсь этих беспорядков к сердцу не принимать, а сердце к себе принимает!

Вот тебе, думаю, и любовный полуночный разговор! Это они под звездами наводят критику на руководство!

Кроме Гоши, еще одного «кавалера» приобрела наша Настя—зачастил к ней Степа Бессонов, молоденький бригадир из «Октября», из самого отстающего нашего колхоза. То она с ним у тына стоит, то по вечерам по улице бродит. И всегда он в новом полупальто. Лицо у него важное. Видно, лестно ему прогуливаться с агрономшей, и лезет он из кожи, старается ей соответствовать. Однажды пришлось мне идти вслед за ними из клуба.

Степа ей жалуется:

— Наш колхоз, конечно, в дальнейшем будет вырастать вперед, но в настоящее время наблюдается у нас ряд ненормальных поведений, главным образом со стороны Олюшек. Три Олюшки в бригаде, и все три так понимают, что наилучшее дело—лежать на печи, наедать сало. А между тем нас в прошлом году постигла стихия... Посохла пшеница! Я этим Олюшкам говорю: «Примите вы хоть стихию во внимание!» А они, Настасья Васильевна, смеются мне в лицо! Разве с ними поговоришь? Только с вами, Настасья Васильевна, и отводишь душу...

Она вздохнула и говорит:

— Может быть, перевести этих Олюшек к Варваре в бригаду?

Он ей отвечает:

— Варвара—женщина хлесткая, но у нее умер муж. Этот факт дает отпечаток. Вот у вас,—говорит,— Настасья Васильевна, никаких отпечатков я не наблюдаю!

А она ему свое:

— Может, одну Олюшку, самую вредную, перевести?

Послушал я этот разговор и понял—и старается парень что есть силы, однако не может свести вопрос с производственной тематики.

Но самым главным спутником и попечителем нашей Настасьи сделался дед Силантий. Ходил он в бригадирах в этом самом отстающем «Октябре». Трудодни в том колхозе скудные. Двух сыновей дедовых убили фашисты. По старости лет деду давно пора на покой. А он все бригадирит, да еще и глядит бодро.

— Без хлеба,—говорит,—я не сиживаю, а от мяса и

от безделья в человеке нарастает вредный жир... Человек,— говорит,— для здоровья должен есть хлеб с квасом, работать в полную силу, наблюдать кругом себя справедливость и иметь доброе расположение.

Живет дед согласно этой теории и не тужит. На лекции, в кино и на доклады — первый ходок. А если приедет в район примечательный человек, то дед каждый раз от старости и от радости все перепутает. Решит, что это к нему самому гость приехал, лично ему, деду Силантию, нанес персональный визит. Такой дед своеобразный! И, конечно, как только появилась в МТС новая агрономша, дед пришел знакомиться и тут же принял ее под свое покровительство.

— Барышня,— говорит,— молодая. Отец с матерью далеко. Пусть будет у нее поблизости хоть дедок.

Вот и ходят вместе. И разговоров, разговоров меж ними! И, между прочим, было у них в глазах, во взгляде что-то такое общее... Как она тогда на перроне и в первые дни на нас смотрела, так и дед смотрел на свет белый...

Так, значит, и живем. Мы ведем свою компанию. Настя — свою. Друг друга не трогаем, друг другу не мешаем.

А надо сказать, что весна эта была у нас особенно трудная. Не ладилось у нас с ремонтом. Техники много, а два основных станка в мастерских вышли из строя. Да в самое горячее время нескольких лучших механизаторов отозвали на курсы квадратно-гнездового... Тут только мы и увидели, что и ценили Чумака, да недооценивали. Раньше где не ладится, там и Гоша. Само это получалось! То механизаторы его просят, то к себе позовешь:

— Вытягивай, Гоша...

И Гоша тянет. Тянет молча, а оттого неприметно. И только когда не стало его в мастерских, поняли мы, какого выпустили «тягача». Нескольких человек не стало, а словно стержень из мастерских вынули. Всегда мы с ремонтом впереди других, а тут наоборот. И весна идет какая-то непонятная, неустойчивая: то вдруг солнце ударит по-майскому, то снегопад, как в январе. И вот в один из таких тревожных дней появляется Настасья, с таким выражением лица, что Аркадий, как увидел ее, так и говорит:

— Идет с очередной Америкой.

Усаживается она за стол и выкладывает план всеобщего переустройства.

Тут выясняется, что квадратно-гнездовой сев для нее не случайная зацепка, а решающее звено. Поскольку клевера у нас растут плохо, предлагает она вместо

клеверов сеять квадратно-гнездовым способом кукурузу и подсолнух.

Выкладывает бумажки с расчетами, говорит на полном серьезе. А мы слушаем — и не знаем, плакать над ней или смеяться. Планы севооборотов давно составлены и утверждены областью. Договоры на колхозных собраниях обсуждены и заключены. Сев на носу. С ремонтом дела ни к черту! А тут она со своими бреднями!

Надо сказать, что некоторые агрономы в нашем и в соседних районах говорили об этом еще прошлой осенью. Областной научно-исследовательский институт дал указание не отказываться от посева клеверов, а усилить борьбу за их урожайность. Нам эта история известна, а ей нет. Как всегда, она не в курсе дела и, как всегда, воображает, что открыла Америку.

Рассказываем ей, объясняем, напоминаем учение Вильямса. Она нам отвечает:

— Но ведь даже Вильямс писал, что клевера полезны тогда, когда они дают хорошие урожаи.

— Вот,— говорю,— вы, как агроном, и боритесь за высокие урожаи клеверов.

— Не растут в наших местах клевера. Что же теперь, из-за Вильямса губить землю?

— Перспективно надо смотреть! — говорю ей.

Долго мы ее уговаривали. Все ей объяснили. Однако сидит и не уходит. Теребит бумажонку со своими расчетами. Потом посмотрела на меня черными своими буравчиками и говорит:

— Ну, если не во всех колхозах... то хоть в моих отстающих!

Федя спрашивает:

— Какие же это «ваши отстающие»?

Она покраснела:

— Это я нечаянно сказала. Очень привыкла к ним за это время.

— К кому «к ним»?

— К колхозам. К тем, что за солончаками...

Опять взялись мы ей объяснять. Ничего не берет в толк! Бился, бился с ней Федя, да так и сказал:

— Вы, Настасья Васильевна, хуже малого ребенка, честное слово! Вы,— говорит,— думаете, что у нас в сельском хозяйстве полная анархия! Сегодня захотел сеять пшеницу — сей пшеницу! Завтра, за полчаса до сева, приблажило сеять кукурузу — сей кукурузу! Вы думаете, что центрального планирования в стране не существует?! Вы думаете, что наши планы нам из области не спускаются и центром не утверждаются?!

А она вздохнула и отвечает:

— Я, Федор Иванович, вообще об этом не думаю!.. Я о том думаю, как поднять трудодни в отстающих колхозах.

Федя выдержанный, но Аркадия взорвало.

— Вот мы видим, Настасья Васильевна, что вы «вообще не думаете»! И вообще думать не умеете! Вот когда вы научитесь думать и обдумывать вопросы всесторонне, тогда и приходите. Не такое сейчас время, чтобы заниматься безответственными разговорами.

Поднялась она с места. Посмотрела на него, и что тут с ней сделалось! Я гляжу — и не узнаю. Стоит она в своих лыжных штанах, обе руки в карманах. К нам повернулась боком, голову нагнула и смотрит, словно целится.

И вдруг вспомнился мне тогда приятель детских лет Валька-левша, который все село обыгрывал в бабки. Бывало, встанет вот так же, боком, руки в карманы, а в кармане свинчатка. Постоит минутку, нацелится, вынет левую руку и с маху так кинет свинчатку, что все бабки скосит. Очень она в ту минуту на Вальку-левшу походила. И еще заметил я, что исчезли у нее губы. Точно кто в коже прорез сделал — и все. Губ нет, а подбородок маленький, белый, с ямкой на конце, вдруг выдался вперед и торчит, как лопата, которую собираются всадить в землю.

Разжала она свой безгубый рот и на полный голос сказала, как отпечатала:

— Не я говорю безответственно, а вы работаете безответственно!

Это она нам всем! Нашу МТС опытные руководящие работники не раз отмечали с похвалой. А тут такое заявление! И от кого?!

Игнат Игнатович сидит белый, усы торчком. Федя на столе разлил чернила. А в ней я впервые открыл тогда еще одну особенность — голос. До этого она все тихонько разговаривала, а тут, как разошлась, оказался голос на удивление. У такой у маленькой и голоску быть бы тоненькому, а у нее голос низкий, даже с хрипотцой с какой-то.

Я вижу, что дошло дело до накала, и говорю:

— Уходите. Не мешайте...

Аркадий кричит:

— Вы или дело делайте, или совсем уходите из МТС, но не мешайте нам работать!

А она нам:

— Никуда я не уйду! И свое дело я сделаю, как бы вы мне ни мешали!

Пообещала она снова в райком пожаловаться и ушла.

А мы и говорить не можем, только хлещем воду из графина. Наконец Игнат Игнатович отдышался и говорит:

— Вэлыкой вражины я ще нэ бачу. Алэ малэнька подколодна внутриння вражина вже зъявылася у нашой МТС.

Вот тебе, думаем, и тихоня! Сидела, сидела, моргала, моргала... Досиделась! Доморгалась! Высидела! Выморгала!

Мы думали, дальше и ехать некуда, а оказывается, это она еще только цветочки нам выдала, ягодки впереди были.

В райком она написала, но первый секретарь был в отъезде. Это дело не двигалось, так она начала себя проявлять на других делах.

Будто думала-думала, решала-решала, а тут все решила, все точки над «і» поставила и пошла на всех парах в открытую. С какой-то даже отчаянностью и веселостью!

Что ни день, то у нас в МТС неприятность. Решили мы ее делом занять, чтоб глупостей не выдумывала. Поручил я ей вести всю статистику. Думаю, посидишь над анкетами в сто двадцать параграфов — поуспокоишься!

Не подает сводок ни райкому, ни области! Мне нагоняй за нагоняем! Приказываю — не подчиняется, не дает сводок. Вызываю ее для решительного разговора. Входит веселая, улыбающаяся, как ни в чем не бывало.

Спрашиваю:

— На каком основании не подчиняетесь моему распоряжению и не подаете сводок?

— Очень глупые вопросы в сводках! — отвечает.

Я говорю:

— У меня есть приказ из области. Как я могу не выполнять распоряжение области?

А она мне:

— А очень просто! Так же, как я ваших распоряжений не выполняю.

Да еще и смеется мне в лицо!

Записал ей предупреждение в приказе.

А она вскоре начала вмешиваться не только в агрономическую, но и в техническую часть. Требует, чтобы во время сева обеспечили немедленную замену поломанных частей.

— Не ждать на севе, пока отремонтируют, а сразу заменять запасным узлом.

Для этого надо иметь в резерве запасные узлы, а у нас некоторых деталей в запасе не было.

Она требует:

— Обеспечьте!

Я говорю:

— Где их взять, если их нет в снабжающих организациях?

— А если во время сева они сломаются?

— Тогда, в крайнем случае, самодельные изготовим!

Она к Аркадию:

— Почему же заранее их не изготовить, товарищ главный инженер?

Он отвечает:

— Надо затратить много усилий, получатся они дорогими и некачественными. А поломок может и не быть.

А она нам:

— Вы,— говорит,— напоминаете мне одну историю. Говорит мать дочери: «Вымой шею, гости приедут». А дочь отвечает: «А если они не приедут, я и буду сидеть, как дура, с вымытой шеей?» Просит вас главный агроном обеспечить детали на случай поломки, а вы отвечаете: «А если такие детали не сломаются, мы и будем сидеть, как... с резервными деталями?»

Аркадий весь побелел:

— Я людей дураками не называю и себя не позволю называть.

А она смеется:

— А я и не называла.

Такая дерзкая, злоязыкая и безбоязненная девчонка получилась из нашей тихони, что нет никакого сладу!

И каждый день, каждый день не одно, так другое! Словом, создалась у нас в МТС обстановочка!

Наконец, вызывает меня первый секретарь райкома Рученко. От природы он человек веселый, жадный до дела и быстрый в решениях. Лицо у него некрасивое, но очень располагающее. Губы крупные и каждую минуту готовы рассмеяться. Ноздри мясистые, подвижные, а глазищи — как два светофора. Говорит он обычно быстро, много шутит. А тут мрачнее тучи.

— Была,— говорит,— у меня ваша агрономша. Опять поднимает этот вопрос насчет севооборотов.

Я говорю:

— Севообороты утверждены, сев на носу. Не время сейчас, да никто нам и не позволит их менять! А кроме того,— говорю,— вот вы с ней побеседовали четверть часа — в лице изменились. А мы с ней бьемся день за днем. Уберите вы ее от нас, пока мы все от нее не сбежали.

— Нет,— говорит,— не будем торопиться с выводами. Присмотримся. Иные вопросы надо быстро решать, а иные по пословице: «Семь раз обмозгуй, а один раз реши».

И еще посоветовал он мне съездить в те слабые колхозы, за которые она ратует особо, посмотреть и подумать.

Вооружился я планами, сел, поехал в «Октябрь». Председатель там только что назначенный, молодой, прямо из трехгодичной школы председателей.

Подхожу к его дому, навстречу мне идет бригадир вдовуха Варвара и плачет. Соседи мне объясняют, что у председателя скандал — он хочет на Варваре жениться, а его мать не велит, потому что Варвара старше и детная.

Вхожу я в дом и застаю баталию. Сидит старуха посреди комнаты и строчит, как из пулемета:

— Та яка вона йому жинка? Та старюча, та слипуча, та кривонога?! Ось це жинка? Це холеры кусок, а не жинка!

Председатель сидит, опустив голову, а возле него наша Настасья и дед Силантий.

Я вошел, поздоровался. Прошу не тушеваться, продолжать разговор при мне. Старуха говорит:

— А що мэни тушеваться? Пускай вона тушуется!

Председатель смотрит на Настасью и говорит с надеждой:

— Меня она не слушает. Может, вас она послушает, Настасья Васильевна?

А Настасья уже возле старухи. Обнимает ее и уговаривает:

— Вы все ему Ольгу сватаете, а ведь Ольга его тянет к пустякам да к базарам. А Варвара наводит на настоящее дело.

Долго говорила, и мне было удивительно, что слушают ее здесь, как старшую. Старуха попритихла и заплакала:

— У Ольги хата-пятистенка да дви коровы, одна по третьему телку, а вже ведерница! А у Варвары тилькы дви сиротыны. Що вона прынэсэ з собою у хату, окромя двух ртив?

Настасья ей:

— Варвара в дом принесет пятьсот трудодней!

Старуха плюнула на пол и растерла плевок ногой в грязной обутке.

— Ось це твои трудодни! Хоть тысячу трудоднив зробы в нашем колхозе, а и в базарный дэнь полушки не визмэшь! Ось це твои трудодни!

Еще раз плюнула и еще раз пяткой растерла.

Настасья смотрит ей в глаза:

— Бабуся, в этом году все будет иначе... Нынче мы все клевера долой, а на их место подсолнух, кукурузу! На одном подсолнухе колхоз заработает не меньше двухсот тысяч! Мы уже все рассчитали. Варвара богаче всех будет. Хватит ей и на себя, и на Танюшку с Катюшкой.— Потом обернулась к председателю и говорит ему: — А вы бабушку не слушайте! Она же и на работе такая! Больше

всех поскандалит, а лучше всех сделает! Разве она обидит сирот?

Поуспокоила старуху и побежала к Варваре. Когда я ехал обратно, видел, как идет Настасья вдоль реки, прижавшись к Варваре. Посмотрел на Варвару — и «не старюча, и не слепуча, и не кривонога», и не «холеры кусок», а хорошая женщина, идет и плачет...

Из-за этой председателевой женитьбы так и не получилось у нас делового разговора.

А когда ехал я домой, пришло мне в голову: ведь для нас всех клевера и севообороты — это проценты да планы, а для нее, для Настасьи, клевера — это судьба и Варвары, и Катюшки, и Танюшки, и бабки!

Никаких новых конкретных обстоятельств я не выяснил, но не то чтобы колебнулся в нашей правоте, а всю дорогу владело мной беспокойство. Думаю о клеверах, а вижу, как идет Варвара берегом и утирает свои слезы линялой косынкой. И до того мне становится не по себе!

Однако приехал я в МТС, поговорил с Аркадием и Игнатом Игнатовичем и опять пришел в нормальное состояние.

...Правда, уже с того времени начали появляться у меня такие размышления, которыми я не делился с Аркадием. Не то что скрывал от него, а просто держал при себе. Не располагало меня делиться с ним этими мыслями.

Перед самым севом произошло такое событие: приехал к нам в район первый секретарь обкома. Заночевал он в Волочихинской МТС, и на следующее утро весь район знал, что Линочка поила его чаем и выпросила у него для МТС самосвал.

Утром встретились мы с ней в райкоме, и я ее с завистью спрашиваю:

— Как это вы сумели насчет самосвала?

В глазах у нее чертенята, ямочки на щеках прыгают, кудряшки переливаются, но смотрит в сторону и отвечает уклончиво:

— Во-первых, у меня были очень веские основания для такой просьбы. А во-вторых...— и вдруг не выдержала, блеснула зубами, засмеялась,— во-вторых, секретарь обкома тоже человек. Ему тоже можно создать настроение!

Кивнула головой и убежала.

А я смотрю ей вслед и думаю: такая кому хочешь какое хочешь создаст настроение. Повезло ж Лукачу! Послали ему в МТС такую отраду, а мне — лихо мое, Настасью.

Посетовал на свою судьбу, вернулся к себе в МТС и как в яму опустился. Аркадий ходит злой. Ремонт идет плохо.

А день стоит, как нарочно, необыкновенной красоты. На степи снег чуть подтаял, заслюденел и блестит так, что глазам больно. А на другой день смотрим: стоит на дороге «газик»-вездеход, а по заслюденевшему снегу шагает к нам человек. И так размашисто, твердо, что по одной этой походке можно узнать: первый секретарь обкома к нам приехал, Сергей Сергеевич Соколов.

Человек он степной, вышел из здешних же колхозников. Лицо у него крупное, в редких темных рябинках. Характер твердый, властный, немногословный. До войны он работал в горкоме. Говорят, что и тогда уважали его, но не то чтобы широко знали. А во время войны твердость характера быстро его выдвинула. Недели за две до приезда к нам крепко покритиковали нашего Сергея Сергеевича на пленуме обкома и в партийной печати за ошибки в методах руководства. Покритиковали его крепко, однако доверие с него не сняли.

Раньше раза два бывал он у нас. Пройдется по МТС со мной и с Федей. Скажет пару слов, выяснит корень дела — и точка! Все, что пообещает, обязательно вскорости твердо исполнит. Однако в подробности и в разговоры с людьми он никогда не вдавался.

А в этот раз будто бы и не он. Во все вникает, подробно разговаривает с механизаторами, пытается пошутить. И шутка у него получается нескладная, однако людям не это дорого. Дорого то, что пересиливает человек свою суровость и от людей ждет добра и для людей находит доброе слово. Раньше, бывало, мы с ним втроем-вчетвером ходим по МТС, а в этот раз окружила нас куча народу. Как из-под земли появился интересующийся всем дед Силантий. Ему, видно, показалось, что Сергей Сергеевич именно к нему, к деду, явился с персональным визитом. И Настасья наша тут же ходит, молчит и моргает.

Собеседник мой замолк и закурил черную, замысловатой формы трубку. Трубка эта не шла к его юному лицу с девичьими глазами.

— Есть у Насти эта манера...— задумчиво продолжал он.— Пока человек для нее не ясен, она будет при нем ходить, себя не выказывая. Вежливая, молчаливая. И не от притворства у нее это, а от какого-то повышенного внимания, от ожидания. Словно от каждого человека спервоначала ждет она каких-то чудес. И от этого

ожидания сперва вся затихает. Точно и нет ее, а есть только этот интерес к человеку. Потом все пристальнее приглядывается, будто хочет вернее понять человека. Потом появляется в ней сомнение. Критически начинает примеривать, чего этот человек стоит. Решает, каким боком к нему следует повернуться и какую сторону своего разнообразного характера следует ему выказать! Пока все эти стадии развития в ней последовательно происходят, она все молчит. А уж когда эти все стадии пройдены и вопрос решен, тогда держись!

Удостоит своего расположения — поведет себя запросто, по-свойски. Если же не по ней человек, начнет она кидаться на него, как на нас с Федей. Мало кто относился к ней середка на половинку — или уж души в ней не чаял, или уж от одного ее имени озноб пробирал...

И снова Алексей Алексеевич задумался. Минута шла за минутой, а он все молчал.

— Вы говорили о приезде первого секретаря. Что же было дальше? — напомнила я.

— Да...— вышел он из задумчивости.— Так вот... Ходим мы все по МТС с секретарем, и она ходит. И смотрит она на него во все глаза. Наверное, впервые в своей жизни видела она близко такого большого человека. И ожидала она от него каких-то необыкновенно благородных и интересных поступков.

Обошли мы всю МТС, поговорили. Собирается товарищ Соколов уезжать. Направляемся мы к его машине.

Надо сказать, что все мы после разговора с ним присобрались, подтянулись. И всю весну увидели. Подтаял снег на усадьбе, кругом разводья, и горит в них солнце, и блестит под ним наша новая техника. Каждой гаечкой с солнцем разговаривает! Я хожу и выжидаю минутку повеселее, чтобы приступить к секретарю с самосвалом.

— Давно в наших степях столько снегу не было! Давно земля столько влаги не принимала,— говорит Сергей Сергеевич.— Посмотрите-ка! Синим-сине! Хо-ро-ша весна!

— Весной разводья хороши, осенью пшеничка бы удалась! Вот забота! — вздохнул дед Силантий.

Секретарь обкома обернулся к нему:

— Такая весна на степи, такая техника в руках! Будешь, дедушка, и с урожаем, и с добрым трудоднем! Правильно, товарищи?

Ну, все, конечно, отозвались в тон секретарю бодро: как же, мол, иначе, Сергей Сергеевич! Правильно!

И вдруг нашу Настасью точно в спину толкнули.

— Нет,— говорит,— Сергей Сергеевич, неправильно...

Выговорила она это низким своим голосом с хрипотцой и опять смотрит во все глаза.

Сергей Сергеевич удивленно взглянул на нее. Что, мол, это за крохотная фигура в лыжных штанах и с бантиками?

— Почему,— спрашивает,— неправильно?

— Потому что не будет нынче хорошего трудодня в тех колхозах, что за солончаками.

Сергей Сергеевич остановился. Улыбку как смыло с лица.

«Ну,— думаю,— вот и наша Настасья, была б она неладна, взялась на свой манер «создавать настроение»!»

Она стоит прямо против машины, и солнечные зайчики от радиатора лежат у нее на лице. Зайчики волнистые, зыбчатые, как от воды. Скользят по лицу, зыбятся при каждом ее движении. А она их не замечает. Посмотрел на нее Сергей Сергеевич жестким взглядом и говорит неторопливо:

— Плохо, когда главный агроном работает с такими пораженческими настроениями. Плохо, когда перед севом говорит такие демобилизующие слова!

А она воздух глотнула и отвечает:

— Еще хуже, когда первый секретарь обкома третий год обещает отстающим колхозам хорошие трудодни и третий год обманывает людей...

Сказала и смотрит на секретаря обкома не сердитыми, не испуганными, а жалобными и ожидающими голубыми своими глазами.

Когда она это сказала, мы все окаменели от неожиданности. Я думаю: «Что же ты, отчаянная голова, делаешь?» Ведь знает она, что и так висит в МТС на ниточке! Знает, что мы спим и видим, как избавиться от нее! Если она своей глупой дерзостью еще и секретаря обкома против себя восстановит?..

Что ж толкает ее? Девчоночья глупость? Или и ребячья и упрямая вера в какое-то необыкновенное человеческое благородство?

Стоит Сергей Сергеевич, огромный и отяжелевший. Шутка сказать — секретаря обкома при народе обвинила в тройной неправде! Смотрит он на нее точно откуда-то издалека и говорит, как гири кидает:

— Секретарь обкома урожаев и трудодней не обещает и не дает. Запомните это, товарищ главный агроном. Урожай и трудодни берут колхозники своим трудом под руководством своих специалистов — под вашим руководством! Это вам надо знать, товарищ главный агроном МТС. А я одиннадцатый год работаю в обкоме и никогда никого не обманывал.

Она прижала оба кулака к груди и с какой-то даже болью его спрашивает:

— А если колхозники в отстающих колхозах опять ничего не получат на трудодни, вы снова приедете в эти колхозы и снова скажете свои обманные слова?!

Что у него в глазах блеснуло? Негодование? Гнев? Боль? Не знаю. Только так взглянет человек, если вдруг хлестнут его по скрытой, но больной ране. Глаза у него узкие, сидят глубоко под надбровьями, а тут взгляд так и блеснул из глубины... Но на минуту! Потом глаза еще глубже ушли, лицо как-то все набухло и потемнело. И, глядя мимо нее, он сказал:

— Если я в будущем году приеду в эти колхозы, я возьму с собой вас! И вы, главный агроном МТС, ответите перед колхозниками, почему у них малые трудодни.

Она не оробела. Выступает вперед и говорит:

— Я отвечу сейчас. Потому что неправильно ведется хозяйство. Потому что неправильные севообороты, потому что об этом...

И вдруг голос у нее осекся. Губы шевелятся, а звука нет.

Тогда я говорю:

— Товарищ Ковшова неделю назад потребовала от нас отказа от клеверов, пересмотра всех севооборотов и договоров с колхозами. Заняться накануне посевной пересмотром севооборотов — значит дезорганизовать всю работу.

— Этот вопрос,— сказал Сергей Сергеевич,— еще осенью разбирали видные специалисты и дали отрицательный ответ. Сейчас не время для разговоров. Сейчас все силы бросить на сев! — Повернулся он к машине, а Настасья собралась с силами и говорит:

— Сергей Сергеевич! Товарищ секретарь обкома! Хотя бы не для всех колхозов! Хотя бы для моих, отстающих!

Он остановился и спрашивает:

— Отстающие ваши, а неотстающие чьи же?

Она совсем сбилась, глаза забегали, но тут вдруг высовывается дед Силантий:

— А как же, Сергей Сергеевич?! У доброй матери больная дытына ближе к сердцу, а у хорошего агронома — об отстающем колхозе первая забота.

— Сейчас не время перестраивать севообороты,— повторил Сергей Сергеевич.— Осенью, когда будете пересматривать планы, можем еще раз вернуться к этому вопросу. А сейчас займитесь подготовкой к севу.

Снова повернулся первый секретарь и снова пошел к машине.

Понял я, что испортила она мне все дело! Насчет

самосвала сейчас просить его бессмысленно. Все поняли, что пора прекратить разговоры. А она все идет за ним, идет, как во сне. И говорит, словно, кроме них двоих, никого и ничего вокруг нету.

— Этого нельзя откладывать на год. Там бескормица! Смотрите, что я взяла в одной хате. Это вдова Варвара из колхоза «Октябрь» дает дочке вместо молока.

Вытащила она из кармана бутылку с болтушкой из воды и молотых подсолнухов.

— Товарищ Ковшова...— медленно сказал Сергей Сергеевич, и так сказал, что всем нам стало не по себе.— О существовании отстающих колхозов мы знаем не хуже, чем вы... Нет никакой необходимости в этой публичной демонстрации.— А у самого лицо окаменело, и губы белые. Что и говорить, умела наша Настасья ударить человека по самому что ни на есть больному месту!

Сказал, повернулся и снова пошел к машине.

А мы все стоим, молчим. Тишина. Только воробьи вовсю гомонят. И хочется крикнуть воробьям, чтоб замолчали. Секретарь обкома идет к машине. Спина у него в сером пальто широкая, шаг плотный, тяжелый, а плечи ссутулились. А Настя стоит с такой отчаянной обидой, с таким испугом и горем, что в ту минуту вдруг вылетели у меня из ума наши неприятности и скандалы.

Мой спутник опустил голову. Ему не хотелось смотреть мне в лицо. Отрывочнее и глуше стал звучать его голос...

— Что меня тогда тронуло в ней? Детское доверие. У взрослого человека сердце заскорузлое, а у ребенка... у ребенка оно же открытое! Оно беззащитное от доверия. Детское горе горше...— Потухшая трубка выскользнула из ладони и бесшумно упала на ковровую дорожку меж диванами, но он не поднял ее, не изменил позы.— Помню я одну свою детскую обиду. Был я мальчишкой по четвертому году. Мать у меня болела. Вечером плакала. Очень я жалел ее. Первою в жизни жалостью. Всю ночь думал, как буду ей помогать. Утром она ушла за водой. Я засуетился, вскочил, натянул штанишки... Заторопился... Она идет с ведрами, а я бегу к ней навстречу: «Маманя, маманя, дай, дай!» Это я воду нести за нее собираюсь! И сердчишко трепещет — так я ее жалею! Так я хочу ей быть защитником, помощником! И так верю и радуюсь, что вот сейчас помогу! А ей, видно, очень худо было. Она на меня злобно (а она добрая была!): «Ты куда, паскудыш!» Я еще ничего не понимаю. Кидаюсь под ноги, ведро хватаю. А она меня ногой: «Пропади ты пропадом!»

Необычайная для Алексея Алексеевича слабая, растерянная улыбка скользнула по его губам.

— Сколько лет прошло. Сколько обид я позабыл! А эту вот не забуду. На незащищенное, на открытое сердце упала она. Тогда, мне кажется, и кончилось мое младенчество!

Он замолчал. Молчала и я, изумленная неожиданными его словами.

Юноша, простоватый на вид, юноша, не сумевший сказать пару дельных слов на совещании, юноша с далекого степного полустанка...

Что так обострило его чувства, мысли, воспоминания? Взволнованность ли всем пережитым в Москве? Любовь ли, та большая, захватывающая любовь, которая приходит к человеку единственный раз в жизни. То ли переживал он переломные дни, когда передумывают, переоценивают все прошлое? Или все это вместе взятое поднимало его, меняло на глазах, раскрывало в нем дремавшие до этого времени силы и возможности?..

Разбивается известковая скорлупа, и из неподвижного, камнеобразного яйца появляется еще мокрое, неоперившееся, нелепое, но уже живое, уже крылатое существо...

Может быть, мне посчастливилось наблюдать человека как раз в эту короткую, но всегда интересную и трогательную минуту?

Мне казалось, я вижу, как бьется сердце директора МТС. Что было в этом сердце? Марки тракторов, гектары мягкой пахоты и тонны горючего?

Немеркнущие впечатления детства, способность к крутым поворотам характера и судьбы, внезапно нахлынувший поток чувств!

Сам воздух казался напряженным в купе, где мы были только вдвоем.

Поезд отсчитывал минуты, как часы с механизмом невиданной мощи.

— Товарищи пассажиры, закрывайте окна, подъезжаем к мосту... Товарищи пассажиры...

Голос проводника за стеной резко ударил по слуху.

Поезд с железным скрежетом ворвался на мост. Неясные в темноте пролеты замелькали за окном. Снова наступила тишина.

— Дальше...—сказала я спутнику.

Он поднял глаза.

— Вот такое же понятное мне... ребячье горе, такую же отчаянную беззащитность доверия увидел я в ту минуту в глазах у Настасьи, у «врагини» моей. Так она тогда смотрела на секретаря обкома, словно в эту минуту вот-вот и кончится вся ее молодость! Так смотрела, словно стояла на пороге горя и видела, и пугалась, и еще не верила, что возможно на земле такое горе.

А он дверку машины открыл. Ногу поставил на приступку. Мы все замерли. Не одна Настасья — мы все так смотрели, будто каждое его движение сейчас невесть какие проблемы решает и в мыслях наших и в жизнях. Смотрели, не шевелились. А он постоял так — рука на дверце, одна нога на приступке — и вдруг обернулся к Настасье:

— Вы знаете, чем поит свою дочь колхозница Варвара из колхоза «Октябрь». Хорошо, что вы это знаете. А знаете вы, как мы жили в тех местах, что за солончаками, прежде? Не знаете. А я сам оттуда. Не то что молока — хлеба не видели... Кибитки да перекати-поле...

И нет в нем уже ни досады, ни возмущения. Что он за одну минуту передумал, что в себе пересилил?.. Стоит. Вспоминает. И глядит не на нас, а на степь, изрытую снегопахами, что лежит за оградой нашей МТС.

И мне вдруг представилась эта степь без машин, без снегопахов, без людей и без МТС. И он, Сергей Сергеевич, в этой степи, без вездехода, без шляпы. В грубой одежде, в безлюдной степи... И почему-то сделался он мне понятнее.

Молча слушали мы его, а он задавал Насте вопрос за вопросом:

— А знаете вы, сколько мужчин не вернулось с фронта в колхоз «Октябрь»? Нет? А мы знаем. А знаете, сколько ссуд деньгами и хлебом дано колхозу, какая помощь оказана? Надо бы больше. Но... Знаете, какая была в нашей области промышленность, когда мне было столько лет, сколько вам? Деревенская кузница — вот и вся тогдашняя «металлургия» в нашей области! А сейчас наш металл, наши машины — от Китая до Румынии... Сейчас мы можем помочь колхозу больше... Были у нас и ошибки... До сих пор не удалось нам поднять этот и еще некоторые отстающие колхозы... Знаем. Думаем. Ищем. Делаем. Поэтому и посылает партия сюда машины, семена, специалистов и будет посылать еще больше. Поэтому и вас послали сюда, товарищ Ковшова, послали как раз для того, чтобы поднимать отстающие колхозы, а не для того, чтобы демонстрировать такие бутылки.

Говорил он медленно, трудно, как камни ворочал, а кончил просто и по-деловому:

— Что ж... Пойдемте. Обдумаем ваши соображения.

Видно, в ту минуту, в ту секунду, пока нога его была на приступке, все взвесил и, видно, почувствовал в Насте за опрометчивыми ее словами что-то большое, ценное. Почувствовал, взвесил и сразу пересилил себя, перешагнул через свое раздражение. Одним взмахом всю мелочь и

ерунду Настину откинул, а ценное в ней взял и повернул к себе на полный оборот.

Немалого ума и немалого характера человек!

— Пройдемте в помещение, товарищи,—говорит.— Там удобнее беседовать.

Настя бутылку свою выронила, и глаза у нее покраснели, как перед слезами. Все сразу зашумели, заговорили, заторопились в помещение. И радость такая у всех и легкость!

Сколько раз он к нам приезжал! Сколько вели мы с ним деловых разговоров! Уважали мы его, но каким-то официальным уважением. А в эту минуту всех нас он взял в горсть. Не официально, не по положению, а вот так, по внутреннему убеждению признали мы его за человека сильнее нас и умнее.

Идем в кабинет, шумим, шутим. И дед Силантий, конечно, впереди всех. Стулья устанавливает, усаживает.

Сели мы вокруг стола тихо, мирно. Посмотрел Сергей Сергеевич на Настасью и говорит ей:

— Выкладывайте. Слушаем...

И началось тут сражение!

Настасья против старых севооборотов, остальные—за них. Игнат Игнатович в свое время с великим трудом вводил их в колхозах. Он за их введение получил от области благодарность. Они его детище, его слава и гордость! Он утверждал, что клевера плохо растут только потому, что за ними нет ухода, не известкуют, не удобряют землю.

Как ни странно, крепко способствовал решению спора дед Силантий.

Слушал-слушал дед, да и говорит:

— За свой колхоз я не скажу, а в соседнем, в могучем колхозе «Звезда» этим клеверам одной только какавы не давали! Попробовать еще поливать их какавой, тогда, может, они согласятся произрастать на нашей степи.

Вызвали мы Ручeнко. Пересмотрели материалы по урожайности клеверов за десять лет. К вечеру пришли наконец к решению.

Все севообороты Сергей Сергеевич менять не советовал, но тут же позвонил в город, чтобы немедленно выезжал научный сотрудник для консультации и помог заново пересмотреть севообороты в трех отстающих колхозах с целью быстрейшего поднятия их слабой экономики.

Попробовал я по примеру Линочки попросить самосвал, из этого ничего не вышло. Однако возникла у нас во время этого разговора мысль о том, чтобы попросить на

три дня на соседней станции, у железнодорожников, экскаватор и с его помощью разгрузить и вывезти со станции удобрения. Сергей Сергеевич обещал нам в этом деле помочь.

В тот момент, когда Настасья стояла с бутылкой в руках, чем-то она нас всех тронула, но это чувство прошло очень скоро.

Для этих добрых чувств просто времени не оставалось. Консультант, которого вызвал Сергей Сергеевич, так же, как и мы, считал, что надо не отказываться от клеверов, а поднимать их урожайность. День и ночь у нас споры. От этих споров знобит всю МТС — нет нормальной работы! Звоним в район, в область. Область дает установку в трех отстающих колхозах этот год клевера заменить кукурузой и подсолнухом. Области легко: дали установку — и все! А мне каково? Попробуй накануне сева и достать новый посевной материал, и пересмотреть план работ квадратно-гнездового, и увеличить нагрузку на сеялке СШ-6.

Особенно трудно досталась мне кукуруза, была б она неладна! В нашей степи сеяли ее в двух-трех колхозах, и то только на кулисы. У нас и килограмма не раздобыть. А тут попробуй в три дня достать семенной материал на многие сотни гектаров!

У меня тогда вся дверь в кабинете расщепилась: как войду, выйду — все рывком.

Наконец кончили с севооборотом. В трех колхозах заменили клеверные поля посевами кукурузы и подсолнуха.

И сразу же нашу Настасью как подменили. Пока спорила, вид у нее был вызывающий, смелый. А когда добилась своего, испугалась.

До сих пор все наши колхозы были на общей ответственности. А теперь, когда наперекор нам настояла на своем, получилось так, что взяла она три самых тяжких колхоза на свою ответственность. Как только она это поняла, оробела. Молчит и ходит по МТС с испуганными глазами. Смотрит, как будто просит: ободрите меня хоть словечком! Страшно, мол, мне!

А мы это видим и даже радуемся. Сама заварила — сама и расхлебывай!

Помню я такой случай. Возвращался я домой на мотоцикле. Еду усталый, голодный и злой как черт — двое суток мотался по соседним районам за этой злосчастной кукурузой, и все впустую! Вечер был ветреный. Закат густой. На снегу от заката розовый отсвет, и не понять, снег это или еще что-то, тебе неизвестное. Кругом ни куста, ни деревца, только прошлогодние кулисы — сухие кукурузные стебли — шеренгой тянутся к

горизонту. Ветер гнет их к самому снегу. А тишина вокруг такая, будто нет на белом свете ни людей, ни зверей, ни сел, ни городов, только мертвый снег под густым закатом. Будто ты не на земле, а на неизвестной безлюдной планете. «Волчьими вечерами» называют у нас такие вечера, потому что даже волков в такие закаты одолевает тоска, выходят они из нор в степь повыть на ветру.

Вот в этакий «волчий вечер» и ехал я из района. Неуютно мне в степи. Тороплюсь. И вдруг вижу, какая-то одинокая фигура бродит между кукурузными стеблями. Подъезжаю — Настасья. Увидела меня, как будто обрадовалась, заторопилась ко мне. Идет, в снег проваливается, тащит в руках кукурузный стебель. Все волосенки ветром растрепало, пальто с нее так и рвет. Идет против ветра, вся пригнулась и голову выставила, будто этот ветер буравит своей головой.

Подошла и «здравствуйте» не сказала, а сразу:

— Алексей Алексеевич, ведь здесь хорошая кукуруза росла! Правда? Здесь в прошлом году сеяли кукурузные кулисы! Смотрите, какие стебли сильные. Хорошая кукуруза! Правда?

И смотрит жалобно, смотрит, словно говорит: «Боюсь. Поддержи. Обнадежь».

Я ей отвечаю беспощадно:

— Так себе кукуруза.

А она мне опять торопливо:

— Вызревать она, конечно, здесь не будет, но для корма скоту, для силоса... Ведь хороша! Посмотрите, какие листья!

— Поздно уж,— говорю.— Не время по степи бродить, кукурузу разглядывать. Садитесь. Довезу.

Говорю, а меж тем сам думаю: «Сам из-за тебя день и ночь по степи мотайся да еще тебя вози!»

Она посмотрела и, видно, поняла мои мысли.

— Спасибо,— говорит,— я пешком пойду.

— Вольному воля.

Уехал. На повороте оглянулся. Бредет. Стебель тащит. А до села далеко еще. Помню, мелькнуло в уме вполусерьез: «Еще и на самом деле съедят ее волки». Пока оглядывался, угодил с мотоциклом в канаву, чуть не упал и выругался с досады: «Чтоб ее волки съели... Хоть покой узнаем!»

Но между прочим, в те дни у нас получилось что-то вроде передышки. Навоевались, наспорились, наволновались и поутихли. И выдалось даже два-три вполне миролюбивых дня.

С помощью Сергея Сергеевича добились мы у желез-

нодорожников экскаватора. Дали его нам на три дня для вывозки удобрений. Удобрения на нашей станции выгружали и для нашего, и для глубинных районов. И за годы образовалась возле железнодорожной насыпи вторая насыпь, из удобрений. Уже и позабыли, чьи они, кому были посланы. И вот решили мы с Федей все их вывезти на поля. Райком нам помог — передали нам на три дня весь районный транспорт. Образовалась солидная автоколонна. Разработали маршруты. Степь подморозило последними заморозками, дороги крепкие, экскаватор работает безотказно, у шоферов организовали соревнование. Кипит работа.

Вдруг вижу, среди шоферов хохочет и вертится какая-то девчонка. Только по лыжным штанам и узнал Настасью. Она от пыли закинулась полушалком, веселая, с машины на машину скачет, как коза. Пробирается ко мне и кричит:

— Ой, Алексей Алексеевич, как хорошо получается! — И тут же добавляет: — Только надо не так!

Меня всего передернуло — опять начинает учить и указывать! А она говорит:

— Надо двухстороннюю погрузку. В два потока! Иначе экскаватор все же простаивает!

Действительно, пока нагруженная машина разворачивалась и отходила, а пустая устанавливалась под ковш, экскаватор простаивал. Настасья и ответа от меня не дождалась, спрыгнула с насыпи, побежала к экскаваторщику, что-то ему сказала. И вот уже вертится возле машин, устанавливает машины в два потока — один с левой стороны экскаватора, другой — с правой. Нагрузят машину слева, перекинут ковш на правую сторону, а там уже стоит наготове машина. Работа пошла еще быстрее. А меня задело. Трое мужчин у экскаватора — я, Федя, Игнат Игнатович, — а девчонка прибежала и в пять минут сделала лучше нас! Раздражает она меня. Стоит рядом, вся запылилась. Платок с нее ветром сбило, и торчат ее бантики, серые от пыли. То ли мне немного принизить ее захотелось, то ли еще что, я и сам не пойму, только взял я за бантик двумя пальцами и насмешливо говорю:

— Эх вы, главный агроном... Запылились, — говорю, — эти ваши «радость первоклассницы»...

Она улыбнулась немного растерянно, но не обиделась.

— И верно! — говорит. — Как меня бабушка причесала, когда снарядила в первый класс, так я всю жизнь и причесываюсь. — И закричала шоферу: — Вася, Вася, подъезжай с левого борта!

И убежала устанавливать машины. И вышло так, что хотел я ее смутить, а вместо того сам смутился. Не для

красоты наворачивала она свои бантики, а по привычке. Просто не думает об этом. Не тем живет человек! Мы с Аркашей, взрослые мужчины, размышляли об этих ее бантиках, будто другого предмета для разговора у нас не было. А она, девчонка, такого и в мыслях не держит.

Маленькие это были факты — с двумя потоками, с бантиками,— а как-то оставили они след в памяти. И как-то заставил меня этот факт взглянуть на нее иначе. И вот, представьте, наперекор всему вдруг что-то понравилось мне в ней. Понравилось, как с шоферами шутит, как вьюном вьется между машинами. Не агрономшей Ковшовой, а очень свойской, деловой, веселой девчонкой показалась она мне в ту минуту. «Может быть,— думаю,— еще утрясется все, и потечет у нас в МТС мирная жизнь?»

Не долго тешила меня эта надежда. На следующий же день явилась Настасья к Аркадию с требованием произвести пробный квадратно-гнездовой сев по снегу.

— Проверку сеялок надо сделать,— говорит.

А Аркадий стоит у окна, худой, высоченный, сосет трубку, смотрит в окно из-под лохматых бровей и отвечает Настасье небрежно, не оборачиваясь:

— Ну?

— Вдруг они неисправные,— говорит Настасья.

— Ну?

— Исправить надо заблаговременно!

— Совершенно верно,— отвечает Аркадий хладнокровно и насмешливо.

Она растерялась немного:

— Можно сказать Гоше, чтобы выехал в поле?

Тогда Аркадий повернулся к ней, оглядел ее с головы до ног. Она стоит у двери, переминается с ноги на ногу, маленькая, едва ему по плечо.

— Настасья Васильевна, вам что, совершенно нечем заняться?— спрашивает Аркадий.— У вас своих дел нет?.. Ах, есть? Так, может быть, вы будете любезны заниматься ими? Может быть, вы предоставите возможность мне заняться техникой и отвечать за нее?— И, не глядя больше на агрономшу, подошел ко мне, подсел к столу, обнял меня.— Ты знаешь, Алеша, какой комбайнище получили в Волочихинской МТС!..

Он разговаривает со мной, а она стоит у дверей. Постояла и ушла.

Вскоре уехали мы с Федей да Аркашей на пленум райкома. Через день возвращаемся, смотрим: что за диво? Посреди снега стоит сеялка СШ-6, и мечутся по степи девчонки с красными флажками.

Спрашиваем:

— Что тут творится?

Нам отвечают:

— Замучились. Второй день репетируем по снегу квадратно-гнездовой сев.

— По чьему приказу?

— По приказу главного агронома.

Что это значит? А значит это, что воспользовалась она нашим отсутствием и наперекор моему приказу самовольно сняла людей из мастерских и отправила в поле. У меня пот на лбу выступил. Что же это за самовольство? Нельзя отлучиться из МТС!

Записал я ей выговор в приказе. Дал расписаться. Расписалась и все молчит. Только когда выходила, у дверей остановилась и сказала:

— Во всех сеялках кольцевидные зазоры. Семена сыплются дорожкой не только в отверстие, но и в зазоры. Гнезд не получается.

Аркадий говорит:

— Это нам известно.

И не глядит на нее.

Ушла она.

Тем временем весна брала силу, и стали мы формировать агрегаты и выводить их в поле.

И началось тут такое, по сравнению с чем все прежде пережитое с Настасьей показалось нам райским сном!

Схватились тут, можно сказать, мертвой хваткой два характера — Настасья и Аркадий! И так схватились, что МТС затрещала.

Приходит Аркадий, говорит, что агрегат номер такой-то находится в полной готовности и сегодня отправляется в бригаду. Через полчаса является Настасья и заявляет, что в агрегате плохо работают отвалы и что его надо отправлять обратно в ремонтные мастерские.

Аркадий кричит:

— Не мешайтесь не в свое дело!

Она отвечает:

— Огрехи в поле — это мое дело!

И так каждый день!

У соседних МТС все агрегаты давно выведены в поле, а наши все еще торчат на усадьбе. Мы подаем в райком сведения о готовности всех агрегатов к выходу в бригады — она пишет в райком о том, что нет ни одного готового агрегата. И ведь что всего обиднее: в соседних МТС не лучше, чем в нашей! И там, если начнешь цепляться, так найдешь мелочную недоделку в каждом агрегате! Но там агрономы нормальные.

Однажды возвращаемся мы с Аркадием с поля, навстречу бежит Веня.

— Я за вами,— говорит.— Скорее! Там Стенька агрономшу давит!

Подходим к усадьбе и застаем такую картину: в воротах стоит агрегат, а прямо перед трактором — Настасья.

Из трактора высовывается Стенька, вертит головой и кричит:

— Пропусти!

Она ему спокойно отвечает:

— Возвращайся обратно.

Стенька кричит:

— Я под Вислой контуженный! Раздавлю!

Она ни на шаг не отступает и говорит еще спокойнее:

— Не раздавишь... Возвращайся на усадьбу!

Стенька увидел Аркадия, захлебнулся словами:

— Товарищ Аркадий Петрович! Товарищ главный инженер! Четвертый раз в ремонт ворочают! До кой поры это терпеть? По вашему разрешению...

Аркадий с ходу все понял. Спрашивает очень вежливо:

— Настасья Васильевна, на каком основании опять задерживаете агрегат на усадьбе?

Она ему еще вежливее:

— Аркадий Петрович, вы проверяли сеялки?

— Я отвечаю за агрегаты.

— Вы их проверили?

— Да.

— Высевающие аппараты в середине двух сеялок неисправны. Только почищены снаружи.

— Мне это известно.

Она удивилась:

— Вам известно?.. Тогда как же...

— Высевающие аппараты исправят на месте, в бригаде.

— Но... за двадцать километров от МТС... Там же нет ремонтной базы. Кто и как там отремонтирует, если они и здесь не сумели? Алексей Алексеевич, ведь лучше задержать агрегат до вечера! Ремонт здесь и быстрее, и качественнее, и удобнее, и на глазах!

Не успел я ей ответить, как Аркадий выступил вперед:

— Вопрос мы с директором согласовали... Дайте агрегату дорогу, Настасья Васильевна!

Стенька кричит:

— От-тойди!

Она отошла. Аркадий наклонился к ней на вид очень ласково, даже любезно и говорит раздельно, тихим, бешеным голосом:

— Предупреждаю... последний раз... вы вмешиваетесь в мои распоряжения...

Выпрямился и кивком подозвал:

— Вениамин, со мной!

Стенька уехал, Настасья осталась ни с чем. Мы с Аркадием идем в контору, Веня за нами.

Едва мы порог переступили, Аркадий обернулся к Вене и громыхнул так, что стекла дрогнули:

— Ты... такой-сякой!.. Меня обманывать?!

Тот клянется:

— Не обман, Аркадий Петрович, недогляд! Оплошал! На Стеньку понадеялся, Аркадий Петрович!

— Я тебе покажу оплошку! Ночь не спи! Землю рой! Чтоб к утру, такой-этакий, все было в ажуре!..

— В полном ажуре! Будет исполнено. Всю ночь не отойду.

— Сгинь с глаз!..

Веня исчез. Мы вызвали Федю, объясняем ему происшествие.

Появляется Настасья. Останавливается в дверях и тихо говорит с порога:

— Вы мне... солгали... Вы... оба... Вы понадеялись на Веню. Вы не просмотрели сеялок... Вы ничего не согласовывали друг с другом... Когда лгут такие, как Стенька,— пусть! Но когда руководители... члены партии... я не понимаю... Мне очень трудно... понять это... Зачем это?!

В голосе у нее не упрек, не обида... словно боль какая-то, боль и непонимание...

Нехорошо мне стало, совестно. Объясниться бы, думаю, с человеком по-человечески... можно же по-хорошему...

Аркадий вскочил, закричал на нее:

— Из-за вас в хвосте тянемся, да еще морали от вас выслушивать?! Довольно! Из-за вас репутация МТС...

Она перебивает с горечью:

— Вам бы только репутация!

Тут Федя вмешался:

— Репутация вас не интересует! А честь нашей МТС вам дорога? Вы ею не дорожите. А мы с Аркадием Петровичем дорожим и честью, и репутацией, и добрым именем нашей МТС! Когда мы пришли, наша МТС числилась в последних, а теперь...

— А теперь,— опять перебивает Настасья,— идет «ухо в ухо». Сколько раз я это слышала!.. Чем дорожите?

— Тот ничем не дорожит, кто ничего не сделал!— говорит Федя.

Ушла она...

А через день разразилась наша главная беда.

Два трактора вернулись в ремонт. Один встал во время задержания талых вод, а другой и до полевого стана не

дошел. Кинулись проверять, в чем дело. И выяснилось, что, когда Гоша уезжал на курсы, подшипники заливал и отвечал за ремонт другой рабочий. Его трактора и вернулись в ремонт.

Два только что отремонтированных трактора накануне сева «на приколе» — это же небывалый позор для МТС! И позор наш широко обнародовали! Появилась статья в областной газете. И писали в той статье, что Журавинская МТС сдает завоеванные позиции, идет книзу. Ремонт и запоздалый и некачественный...

Принес Аркадий эту газету, швырнул на стол Настасье:

— Полюбуйтесь. Ваших рук дело!

Мы думали, хоть тут поймет она свои ошибки! Нет! Сжалась вся, но не смутилась, а накинулась на нас же:

— Не моих, а ваших рук дело! Почему у вас в МТС только на двух-трех механизаторов можно положиться? Почему вы с вашими кадрами не работаете?

Аркадий ей не стал даже отвечать, а когда она вышла, говорит мне:

— Ну, Алеша, выбирай! Не для того я уехал из большого города, ушел с большой работы, чтобы здесь, в степи, тянули из меня последние жилы. Я или она...

Решили мы ее уволить, и стал я подготавливать этот вопрос в райкоме.

В эти дни Сергей Сергеевич возвращался из поездки по областям и проездом снова задержался в нашем районе.

И вот вызывают нас в райком, и сидит в кабинете рядом с Ручинко сам Сергей Сергеевич.

Приглашают они нас садиться. Сели мы вчетвером у одной стенки, возле председательского стола. Настасья присела на краешек стула, у противоположной стены, в самом дальнем углу. Ручинко не садится, а ходит от окна к окну, смотрит то на нас, то на Настю. Выражение у него необычное: голову наклонил, как будто одним ухом прислушивается к чему-то, едва слышному. Подойдет к одному окну — с одной стороны на Настю посмотрит; подойдет к другому окну — с другой стороны ее оглядит...

Сергей Сергеевич сидит за столом спокойно, глаза опустил и только изредка взглядывает на всех нас сразу.

Надо сказать, что ситуация для обоих секретарей не простая. Четыре старых, уважаемых работника МТС ополчились против девчонки, явившейся в МТС из института с отличными характеристиками. Попробуй разберись, в чем тут дело...

Федя мне на ухо шепчет:

— Ручинко может и ошибиться, а на Сергея Сергееви-

ча полагаюсь я полностью. Он когда разговаривает с человеком, будто вынимает ядро из ореха. Говорит, как сортирует: шелуху отметает, а зерно подбирает к зерну.

Предоставляют нам слово. Первым говорю я, как директор. Я объективно сообщаю, что поступили ко мне заявления от главного инженера и от Игната Игнатовича о невозможности работать с новым агрономом. Сообщаю, что за истекший короткий срок было два случая прямого неподчинения моему директорскому приказу.

Высказались и остальные. Дольше всех нас говорил Аркадий. Встал он, вынул трубочку свою изо рта и говорит:

— Сергей Сергеевич, вы меня знаете не первый год. Был здоров и не на такой работе работал. Было время... Всякими людьми руководил... со всякими срабатывался... но с таким человеком, как агроном Ковшова, сработаться невозможно! Нет у нее ни опыта, ни знаний, ни выдержки, ни дисциплинированности. Результаты ее «работы» налицо. Всегда наша МТС одной из первых в районе заканчивала ремонт. Нынче мы закончили его последними. Всегда наша МТС первая выводила агрегаты в поля. Нынче у соседей все машины в полях, а наши еще торчат на усадьбе стараниями агронома Ковшовой. Не сегодня-завтра начнем сев. Раньше мы его заканчивали в числе первых... Если агроном Ковшова останется в МТС, мы наверняка закончим его последними...

Выслушали нас оба секретаря и молчат. Ученко остановился у окна, опершись спиной на оконный косяк, а Сергей Сергеевич поднялся и начал ходить по комнате. Поворачивается неуклюже, как нагруженная баржа. Лицо такое, что ничего на нем нельзя прочесть. Ходит, молчит. Тишина в кабинете... Остановился. Поглядел на всех нас, и вдруг что-то дрогнуло у него в лице, глаза блеснули, губы шевельнулись, словно сильно захотелось ему засмеяться. Взглянул он искоса на Рученко, и к тому смех перекинулся, у того выдержки поменьше, губы разъехались, ноздри задрожали—вот-вот захохочет. Рученко стал сморкаться, а Сергей Сергеевич быстренько повернулся лицом к окну... Что же это, думаю, рассмешило обоих секретарей? И посмотрел я на происходящее со стороны. Сидят по одну сторону кабинета четверо мужчин, все рослые, здоровенные, и все четверо с ненавистью смотрят в противоположный угол. А в противоположном углу сидит девчонка, маленькая, тихонькая, ноги под стулом скосолапила носками внутрь, голову нагнула, бантики выставила... И хоть бы лицо-то было воинственное или сердитое. Нет! Выражение лица самое горестное.

Подумаешь, что от этого горестного создания четыре

здоровенных дяди готовы сбежать из МТС, и поневоле засмеешься!..

Со стороны смешно, а нам не до смеха.

Постоял Сергей Сергеевич у окна, пересилил усмешку, подошел к Насте и говорит:

— Так вот какая ситуация, агроном Ковшова.

Она еще ниже голову нагибает, моргает и молчит.

— Энергии, как видно, у вас вполне достаточно! — продолжает Сергей Сергеевич.— Больше чем достаточно, если вы одна четырех здоровых, спокойных мужчин довели до белого каления!.. Но как эта энергия расходуется? Ведь создалась такая ситуация, что, пожалуй, правильнее всего перевести вас сразу после посевной в другую МТС... Как же могло создаться такое положение?

Она едва выдавила из себя:

— Я... ничего такого... особого... не делала...

Сергей Сергеевич постоял над ней, подумал, и опять мелькнула у него в лице не то усмешка, не то что-то другое... неофициальное.

— Могу,— говорит,— я себе представить это ваше «ничего особого»! — И спрашивает он ее не сердито, а с любопытством и с добродушной насмешливостью в голосе: — Когда вы походя и всенародно обвинили меня (а я как-никак секретарь обкома!) в тройном обмане колхозников, вы тоже, конечно, считали, что «ничего такого... особого» вы не сделали?

Она молчит, а он подождал ответа и продолжает строже:

— Я вас один раз видел и один раз разговаривал с вами. А товарищи работают с вами бок о бок из месяца в месяц... Могу я себе представить ту обстановку, которая создается в МТС! Но сейчас дело не в этом. Товарищи утверждают, что вы никому не подчиняетесь. Позволяете себе прямо нарушать приказы директора... Может быть, товарищи ошибаются, и вы этого себе не позволяете?

Настя головы не поднимает.

— Позволяю... себе...— говорит.

— А о принципах единоначалия на советских предприятиях вы что-нибудь знаете?

Она все молчит.

Подождал Сергей Сергеевич ответа и, не дождавшись, продолжает:

— Есть такое правило, которого я придерживаюсь в работе: «Не знаешь — научим! Не можешь — поможем! Не хочешь — заставим!» Так вот, интересно мне установить, не знаете ли вы о принципах единоначалия и дисциплины, не можете ли им следовать в силу каких-то обстоятельств или... не хотите им следовать?

И опять она молчит. Потом разжала губы и едва выдавила:

— Техника возросла... а урожаи не растут... Я говорила... Я думала... Они не хотят меня слушать!..

И опять замолчала. Лицо растерянное, глуповатое... Я думаю: что же это случилось с нашей задирой? Почему не отстаивает себя и свою правоту? Почему перед секретарем обкома даже не пытается защитить себя от наших обвинений? Вспомнилось мне, как проводила она занятия с трактористами, как машины устанавливала на выгрузке удобрений, как бродила по степи с кукурузным стеблем... Есть же и в ней такое, чем козырнуть, чем показать себя с хорошей стороны. Есть за что и нас раскритиковать. Почему же молчит? Когда нужно защищать квадратно-гнездовой, она, можно сказать, кидается грудью на штыки! Когда нужно было защищать отстающие колхозы, она ничего не побоялась, самому секретарю обкома бог знает чего наговорила! И смелости и дерзости было в ней тогда на десятерых! А сейчас не за квадратно-гнездовой и не за отстающие колхозы, а за самое себя надо драться!.. Что же она, заядлая драчунья, сидит безмолвно, бессильно, губ не разжимая? Что же это за характер такой? За других дерется, как тигрица, а себя... себя... себя она, как видно, защищать не умеет...

Ярко освещенное селение промелькнуло за окном, но мы не знали какое: столько городов и сел пролетело мимо нас за эту ночь.

Спутник мой то сжимал, то разжимал в ладони холодную трубку.

— Поверите ли, вот до сих пор помнится мне эта ее беззащитность перед нами... Да... Так и не сумела Настасья в ту минуту постоять за себя. Себя она защитить не сумела... Выслушала все растерянной, безъязыкой дурочкой и дурочкой вышла из кабинета...

А мы остались и повеселели. Вернее, почувствовали облегчение от того, что неприятное дело уже решено, уже позади. Федя стал осторожно закидывать удочку насчет того, нельзя ли будет «поменяться» агрономами с Волочихинской МТС. Давно уж хотелось нам перетащить к себе Линочку.

А Сергей Сергеевич отвечает нам рассеянно, односложно и продолжает ходить по комнате. А лицо у него сумрачное, неспокойное, как будто он недоволен не то собой, не то еще чем-то... То сядет за стол, то опять встанет, подойдет к окну, побарабанит пальцами по стеклу... Когда мы поговорили о других делах, он говорит:

— Да... Поведение опрометчивое... недопустимое...— Мы слушаем и удивляемся: опять он про Настю? — Но... живет она в состоянии драки. А в драке главное не поведение... а то, за что и с кем человек дерется...— И повернулся к Рученко.— Когда сомневаешься в существе вопроса, полезно бывает просмотреть, кто в одном лагере, кто в другом. Это иной раз помогает разобраться...

Я сразу подумал: кто из наших механизаторов за нее, кто против? Чумак за нее горой, а Стенька с Венькой... Как это получилось, что мы, можно сказать, в одном лагере с этой парочкой?

А Сергей Сергеевич продолжает:

— Колхозники и механизаторы агронома Ковшову приняли. Мало того: полюбили. С ними у нее драки нет... С вами у нее драка. Со всеми одинаково или есть среди вас ее главный «супротивник»?

Вопрос был неожиданный, мы не сразу ответили. Аркадий нашелся скорее всех; усмехнулся и отвечает:

— Главный ее «супротивник», пожалуй, я.

Сергей Сергеевич постоял, посмотрел на него своими медвежьими глазками откуда-то из глубины, подумал и выкладывает ему в лицо:

— А ведь требования ее, по существу, правильны. Сеялки-то в агрегате действительно были неисправны. Отвалы в другом агрегате действительно не работали. Катков действительно не было...

Аркадий видит, что дело принимает нежелательный оборот, встает, подходит к столу:

— Сергей Сергеевич! Разрешите мне завтра поехать с вами... В любом агрегате любой МТС я берусь найти недоделки. Однако главные агрономы там докладных записок не пишут, агрегатов на усадьбе не задерживают... Я вам берусь наглядно доказать, что в нашей МТС дело обстоит не хуже, а лучше, чем в соседних! Исключительно благодаря линии поведения главного агронома наша МТС числится на последнем месте.

Сергей Сергеевич выслушал. Прошелся через всю комнату, повернулся опять к Аркадию и спрашивает:

— Однако... Что же вас все-таки больше интересует? На каком месте числится ваша МТС или какой урожай вырастет на колхозных полях?

Отпустил он Аркадия и Игната Игнатовича, а нас с Федей задержал, да и говорит Феде холодно и внушительно:

— Не кажется ли вам, что иногда у вас в МТС вокруг нормальных требований создается ненормальная обстановка? Продумайте... Присмотритесь...

Надо сказать, что ушли мы неудовлетворенные. Не

того мы ждали. Заметно заскучал Федя. Он надеялся на полную поддержку Сергея Сергеевича, а получил критику своей линии.

Но сильнее всех переживал неудачу нашего похода против Насти Аркадий. Он думал, что избавиться от нее будет проще простого, и был неприятно поражен тем, что сидела она в МТС много крепче, чем ему казалось.

Запомнился мне один вечер.

После работы задержались мы в кабинете у Аркадия. Мы часто у него засиживались. Кабинет у него располагающий... Диван. Гардины. Изразцовая печка. Настроение у всех было неважное, но разговор шел тихий, мирный, на вполне нейтральную тему — о нехватке запасных частей.

— Да, черт подери,— говорит Аркадий,— в этом захолустье какой-нибудь несчастный подшипник превращается в непреодолимое препятствие. Идешь с большой работы на маленькую, думаешь передохнуть, здоровьишком разжиться... А на маленькой хуже, чем на большой... Здесь прыщ с носа сковырнуть — и то проблема.

— Ты о чем? — спрашиваю.

— О чем? О ней, конечно. О нашей «малоподобной агрономше»... С большого предприятия сотрудника, который нарушает приказы директора и дезорганизует работу коллектива, удаляют в два счета. А тут...

Федя говорит ему:

— Ты же сам был в райкоме...

— Я и принял на себя главный удар! Настаивать дальше в моем положении было неудобно. Я надеялся, что, когда я уйду, ты доведешь дело до конца. А ты... Только молодость тебя и извиняет.— И похлопал Федю по плечу.— Эх, Федя ты, Федя!

Всегда Федя Аркадия слушался, а тут, смотрю, двинул плечом, стряхнул его руку и отвечает:

— Если б я был только «Эх, Федя», я бы еще прежде тебя избавился от нее... Крови она мне попортила не меньше, чем тебе... Но кроме того, что я «Эх, Федя», я еще и коммунист, и руководитель партийной организации. Поэтому я должен взвешивать и причины и возможности.

Аркадий уселся в кресло, закинул ногу на ногу.

— Любопытно! — говорит.— Какие же ты обнаружил «причины и возможности»? Расскажи. Мы слушаем...

— И расскажу... Закупорь котел и поддай жару. Закипит, забурлит, разнесет в куски! И чем выше давление пара, тем больше от него и бурленья и неприятностей... Что тут можно делать? Уйти подальше. Вот если бы я был только «Эх, Федя», я так бы и сделал... А можно и по-другому. По тому, как бурлит да как гудит, чувствуется: бродит сила и не может разместиться в

тесном пространстве. Дай этой силе простор да верное направление, поставь клапаны, поршни, приспособь турбину — она тебе черт знает что своротит, гору дел переделает!..

Аркадий смеется, а глаза у него злые.

— Смотри-ка! Наш Федя стал аллегориями разговаривать...

Федю тоже забирает, но он не подает вида.

— Аллегория,— говорит,— вещь полезная. Когда у тебя в твоем хозяйстве трактора не работают и мощности простаивают, ты расстраиваешься? Или... может, важно одно — не отставать от соседей? А раз у соседей тоже простаивают, то какая в этом печаль... Как, по-твоему? А про себя скажу так. Мое хозяйство — люди. И по-хозяйски должен я добиваться, чтоб человеческая сила использовалась на полный коэффициент...

Аркадий опять засмеялся.

— Сила! Это она, агрономша?.. Ну, знаешь... Только для блохи и клоп — сила.

Вижу: пора мне вмешаться!

— Хватит вам,— говорю.— Что с вами сегодня? Мало вам агрономши Ковшовой. Если вы еще друг с другом возьметесь ругаться, что тогда будет в нашей МТС?!

Кое-как замяли мы этот разговор.

А тут подоспели такие события: отпустили нам деньги на строительство. И задумал я поднять мастерские за один строительный сезон, с тем чтобы с осени разрешили нам открыть у себя на новой базе курсы механизаторов. Так, думаю, сразу убью двух зайцев — и ремонтная база будет, и кадры...

Забот и трудностей, конечно, выше головы: проекты утверждай, и стройматериалы добывай, и строительную бригаду формируй! Неприятности наши с агрономшей отошли от меня, позабылись. Не до них мне стало.

А она меж тем времени попусту не теряла. Готовила она для нас еще одно острое переживание...

Дело в том, что прошлый год у нас был засушливый, и по большинству колхозов семенной материал оказался некондиционным. Область нас успокоила, что выделены нам семена для обмена. Пришел обменный фонд с запозданием, и сразу по всему району начался обмен! Но ведь у нас по Настиной милости все не как у людей! Не желает обменивать семена! Завезли для обмена из дальних мест мягкие, незасухоустойчивые сорта.

Настя заявляет:

— У нас твердая пшеница, гордость наших мест! Если

ей не хватает до кондиции нескольких процентов, надо дотягивать и дорабатывать эти проценты, а не менять...

А когда там дотягивать и дорабатывать, если в области уже сеют! Метеорологическая станция сообщает, что через три — пять дней потеплеет, начнется сев и в нашем районе, значит, надо в три — пять дней довести семена до кондиции: организовать сортировку, воздушно-тепловой обогрев, яровизацию.

Легко сказать!.. Пустое дело, например, брезенты для воздушно-теплового обогрева. А ведь этих брезентов нет во всем районе! Да и не до того мне! У меня в голове кирпич, железо, строительный лес!

Аркадий говорит:

— С ремонтом из-за нее запоздали, с выводом агрегатов вышли на последнее место... И с севом из-за нее будем последними!

Цыкнуть бы на нее, а тут Федя стоит над моей душой, одергивает, создает для «нормальных требований нормальную обстановку»...

Я ему говорю:

— Не могу я с ней разговаривать нормально. Я чувствую, что она мне срывает посевную.

Он отвечает:

— Надо ее урезонить миролюбиво.

А какое там миролюбие! Я ее спрашиваю:

— Почему колхозы всех соседних МТС спокойно меняют семена и никто никаких историй не делает из этого?

Она мне отвечает:

— Я этого сама не понимаю! Как это можно допустить, чтобы из-за двух-трех процентов меняли местные твердые пшеницы на чужедальние мягкие?

Я ей говорю:

— Почему у вас опять «как на охоту ехать, так и собак кормить»? Почему вы раньше молчали? Почему спохватились за три дня до сева?

— Моя ошибка. Пусть я за нее и отвечу. Но колхозы-то не должны страдать из-за нее! И, кроме того, как же я могла знать, что в обменном фонде окажутся мягкие сорта?

Я говорю:

— За такой короткий срок мы кондиционных процентов не натянем. Это дело на свою ответственность взять не могу.

— Возьму,— говорит,— на свою ответственность.

Я говорю:

— А я вам приказываю...

— А я вам не могу подчиниться.

Опять подбородок вперед лопаткой и полное отсутствие губ...

Аркадий поддерживает меня:

— Вы не извлекли никаких уроков из разговора с секретарем обкома. Нам, очевидно, придется прибегнуть к той крайней мере, о которой мы тогда говорили.

И я подтверждаю:

— Иного выхода я уже не вижу...

А она ведь ничего не знает о той беседе, которую вел с нами Сергей Сергеевич после ее ухода. Она только то знает, как он ее отчитывал за отсутствие дисциплины.

Побледнела, голову наклонила, вышла... Мы думали: урезонили ее, смирилась. Ничуть не бывало!

На другой день узнаем, что в трех ее любимых колхозах отказались от обмена и решили дотягивать свои семена до кондиции.

Это значит, что она, пользуясь своим авторитетом в этих колхозах, опять действует вопреки моему прямому приказу! А еще это значит срыв посевной в отстающих колхозах!.. Она думает, что даст она им инструкции — и колхозы в три дня сделают все, что она укажет. А я эти колхозы знаю не первый год! Я знаю, что за три дня там Настины инструкции только-только дойдут до сознания. Да еще минимум три дня уйдет на сборы да на раскачку. Да еще три дня понадобится на то, чтоб обнаружить, чего не хватает в колхозе для выполнения этих инструкций. А там начнутся поездки в райком и в МТС с жалобами на разные недохватки! А там, глядишь, посевная в разгаре!.. Поедут обменивать, и окажется, что лучшие сорта из обменного фонда разобрали другие колхозы, а нам достанется то, чем другие побрезговали... Вот тебе и подняли отстающие колхозы! Большое дело наша агрономша рубит под корень!

И до того вся эта картина ярко нарисовалась в моем воображении, что бросил я все дела, оседлал свой «газик» и без шофера помчался в те колхозы с недозволенной скоростью.

Не доезжая до «Октября», наткнулся я на такую картину. Завяз среди дороги грузовик, шофер возится с мотором, а вокруг грузовика, держась за борта, прыгает на одной ноге Настасья. Вторую ногу она не то подвернула, не то ушибла...

Подъехал я. Вышел из машины. И по лицу моему она поняла, что не прощу я на этот раз ее самоуправства.

Ногу еще сильнее поджала, стоит, держится за борт, смотрит на меня, поджидает, пока подойду.

Подошел я, и здесь, в открытой степи, у грузовика состоялся наш решительный разговор.

— Что ж,— говорю,— Настасья Васильевна... В третий раз нарушаете вы прямое распоряжение директора! В третий раз поступаете прямо вопреки моему приказу в серьезном и ответственном деле! Разговаривали мы все с вами много и... безрезультатно! Предупреждение я вам давал. Вы его оставили без внимания. Выговор я вам записывал. На вас и выговор не подействовал... Секретарь обкома с вами беседовал. Вы и из этого не сделали выводов! Что же еще с вами делать? Один у меня остается выход...

Опустила она голову. И поднятую ногу тоже опустила, позабыла про нее. Мрачно смотрит не на меня, а куда-то вниз, на сусличью нору.

— Сама вижу, что не работать мне у вас в МТС. Работаете вы неправильно, и убедить вас в этом я не могу, и примириться с такой работой не в силах... Уйду я... Увольняйте... Только прежде... семена дотяну... сохраню колхозам твердую пшеницу...

Ничего я ей не ответил. О чем тут еще разговаривать? Сел в машину, дал газу и поехал дальше.

Подъезжаю я к колхозу «Октябрь». Смотрю и не понимаю... Возле тока полно народу. Сортировки работают вовсю. У амбаров сидят бабы и спивают домотканые половики — подстилать под зерно вместо брезентов. В амбаре председатель колхоза и дед Силантий подготовляют все для яровизации семян.

Что, думаю, за чудеса такие? Бывало, здесь и в урочное время людей не дозовешься, а сейчас дело к вечеру, время нерабочее. Показываю на людей и говорю председателю:

— Собрались?

— Собрались! — отвечает.

— Как же это получилось?

Объясняет:

— Через доверие... Поверил народ и нашим планам, и нам с Настасьей Васильевной.

Подхожу к председателевой матери, к самой скандальной и поперечной старухе из всего колхоза.

— И вы,— говорю,— сегодня здесь?

— Як же ще? — отвечает.— Настасья Васильевна сама до моеи хаты забигала... вона мене уважает, як же мэни ее не уважить?

Произвела на меня впечатление вся эта картина!..

А пока я во всем этом разбирался, подлетает тот самый грузовик, прихрамывая, выскакивает из него Настасья, а за ней, откуда ни возьмись, двое молоденьких лейтенантов. И начинают они выгружать брезентовую палатку. Оказывается, Настасья ездила в соседние воен-

ные лагеря и выпросила у них на три дня палатку вместо брезентов для воздушно-теплового обогрева зерна.

Смотрю на Настасью — и не узнаю. Веселая, озорная, хохочет, шутит с молодежью и с лейтенантами. Будто и не она только что разглядывала сусличьи норы! А один лейтенантик, чернявый, хорошенький, помогает расстелить палатку, а сам с Насти не сводит глаз и все спрашивает:

— Не больно ли вашей ноге?

Пока они расстилали брезенты, появились возле тока три девахи в сережках: Олюшки прибежали глядеть на лейтенантов. Чернявенький лейтенантик шутит:

— Мы вам палатку привезли не даром... Давайте нам залог.

Председатель спрашивает:

— Какого вам залога надобно?

— Просим мы залога не простого! Дайте нам в залог одну из девушек...

Председатель смеется:

— Смотря которая вам надобна! Давайте решать вопрос конкретно.

— Поскольку мы люди военные, нужна нам самая боевая, самая огневая.

И, не стесняясь, смотрит в упор на Настю восхищенным взглядом. Колхозники улыбаются: нравится им, как весело и открыто этот чернявый восторгается агрономшей. Председатель говорит:

— Вы, товарищ лейтенант, на любую глядите, а к Настасье Васильевне не прицеливайтесь. Она у нас главная опора, и мы ее не отдадим.

Настасья не смущается, а тоже смеется и указывает на Олюшек.

— Вот,— говорит,— пришли самые боевые и огневые! Первые наши ударницы! Они вам сейчас покажут, как у нас в колхозе работают! Пошли, девушки, носить мешки!

Прихрамывая, бежит в амбар и первая подставляет плечо под мешок. Олюшкам деваться некуда — они за ней. А за ними и остальные, и лейтенанты присоединились. И пошла у них работа! Таскают мешки. Высыпают зерно на брезенты. Крутят сортировки... Дым коромыслом!

Хочу я эту музыку прекратить, хочу приказать, чтоб ссыпали зерно с брезентов обратно в мешки да везли в район на обмен, а язык у меня не поворачивается!

Лейтенантик меж работой все смотрит на Настю и все шутит:

— Зерно по ночам надо сторожить. Мы, как военные, можем взять на себя это дело, только с вашей помощью! Кто из ваших девушек умеет по ночам зерно сторожить?

А Настя ему подбавляет:

— Всё мы умеем: и зерно сторожить, и песни петь, и на баяне играть... Приходите к току вечером, сами убедитесь.

Кипит у них работа. А я стою в стороне и не знаю, как мне теперь поступать...

Стоял я, стоял, сел да и поехал обратно.

Еду и думаю... Ведь и вправду дотянут они семена до кондиции за три положенных дня!.. Я исходил в своих расчетах из обычных методов... Как у нас обыкновенно делают? Приедут, проинструктируют и уедут... Да разве я или Аркадий стали бы таскать мешки из амбара? Неправильно это в принципе!

А Настя?.. Сама уговорила строптивую старуху, сама выпросила брезент у лейтенанта и первая подставила плечо под мешок! Она министра из себя не делает. Только разве это метод?.. По знаниям — ученый специалист, а по методу — рядовая комсомолка... Главный агроном МТС и... сама таскает мешки! Неавторитетно! И главное, порочный метод работы! Однако благодаря этому ее «порочному методу» сделали при ней в колхозе за один день столько, сколько без нее не сделали бы и в десять. А о своем авторитете она не заботится. Она заботится, чтоб довести в три дня семена до кондиции... Может, в некоторых исключительных случаях такой метод и есть самый принципиальный? Инструктора и без нее ездят по десять штук на колхозника! И ведь доработают в колхозе семена к севу!.. А я ей сказал, что уволю!.. Что же это такое получается?

Ох, и неспокойным вернулся я в МТС! Несколько дней сидела Настя в колхозе, и за все эти дни не было у меня покойной минуты.

А тут еще и в природе было в эту весну сплошное беспокойство. Всего было много: и солнца, и ветров, и заморозков, и все не ко времени... Давно бы уж пора сеять, а нельзя! Днем солнце теплое, а по ночам заморозки сковывают землю. Два раза в день вскакиваю, бегаю на огороды, сую в землю градусник. Нельзя пшеничку сеять! Сев подсолнуха мы начали, поскольку он заморозков не боится. И, надо сказать, пошел у нас квадратно-гнездовой очень гладко, даже репортеры приезжали к Гоше Чумаку...

И вот однажды вечером сижу я у себя в кабинете, подписываю разные бумажонки, а краем уха слушаю радио, которое в коридоре. И вдруг слышу: «Директор МТС Чаликов»... Что, думаю, за чудеса! Или есть второй директор МТС Чаликов, мой однофамилец? Потом слышу, Георгия Чумака упоминают... Что же оказывается? Пере-

дают корреспонденцию «Известий» о квадратно-гнездовом севе... Гоша наш взял чуть не всесоюзный рекорд! Корреспондент об этом рассказывает и ставит нас в пример соседним МТС, где дело не ладилось.

Стою я один под громкоговорителем, а громкоговоритель нахваливает меня во всесоюзном масштабе! Нашу МТС хвалит, и Гошу Чумака, и Аркадия... И, вправду сказать, похвалить было за что. Пока соседние МТС обкатывали сеялки СШ-6 да детали пригоняли, в нашей МТС засеяли почти весь массив кукурузой и подсолнухом с ежедневным перевыполнением норм!

Вбегает Аркадий, волосы взъерошенные, трубка во рту погасла.

— Слыхал? — говорит.— На всю страну! Кто бы мог подумать, что нынче на этих квадратах можно так выскочить?! Нынче мы, сами того не зная, угодили в самую точку!

Собрался народ, все довольны, все радуются, все нас поздравляют. Я сразу не могу освоиться с этим фактом. Ругали, ругали всю весну, а тут на тебе!..

Ушел к себе в кабинет, сижу, переживаю. Тут из райкома звонит мне Рученко.

— Слыхал? Ну, то-то! Вперед так держать!

Я отвечаю:

— Есть так держать, товарищ секретарь райкома.

А сам думаю: что же это за жизнь за такая?! Чистая лихорадка! Вчера температура тридцать пять с десятыми, нынче все сорок! Вчера нас и в райкоме честили, и в областной газете ругали, а сегодня в центральной газете и по радио расхваливают на весь Советский Союз! Чудеса, да и только!

Линочка звонит, поздравляет. В коридоре ребята радуются, собираются отпраздновать это обстоятельство, меня приглашают.

А я сижу и думаю... И вдруг как ударило мне в голову! Все довольны, все веселы, а она, Настя, скачет на одной ноге где-то на краю села, и не ведает ни о чем, и собирается увольняться из МТС...

Ее имени и не упомянули. Поостерегся, видно, корреспондент похвалить человека, только что заработавшего выговор! Черт побери, думаю, какое положение! Заходит Аркаша, зовет к себе. Я пообещался прийти попозднее, а сам ото всех стороной свернул на ту улицу, где жила Настя. Может быть, думаю, она уже дома...

Уже смерклось и похолодало. Холодом потянуло в село из степи. У Настиных ворот незамерзшая лужа, не перейти. Окно ее светится — значит, дома. Я решил стукнуть в окно, вызвать на крыльцо. Подошел к окошку,

и открылась мне такая картина. Топится печка, а перед ней на низкой скамеечке, лицом к окну, в двух шагах от меня, сидит Настя в необыкновенном костюме. Надет на ней летний, короткий, без рукавов сарафанчик, а из-под него виднеются любимые Настины синие лыжные шаровары. На одной ноге штанина подоткнута, и парит эту ногу Настя в большой деревянной лохани. Это она, значит, свою подвернутую ногу лечит... В руке у нее ломоть хлеба с маслом, а перед нею сидит кудлатая, паршивая собачонка. Куснет Настя сама, кусок отломит и даст собаке... Кормит собачонку в очередь с собой, а по лицу у Насти слезы... Да ведь какие! Крупнущие, тяжелые, как ртуть. Навернутся на глаза, повисят на ресницах, она моргнет — они скатятся по щекам... Лицо почти неподвижное, только, когда всхлипнет она, губы вздрогнут. Утрет слезы, куснет хлеб, даст кусок собаке и опять всхлипнет... И такое печальное, безутешное у нее лицо... А руки у Насти тонкие, слабые, и плечи узенькие, усталые. Знаете, на кого она тогда походила? Вам, может, смешно покажется... Вы люди московские, привычные к чудесам... А я до этой вот поездки только раз и выезжал из Сибири... со студенческой экскурсией ездил в Москву и Ленинград. Раз съездил — тысячу раз ребятам рассказывал; четыре недели прожил — четыре года все перебирал в памяти... Тогда в Эрмитаже удивила меня одна статуя. Называется «Смиренье»... Не помните? Да где ж вам все упомнить, вы такое видели-перевидели!.. А я помню... Сидит девушка, голову наклонила, руки опустила на колени... И лица-то я ее не разглядел, только увидал, как тонехонькая шея переходит в плечи да руки брошены — и сразу все про эту девушку понял! Все видно: и хорошая-то она, и тихая, и безответная... Так и зовет тебя укрыть ее, подсобить... Камень, а разговаривает! Очень я тогда удивился, как это все можно высказать каменным плечом да каменными руками!.. Удивился и на всю жизнь запомнил... «Смиренье». Вот уж чего нельзя было приписать нашей Насте! — Знакомая мне беглая усмешка скользнула по лицу Алексея Алексеевича.— А тут вот поди ж ты! Посмотрел, как она сидит у лохани, как голову опустила, как слезищи катятся... Никогда я ее такой не видел... Что ж это, думаю, она или не она? И как толкнуло меня... Прямо по луже, по щиколотку в воде, бросился в ворота. Стучу в двери...

Открывает она мне. Увидала меня, и ни слез на глазах нет, ни горестного выражения. Губы начисто исчезли. Подбородок вперед. Взгляд небрежный и равнодушный.

Но здоровается. Холодно спрашивает:

— Что вам нужно, Алексей Алексеевич?

Если бы я застал ее, как минуту назад, плачущей, я не знаю, что бы я тогда сделал... А тут она меня сразу заморозила этим взглядом, этими словами... Растерялся... Что говорить, как говорить, не знаю!

Говорю ей официально:

— Я зашел сообщить вам, Настасья Васильевна, что сейчас передавали по радио корреспонденцию из «Известий» и очень хвалили нашу МТС и особенно Гошу за его квадратно-гнездовой...

Я думал, она обрадуется невесть как. Однако на нее это не произвело особого впечатления. Немного просветлела лицом, но говорит мне в общем довольно безразлично:

— Квадратно-гнездовой у нас прошел как полагается. А Гоша, конечно, молодец! Работает сверх всяких похвал. Очень я рада, что его похвалили по радио.

Сказала и больше на меня не обращает внимания. Лохань с ведром убирает, дрова в печь подкладывает, возится по хозяйству. Мне бы уйти... А я сел на скамью — и как пригвоздило меня!.. Сижу и гляжу на нее. И словно впервые вижу. Лицо у нее маленькое, твердое. Скулы и подбородок крепкие, на подбородке ямка. Глаза ясные, голубые, а рот и нос ребячьи... И твердое это лицо, и нежное, и задорное, и задумчивое, и чего-чего только в нем нет!.. И страшно мне нравится этот костюм на ней — старенький сарафан, а из-под него шароварчики... Казашку, узбечку или татарочку она в этом костюме напоминает... и движется легко, как танцует.

Она лохань выносит, а я гляжу и гляжу!

И хочется мне сказать ей что-то необыкновенное. А на ум ничего не приходит... И говорю я ей так глупо:

— Очень красиво на вас... этот костюм... сарафан и лыжные штаны... очень подходят они к вам!

А она взяла со стула какую-то одежду, рывком бросила ко мне на скамейку и рывком же бросает слова:

— А вот это к вам очень подойдет.

— Что это? — спрашиваю.

— Моя юбка! — отвечает. — Могу подарить. Она вам подойдет гораздо больше, чем брюки. Очень уж вы... не по-мужски работаете...

Сказала она это, как хлестнула. Все у меня внутри сжалось в комок. Думаю, сейчас же надо встать и уйти. И не встаю!.. И не ухожу!..

Тем временем открывается дверь, и входят Гоша Чумак и Костя Белоусов. Гоша у нас настоящий сибиряк — плотный, ловкий, лицо широкое, лоб выпуклый. Кожа смуглая, а глаза светло-светло-серые. Входит, смущается, не знает, как поздороваться, куда сесть...

А Костя Белоусов — веснушчатый, верткий — вьется вокруг него, как стриж:

— Гоша-то наш... На всю страну! Слыхали? Глядите на него!

Настя подошла к Гоше, обняла его, прикоснулась виском к его щеке.

— Ты, Гошенька, доволен?

Гоша усмехнулся и отвечает, не торопясь:

— Диковинно... Я и до сих пор думаю, что это не про меня!..

А Костя перебивает, торопится, радуется, будто герой дня он, а не Гоша:

— Я только зашел к ним в полевой стан, вдруг слышу по радио из Москвы передают про нашего Гошу! Я со всех ног за ним! А он тут же рядом. У него как раз трактор застопорил. Он в таких случаях мрачный, как черт... Я ему издали кричу: «Гоша! Про тебя по радио!» А он ноль внимания! Подбежал, говорю: «Ты герой, чудачина! Сейчас про тебя Москва говорит по радио!» А он мне отвечает: «Нашел время дурить... Не видишь — заело!..» И лезет под трактор. Что ты будешь делать?! Я его тащу за ноги: «Куда ты лезешь? Сейчас тебя Москва нахваливает на весь Советский Союз! Вылазь!» А он голову высунул и говорит: «Вот как я вылезу, да как двину я тебе гаечным ключом по черепку, так будешь знать, когда разыгрывать спектакли!»

Смеются все трое. Гоша бубнит:

— Разве я знал?.. Я думал, разыгрывают меня ребята...

А Настя ему:

— А ведь я, Гошенька, давно знала!

— Что знали?

— Все, что тебе на роду написано! Что и в газетах про тебя будет, и по радио...

— А я как только понял, так первым делом сюда... к вам...

В эту минуту входит в комнату незнакомый парнишка, видно, не из наших, а из колхозных, не здороваясь, кидается прямо к мячам и к сетке, которые лежат в углу, и кричит:

— Мячи приехали!

Настя делает ему замечание:

— Юра, когда люди входят в дом, то они прежде всего здороваются!

Он ей возражает:

— Настасья Васильевна, ведь я же хавбек!

Она засмеялась:

— Ну, если хавбек, тогда, конечно, другое дело...

Гоша говорит:

— Он только Капе за квартал начинает кланяться. Бабка Ксенофонтовна повстречалась и говорит: «Что это ты, милый, как петух, на ходу клюешь носом?»

Юра возражает:

— Я Капе кланяюсь не как девушке, а как искусству... Дайте срок, наша Капа во МХАТе заиграет.

Гоша вступил в разговор:

— А Настасье Васильевне ты должен поклониться, как науке.

Юра покосился на Настю и важно отвечает:

— Я лично искусство предпочитаю науке... Но Настасье Васильевне я соглашаюсь кланяться три квартала. Один квартал, как науке, второй квартал, как лучшей комсомолке, а третий квартал... третий квартал — просто, как нашей Настечке Васильевне!..

Смеются они, шутят друг с другом. Настя ставит самовар на стол, подает посуду, зовет садиться. Разговаривают они и про квадратно-гнездовой, про какой-то спектакль, про стадион, который комсомольцы собираются устроить. Гоша с Костей пытаются меня втянуть в разговор, да уж очень далек я от их дел — от спектакля, от стадиона... К тому же и настроение у меня такое, что нейдут слова с языка. Сижу, слушаю...

Настя тревожится:

— Как же я завтра пойду в «Октябрь» кончать с зерном? Там дорогу развезло, надо идти пешком больше километра, а у меня нога разболелась!..

Костя ей серьезно говорит:

— Мы вас, Настасья Васильевна, понесем на носилках.

А Гоша поднял ее вместе со стулом:

— Какие там носилки! Мы вас просто на руках донесем!

И вижу я, что они действительно способны нести ее на руках.

— Понесем! — говорит Костя. — Нельзя же нам в такой день без вас!

А она вдруг вся потемнела, нахмурилась.

— И мне без вас нельзя, ребята!.. Подумать я не могу, как я без вас буду...

Гоша удивился:

— А зачем вам об этом думать? Вам об этом и думать ни к чему!..

Ничего она на это не ответила, только пригвоздила меня взглядом. И снова пошли между ними шутки да разговоры.

Давно бы надо мне уйти, а я все сижу...

Смотрю я на их веселье и сравниваю его с нашим. У нас с Аркадием и с Линочкой тоже бывало весело, но как-то по-другому... Романсы, ухаживания, намеки... А тут веселье, молодое, простодушное... А ведь я тоже только-только вышел из комсомольского возраста... И захотелось мне не по-директорски, а так, по-комсомольски, и в футбол гонять, и стадион строить, и участвовать в спектаклях... Однако вижу: Настя шутит, смеется, а как взглянет на меня, так и оборвет смех и отвернется, не хочет, чтоб я ее видел такой открытой и веселой. Кое-как пересилил я себя, поднялся с места. Простился. Вышла она за мной в сени запереть дверь.

Хотелось мне взять ее за руки и попросить, чтоб не прятала от меня себя такую, которая плачет у лохани, и такую, которая смеется с ребятами, но она уже взялась за щеколду и толкает дверь: мол, уйдешь ли ты наконец!..

Так и ушел я.

Как иду, куда иду, сам не соображаю!.. Что же это за характер, думаю... Кто она? Что она? Что же это за человека прислали в нашу МТС? Скандалистка ли она, для которой все трын-трава? Зазнайка ли, которая себя считает всех умнее? Или та свойская девчонка, которую я видел на выгрузке удобрений? Или редкой силы человек, способный на этих худеньких своих плечах черт знает что выдержать?

А может, это и есть та самая русская женщина, тот самый русский характер, о котором я читал и слышал? Тот самый русский характер, безбоязненный да бескорыстный; в чувствах беззаветный, в работе удалой и безотказный; на вид простоватый и смирный, на деле отважный, благородный и к себе беспощадный? Тот самый русский характер, которому что широко — то и по плечу, что трудно — то и посильно, что высоко — то и по росту! Может, это и есть тот характер, только я его в нашей Насте не опознал, не увидел? Ведь вот как бывает: работаешь бок о бок с человеком, и секретов он не заводит, и тайн на себя не напускает, а ты его не видишь и всей глубины не постигаешь... А ты не чуешь, не понимаешь, что это, может, и есть самое для тебя нужное, интересное из всего, что тебе привелось встретить. И ведь чуть-чуть она не ушла из МТС! И могло так случиться — прошла бы мимо меня, не опознанная мной! Проглядел бы, упустил бы, спохватился бы, когда уж нет ее и нет ей возврата! И страшно мне стало, что опоздал уже, что уйдет, что упущенного не наверстаешь, сделанного не воротишь! Теперь только бы удержать, не

упустить, наверстать. Иду, думаю, мысли друг друга перебивают... И мысли все какие-то ни на что не похожие... То тревоги меня одолевают, то вдруг радость охватывает, то вспоминается мне самое красивое из того, что видел.

Линочка никогда не наводила меня на такие мысли и воспоминания.

Пришел к Аркадию, она как раз там: сидит, меня дожидается. А я смотрю на нее и удивляюсь: что это в ней находят особенное? Самая обыкновенная смазливенькая мордашка. Смотрю на Аркадия, и все мне в нем начинает казаться ненатуральным...

После наших успехов с квадратно-гнездовым иначе стали смотреть на нас: с признанием, с ожиданием. Как-никак принесли мы добрую славу не только себе, а всему району! Кто, как это сделал, со стороны не вдавались в подробности. Знали только то, что Журавинская МТС нежданно-негаданно показала крепкую работу.

Все у нас повеселели, и заметно изменилось у нас отношение к агрономше.

Изменилось оно у меня у первого. Все мне в ней сделалось любопытно и интересно... Иной раз она просто ведет самые обыкновенные разговоры с ребятами в бригаде, а я стараюсь так приноровиться, чтоб услышать, о чем да как...

Федя переживал еще больше меня. Стул ей стал придвигать и все заводил беседу о том, что и опытные руководители не всегда сразу создают «нормальным требованиям нормальную обстановку». И все говорил:

— Нету сложнее партийной работы. Инженер и в машине не всегда разберется сразу, а ведь нам надо разобраться в человеке!

Игнат Игнатович стал поглядывать на нее добродушно, но еще с некоторой опаской: что, мол, ты за зверь непонятной породы и чего от тебя можно ждать?

Только два человека реагировали на историю с квадратно-гнездовым совсем неожиданно для меня... Первый человек — Настасья. Ее уж занимали другие дела. Видно, раз это дело было уже сделано, оно ее не волновало. И не было у нее вида победительницы. Ведь она нас, можно сказать, положила на обе лопатки! И все наши понимали это. Одна она не понимала. Ни разу она не козырнула этим. Только отношения своего к нам не изменяла. На все наши подходы к ней отвечала безразличием. Словно уже оценила она нас и не видит оснований для переоценки...

И еще один человек удивил меня в ту пору — Аркадий!

Все похвалы, которые сыпались на его голову, он принял, как должное! Не только перед посторонними, но и перед нами он с полной естественностью держался, как подлинный организатор квадратно-гнездового. А уж мы ли не знали всей подоплеки! В самую первую минуту у громкоговорителя он растерялся, сказал: «Никак не мог ожидать, что квадраты в этом году войдут в моду и на них можно так выскочить». Но уже утром он вдруг заявил нам с Федей:

— Ну, ребятишки, теперь вы видите, что я недаром отдал в разгар ремонта лучших ребят для квадратно-гнездового?

Федя удивился:

— Вы? Вы же не отдавали!

А он смотрит Феде прямо в глаза и отвечает весело, легко, как само собой разумеющееся:

— Откуда ж они взялись? Из моих ремонтных мастерских! Я их с ремонта отдал! Не сразу, конечно, решился! Но потом я ради этого квадратно-гнездового жертвовал многим, шел на многие трудности... Разве вы этого не знаете?

И таково было его влияние на нас с Федей, что и нам дело начало представляться таким же образом! И в самом деле, мол, кто отдал ребят с ремонта? Аркадий! Кто перетерпел из-за этого многие неприятности? Он! Это главное. А то, что он сперва поартачился, не имеет существенного значения.

И все же прежней дружбы между нами не стало. Раньше все мне в нем нравилось: и манера разговаривать с людьми, не вынимая изо рта трубки, односложными фразами, и многозначительный взгляд, и манера ходить так, словно перед ним не только люди, но и стены должны расступиться...

А теперь иной раз посмотришь на него и усмехнешься. Смешно, когда о затупившемся лемехе разговаривают с таким видом, будто решают вопросы мировой политики!

Стал я замечать несоответствие между манерой его и теми делами, которые он делает. Вид у него многозначительный, а дела заурядные. Впрочем, не пришлось нам долго размышлять обо всем этом. На другой день сразу наступило резкое потепление.

И пошел сев!..

Пошел он сразу добрым темпом. Оттого ли, что до него каждый агрегат просмотрели в десять глаз, оттого ли, что над каждым агрегатом до сева и поспорили и попотели,— безотказно работали механизмы, и почти все наши ребята перевыполняли сменные нормы.

Но если шел сев быстро, так это не значит, что шел он гладко! Наоборот.

Настасья наша и не думала менять свой характер! То верхом, то на машине, то на моем мотоцикле моталась она по всему нашему массиву и везде находила, к чему прицепиться. Там сеют мелко, там огрехи допускают, там семян вовремя не подвозят... Тут уж и механизаторы наши, и председатели колхозов от нее чуть не плакали. Я не знаю, как бы они вытерпели ее дотошность, если бы она за зиму не успела с ними подружиться. Она для них не только указчица, она и учительница их, которая занималась с ними всю зиму, она и добрая их знакомая, которая водит с ними хлеб-соль. Это ей и помогало.

Не было у нас в МТС во время сева ни одного дня без неприятностей. И хоть часто сознавал я ее правоту, и хоть была она мне уж по сердцу, однако, бывало, раз десять на день мне ее хочется приколотить. Десять раз ее приколотить хочется, а один раз... обнять. Да не так... Не по-мужски, а по-человечески, от души, за энергию, да за сметку, да за настойчивость... На севе и я, и Федя, и Игнат Игнатович волей-неволей иной раз ею залюбуемся... А она по-прежнему и не замечает ни взглядов наших, ни нас самих...

— Вот когда началось мое горе!—усмехнулся мой спутник.—Я как приду в МТС, так у меня первая мысль: где она? Не поверите, напало на меня такое состояние: пока Настя близко, я нормальный; потерял ее следы—я не человек!.. Хожу как потерянный. По каким полям она мечется? Когда появится? Жду, жду... Появляется моя долгожданная... Губ нет. Подбородок лопаткой. И сразу на меня в атаку.

Только однажды произошел у нас такой случай. Во время сева в лучшем нашем колхозе у трактора ДТ-54 сломалась одна деталь. Запасной нет. Значит, надо ждать сутки, пока ее отремонтируют. Сутки трактору простаивать... А у Гоши Чумака была такая деталь в запасе. Он любитель запаса, изготовил ее для себя собственноручно, по своей инициативе. Сев в разгаре, ждать некогда... Даю я распоряжение: взять у Гоши эту заветную деталь. И вдруг мне ответ:

— Детали не дают.

— Почему не дают?

— По согласованию с главным агрономом...

Ну, вызываю к себе свою зазнобу. Приходит. Похудевшая, почерневшая, носишко облупленный. Лыжных штанов на ней уже нет, а надет ситцевый сарафан, тот самый... Ни ругать я ее не стал, ни выяснять обстановку. Только спрашиваю спокойно:

— Что ж, Настасья Васильевна, опять выговор вам записывать?

Нагнула голову. Отвечает:

— Записывайте, Алексей Алексеевич!

Покачал я головой. Вздохнул.

— Идите,— говорю.

Не стал ей выговора записывать...

После того прошло три дня. Является она ко мне, говорит о всяких делах. А перед уходом с независимым видом вдруг заявляет:

— Алексей Алексеевич! Я должна перед вами извиниться... за эти детали и за неподчинение вашему приказу. Я не из-за выговора, я перед вами... по-человечески извиняюсь... Я хочу, чтобы вы работали спокойно и знали, что никаких таких поступков я больше не допущу, потому что они действительно мешают вам работать. Извините меня...

Повернулась и вышла. Я думал, с того дня начнется у нас мирная жизнь. Где там! На следующее же утро ворвалась с шумом: почему в бригаде с горючим заминка?..

Но мне этот случай с извинением запал в голову. Думаю: одна, что ли, ты такая благородная, чтоб вот так взять напрямик и повиниться перед человеком? А я, думаю, что, не благородный? А у меня не такие поступки? Что, высоты характера не хватит?

А главное-то, соображаю, что это единственный способ стать перед ней человеком. Она человек прямой, открытый, и с ней надо только так — на прямоту, на честь, в открытую. На другом огне с ней каши не сваришь, одна гарь получится... Это ее качество мне было уже ясно!

И выпал такой случай. Повстречались мы вечером на дороге. Вместе шли из МТС. Сначала говорили о делах, о том о сем. Потом собрался я с духом:

— Настасья Васильевна! Не удивляйтесь, только должен я сказать то, что неверно понимал вас вначале... и допускал со своей стороны несправедливые поступки... Тот выговор, что записан, мы, конечно, снимем. Мы,— говорю,— вам, Настасья Васильевна, благодарность запишем. Но ведь дело не только в том, что записано на бумаге. В памяти у вас своя запись... Как ту запись снять, научите?

Выслушала она меня удивленно. Я думал, обрадуется она и начнется между нами необыкновенная дружба. Однако ничего подобного не получилось. Смутилась она.

— Хорошо, Алексей Алексеевич. Я рада, что вы все это сказали...

Подала мне руку и скорее свернула в проулок. А я и проводить не посмел. Думал, зря завел весь этот разговор, неудобство перетерпел, а результатов никаких не имею.

Потянулись дни. Я хожу, как в воду опущенный, а она все такая же. И не смотрит на меня, и нападает по-прежнему из-за разных деловых вопросов...

И вдруг дней так через пять случилось такое... Нападала она на меня за плохое использование транспорта. Ругала, ругала, а напоследок засмеялась, говорит:

— Вы думали, раз вы передо мной извинились, так я теперь стану перед вами тихонькой? Нет,— говорит,— товарищ директор, не дождетесь вы от меня спокойной жизни!— И смеется и смотрит на меня, как на своего человека... И смеется по-доброму, мирным, лукавым смехом. Солнце в небе иначе заиграло!

С тех пор хоть мы и спорили по-прежнему, но это были какие-то другие, деловые, рабочие споры... Это были, я вам скажу, даже должностные споры. Главный агроном обязан нажимать на директора МТС, они по должности должны спорить! Если они друг с другом не спорят — значит, они за дело не болеют. Такая у меня с Настиной помощью выработалась на этот счет точка зрения.

А к тому времени и посевная кончилась. Стали появляться всходы на полях. И надо сказать, что появились они у нас раньше, чем у соседей, и пошли они сильнее. У соседей еще черна земля — у нас поля зеленью присыпаны.

И с каждым днем разница между нами и соседями все заметнее да заметнее. У соседей чуть проклевывается — у нас на вершок поднялось... У соседей над землей поднялось — у нас в трубку выходит.

Все сказалось! Все выявилось! И удобрения, что мы вывозили, и семена, которыми мы сеяли, и сроки, и качество сева. Земля, она такая, она и труд и разум — все выявит, ничего не оставит в тайности.

Да еще, надо сказать, повезло нам с дождями. Только мы отсеялись, как пошло дождить на неделю! Для нас дождь на посев — как золото! А соседи только еще начинали сеять. Для соседей дождь не ко времени, у них сев прервался, тракторы стоят, сроки уходят!

А после дождя ударила сушь! И опять мы в выигрыше перед соседями: они только сеют, а наши всходы под дождем уже взяли силу, уже укоренились. Они себе вверх идут да идут.

Надо сказать, великое дело сделали семена. Соседи сеяли привозными, из влажных мест, семенами. А мы посеяли своими, засухоустойчивыми. Они у нас с весны

напились вволю, а там им сушь не так уж и страшна. Вот как все обернулось!

Известно, кто хорошо поработает, тому и дождь ко времени, и вёдро в добрый час.

Одним словом, все старания наши легли на степи, как на ладони. И каждое усилие наше день ото дня выявляется на степи ярче и ярче, самим нам на удивление!

За повседневной суетой мы и сами не замечали того, что делается в нашей МТС. Казалось нам, что мы только спорим, да ссоримся, да мечемся по степи!..

Так идет человек в гору кустами да камнями, глядит под ноги, кряхтит, спотыкается, подъема не замечает, только видит камни под ногами да чувствует: идти трудно! И вдруг дошел до открытого места, оглянулся — ох, и взял высоту!

Мы сами не сразу это поняли, а соседи тем более...

Помню, после статьи о Гоше Линочка губки надула и говорит:

— Это просто случайность! Вам просто повезло, что вы поручили гнездовой Чумаку и что как раз к нему попал корреспондент!

Когда зазеленели поля, Лукач твердил:

— Здорово этой Журавинской МТС повезло с дождями! Такой выдался счастливый случай: задождило над ними как раз после того, как они отсеялись!

А когда определился урожай, Лукач заявил:

— Удачно это у вас случилось, что вы не обменяли семена на привозные, а сеяли местными!

Федя засмеялся ему в ответ:

— Что-то чересчур много случайностей для одной МТС! Некоторые философы утверждают, что случайность — неосознанная закономерность. Вот у тебя и не хватает сознания, чтобы проникнуть в наши «случайности»... Те, у кого ума побольше, а завидок поменьше, давно поняли, по какой такой причине то и дело случаются нынче в нашей МТС разнообразные счастливые случаи!

И верно сказал! Умные люди раньше нас самих поняли то, что у нас происходит.

Стал наведываться к нам интересный народ: партийные работники, колхозники, агрономы, ученые... Приезжают, интересуются, спрашивают. И мы совсем иначе стали чувствовать себя. Раньше приедем в район или в область на совещание, никто нас не замечает, разве товарищи по охоте подойдут поздороваться, а теперь только появишься — к нам уже тянутся!.. То один подойдет, то другой!.. И у каждого интерес: как вы то делаете да как у вас это? И многие к нам с симпатией, с уважением... Люди стали

подбираться вокруг нас ценные, интересные. И разговоры пошли не такие, как раньше.

И вся наша жизнь так поднялась на новый уровень, что о прежнем нашем существовании нам и подумать скучно!

Когда кукуруза и подсолнух взяли полную силу, начали ездить к нам не только отдельные гости, но и целые делегации. У многих механизаторов не получилось квадратов, и они утрачивали доверие к сеялке СШ-6. Приедут, поглядят: у нас поле, как по линейке, разрисовано, что вдоль глядеть, что поперек — картина!..

И надо сказать, что всех приезжих водит по полям Аркадий. Как это получилось, мы и сами не заметили. Фигура у него высокая, представительная, лицо заметное, в зубах трубка, разговор авторитетный. И кто бы ни приехал из района, из области, из Москвы — все взгляды сейчас на него. Он объясняет, он водит по полю, как главная фигура МТС и специалист квадратно-гнездового... И у всех создавалось такое впечатление, что именно от него и пошли все наши достижения. А Настю иной раз и вовсе не заметят. Невидная, маленькая, в ситцевом своем сарафанишке...

И в нашей-то МТС не сразу оценили ее.

Только постепенно, вместе с тем, как одно к одному, выявлялись и росли наши успехи, выявлялась и росла Настина ценность в глазах тех, кто все это видел.

Раньше, когда она говорила свои любимые слова: «В книгах и газетах не так написано!», над этими словами посмеивались, как над глупостью и наивностью. А теперь постепенно поняли, что это не от наивности, а просто от того, что по твердому и честному характеру никогда не расходится у нее слово с делом...

Раньше, когда она излагала нам разные свои планы, мы их считали бреднями и отмахивались. А теперь к каждому ее слову стали относиться с вниманием.

И она от этого успокоилась, отмякла и точно повзрослела. Однажды сама себя покритиковала. Говорит мне:

— Я раньше не признавала вас за руководителей и не хотела с вами считаться... Ерундила с досады, бывало...

Правда, и теперь остались между нами споры и ссоры. Но вместе с тем появилось у нас товарищество. И вдруг оказалось, что очень хорошо с ней работать! Интересно и весело. Правда, спуску она тебе не дает... Но по-нашему это... по-советски, по-русски... Возле нее, как зимой на морозе... и пощипывает, и горячит, и не дает застаиваться! Может, тем, кто привык к тепличному климату, и не по вкусу, а нашему брату как раз хорошо!

Сперва казалось мне, что и с Аркадием наладились у

нее отношения. Стал он с ней вежливым... Даже комплименты начал говорить: «У Настасьи Васильевны столько энергии!», «Настасья Васильевна — инициативный работник».

Но был в его вежливости холод. А комплименты отпускал он с этаким заметным пренебрежительным оттенком. Сперва мы этого и не замечали и думали, что все обстоит нормально, что приладились наконец друг к другу эти два прямо противоположных человека.

Только однажды заночевали мы с Федей и Аркадием на охоте, у озер. Обогрелись, как полагается, костер развели. Лежим, разговариваем... Федя стал хвалить Настю. Я слушаю, боюсь проронить слово, а Аркадий вдруг махнул рукой да и говорит:

— А!.. Бросьте! Знаю я ее!

И такая злость была в голосе, что мы с Федей переполошились:

— Что ты знаешь? Расскажи, что?

А он ничего не может сказать. Бормочет какую-то ерунду:

— С Чумаком у нее нечисто...

Федя говорит:

— А если и понравились они друг другу? Что ж, за это ее ненавидеть? Мало ли что говорят! Линочка, говорят, с Лукачом... Однако ты на нее не злишься! Тебе до этого и дела нет! Ты этим даже нимало не интересуешься! За что же ты злишься на Настасью Васильевну? Говори прямо!

А Аркадий глядел в костер, махал рукой, твердил: «Знаю... знаю...» — а ничего, кроме пустяков, сказать не мог. Под конец отделался он от нас фразой:

— Бывает, в дождь на лужах выскакивают пузыри! Выскочит и лопнет! Выскочит и лопнет!

И так он повторял это, словно до смерти хотелось ему, чтобы как можно скорее «лопнуло».

А мне сразу захотелось ему ответить: «Нет, друг мой Аркаша! Не «лопнет»! Не жди!»

Но я не ответил. Очень уж удивили меня его слова.

Больше ни разу он не проговорился. Сохранял вежливость. Даже хвалил нам Настю...

Но мы с Федей не могли забыть тех слов, и не столько слов, сколько злобного их тона...

Несоразмерность этой злобы обоих нас поразила.

Ведь почти ничего плохого не сделала ему Настя. Правда, она его, как говорится, «в упор не видела». Правда, были у них деловые ссоры. Но ведь и у нас с ней все это прежде бывало! Были у нас с Федей к ней раньше и неприязнь, и вражда, и досада. Но такой глухой и свирепой злобы не испытывали мы к ней никогда. Тем

более теперь. Теперь ясно, сколько пользы она принесла всей МТС, и больше всех Аркадию!

Равнодушно позволила она ему присвоить ее заслуги. Ни разу не укорила его старыми ошибками. Ни разу не козырнула своей правотой. Только благодаря ей и пришла к нему его слава. А между тем никогда и ни о ком не говорил он с такой ненавистью, как о ней в ту ночь... Не соответствовала сила этой ненависти тем мелким деловым неприятностям, которые она причинила ему когда-то...

И кроме того, ведь она-то на Аркадия совсем не злилась. Она его не замечала, она им не интересовалась, она его отстранила от себя, как помеху, но ненависти в ней не было.

Откуда взялась его скрытая и лютая злоба к ней? В чем ее корень? Это осталось загадкой и для меня и для Феди.

Этого мы с ним не поняли, зато поняли, что никакого «прилаживания друг к другу» между этими характерами не произошло. Вражда Аркадия к ней только ушла с поверхности в глубину и от этого сделалась хоть глуше, да глубже.

А наша дружба с Аркадием, наоборот, делалась все мельче. Мы по-прежнему вместе охотились и собирались у Игната Игнатовича, но уже не было у нас задушевных разговоров... Да и по деловым вопросам я с ним разговаривал все реже и реже...

То, что ослабела наша дружба, меня не огорчало. Появились у меня к этому времени новые друзья — и в нашем районе, и в соседних. Появились новые интересы и радости...

И нарастала моя новая печаль... Она, Настя. Правда, стала она со мной попросту, по-дружески разговаривать. Иной раз и пошутит и посмеется. А все не замечаю в ней ни интереса к себе, ни какой особой сердечности. Иной раз подумаешь: по справедливости, и неоткуда еще быть этому интересу. А другой раз думается: как же она не видит, что перевернуло меня, что я еще такое сделаю, какое другим не снится, и что... что она для меня... одним словом...

Неужели не видит, не чувствует, не замечает? Если видит, не может она не откликнуться... Может, видит, чувствует, да не подает виду, как это водится у девушек?

Слежу за ней и понять не могу. Чуть начнешь намекать — поглядит, как на чужого, одним взглядом язык к нёбу приморозит.

А вот один случай получился такой. Упал я на повороте с мотоцикла, не сразу очухался. Открываю глаза и вижу: наклонилась Настя и смотрит на меня с тревогой,

так, как на своего человека смотрит... Как на дорогого... Увидела, что глаза я открыл, сразу встала.

И вот я все думаю, все думаю: отчего она на меня так посмотрела? Или просто испугалась, что я сильно разбился?.. Или... Может или нет девушка так посмотреть на чужого, ненужного ей человека, просто из одного испуга?

Ему было жарко, душно. Он поднялся и опустил окно. Оно скользнуло вниз с резким стуком. Пока ночная степь была отгорожена стеклом, она казалась неподвижной, безмолвной, монотонной, черной.

Но вот стекло опустилось, и плотный ветер ворвался в купе. В нем была свежесть октябрьских ночей. Чуть заметный запах паровозной гари почему-то смешивался с легким запахом арбуза. Стремительно летела над степью луна, мелькая за темными телеграфными столбами.

Откуда-то доносилась перекличка паровозов. Они гудели призывно, обрадованно, словно были старыми друзьями и праздновали свою нежданную ночную встречу...

Алексей Алексеевич молчал. Но его история не была закончена.

— Вы не рассказали, что же случилось с вами тогда, в Кремле...

Алексей Алексеевич смущенно усмехнулся и сел.

— Да что же случилось?.. Говорил я вам, что лето было сильно засушливое, а осенью рано стало морозить и сильно выбивало хлеб ветрами. Мы на своих полях благодаря раннему качественному севу да благодаря засухоустойчивым твердым сортам собрали на круг по пятнадцать центнеров с гектара... Не так уж как будто много, но по такому засушливому году хорошо! А соседи едва натянули по восемь-девять центнеров... Надо сказать, что у нас и подсолнух и кукуруза уродились хорошо. На подсолнухе колхозы наши взяли доходу самое меньшее по двести тысяч. А с кукурузой мы в этот год так вышли из бескормицы, как не выходили и в лучшие годы...

И главное, в этом году подтянулись наши отстающие колхозы.

А в сентябре грянула самая большая наша радость — сентябрьский Пленум! Что было удивительно? Что нас всех прямо поразило? Ведь читаешь газету и видишь: наше! Про нашу, про Журавинскую МТС!.. Все, чем мы в тот год болели, все, чем тревожились, все, что делали, выложено от строки к строке. Только там, где мы петляли тропками, проложены дороги, где мы думали догадками да отрывками, развернулась целая система! Ну просто какое-то чудное чувство было... Ты только подумал об

этом, только у тебя в уме забрезжило, а там уже все продумано, напечатано! В свете пленума еще яснее стала правильность нашей линии, той линии, за которую воевала Настя... И после пленума еще шире развернули мы нашу работу. И было такое чувство, словно вся страна повернулась лицом к нам... и в большом и в малом. Раньше, бывало, какого-нибудь строительного материала не допросишься — теперь сами присылают... Раньше, бывало, с кадрами мученье, зовешь не дозовешься — теперь сами пошли!

Вскоре пришло указание послать работников МТС в Москву на совещание. Мы и не сомневались в том, что пошлют Настю. Но вдруг узнаем мы, что посылают Аркадия, Федю и меня. Сергей Сергеевич был в отъезде. В области всех наших подробностей не знают. Настя работает у нас недавно, а мы старые работники. Про Аркадия давно известно, что он нашу МТС «осчастливил». А главное, много у него в области приятелей. Умеет подружиться с кем надо. И умеет в нужную минуту нажать нужные кнопки. Мы с Федей за делами да за хлопотами вовремя об этом не подумали. Прозевали момент!

А наш Аркадий в таких случаях не зевает. Не тот характер! Вдруг срочно ему понадобилось в город... Нашел он предлог. Я, ничего не подозревая, его отпустил. Поехал он в город, сходил, куда ему надо, поговорил, о чем ему надо!.. Приехал — нам ни полслова!.. И только спустя много времени узнаем мы, что он за эту поездку все «сорганизовал»... Посылают в Москву его да нас с Федей. А Настю воздерживаются посылать, как нового работника, да еще имевшего в этом году выговор и предупреждение. Мы с Федей и к Ручено забегали, захлопотали, стали возражать, да поздно спохватились. Списки уже утвердили, именные билеты получили. Так и поехали мы втроем...

Я на таком совещании впервые в жизни. Я и подумать не мог, что мне придется выступать, придется идти на трибуну... Ведь мне до самой последней минуты все казалось, что хоть и есть у нас кое-какие успехи, но ничего особо интересного для людей в нашей МТС не происходит!.. Другие МТС берут по двадцать пять — тридцать центнеров с гектара, а мы — по пятнадцать! Чего там выступать? И вдруг заместитель министра говорит: «Выступите, расскажите, как добились».

Сразу у меня в голове забегали мысли... Как мы добивались? Как будто не делали ничего особенного. Ну, клевера заменили кукурузой. Ну, квадратно-гнездовой по снегу репетировали. Ну, удобрение вывозили. Ну, семена доводили до кондиции... Да воевали, да спорили, да

мотались всю весну по полям, как окаянные... Как и что об этом расскажешь?

Аркадий мне говорит:

— Материалы на руках. Выступай по материалам. Людям нужны точные данные. Расскажи, какие показатели.

Ну, ладно! Срочно посидели мы втроем, записали показатели, подготовили текст. Выступаю я по тексту. Как будто бы все идет у меня гладко. И вдруг опять заместитель министра. «Вы, говорит, не проценты выкладывайте... Вы, говорит, раскройте нам существо дела...»

А какое оно такое — существо дела?..

Не то чтобы я раньше об этом не задумывался. Я все время думал по частям, по отдельным моментам. Но за делами, за горячкой ни разу не попытался охватить все целиком.

А тут вдруг сразу поставили передо мной этот вопрос напрямик, в полный голос!

Ну, растерялся немного... Дел и событий у нас куча — как тут сразу понять, где существо? Как тут ответить двумя словами?.. А прямо передо мной, в первом ряду, сидит Аркадий. Его орлиная голова надо всеми возвышается. Его из тысячи увидишь. Смотрит он на меня и улыбается: эх, мол, ты... Если б меня да пригласили на трибуну!

А тут заместитель министра опять спрашивает: «Что, говорит, вас подняло?» И руки поднимает. И вдруг в ту минуту, вот так, как вас, вижу... увидел я перед собой... Настины руки... в тот час, когда она плакала... Ведь они, руки эти, нас и подняли! До нее ничего такого в нашей МТС не было. Она подняла!.. Иной раз не с нашей помощью, а наперекор нам... А теперь мы трое здесь, и Аркадий, развалившись, сидит в первом ряду, а она бродит где-то от бригады к бригаде...

И поднялась передо мной полная картина. Все я увидел: от первого ее появления до прощания при моем отъезде в Москву.

Бывают такие минуты, что помещается в человеческой голове сразу неведомо сколько! Все вдруг столпилось у меня в мозгу: и квадратно-гнездовой, и агрегаты, и семена, и разговор с Сергеем Сергеевичем, и борьба с Аркадием... Все сразу вижу, а рассказать ни о чем не могу! Сразу всего не расскажешь, а с чего начинать? Что главное? Сам в своих мыслях не могу разобраться! А заместитель министра еще подбавляет: «Расскажите, спрашивает, как это бывает?..»

А как это бывает? — Алексей Алексеевич поднял голову и заговорил энергично, с каким-то даже ожесточени-

ем.—Иной раз и так это бывает, что главный работник ходит с выговорами, да плачет, да сидит в степи, никому не известный, а его противники садятся в первый ряд, на первое место!.. Вот как иногда это бывает!.. Начать говорить да рассказывать обо всем этом? У меня тогда еще и мысли не собрались, и слов еще не было для такого рассказа...

Стою, мучаюсь, мыслей не соберу, слов не отыщу! А рядом сидят члены правительства. А впереди в зале тысячи лучших хлеборобов... Да еще прожектора эти хлещут по глазам, да репортеры скачут вокруг меня, как дьяволы, щелкают своими аппаратами!

Совсем растерялся! Не найду слов достоверных и достойных... Ну как, думаю, я скажу? «Наш главный агроном проявила энергию и инициативу...» Да разве такими словами обо всем об этом рассказывать? Что тут делать? И тут... рядом... члены правительства. Люди, которые перед тобой все дороги распахивают настежь,— только иди! Только иди!.. А ты вместо того, чтобы идти, иной раз... топчешься... И вот... стыдно мне стало и перед ними... и перед теми, кто в зале... Ждут от меня передачи опыта, и приготовился я выложить всякие хорошие цифры... А тут... впору мне выступить с покаянной речью... С одного на другое сразу не перестроишься!— усмехнулся сам над собой Алексей Алексеевич.—И вот... сплоховал я... Да еще как сплоховал!.. Ничего не сумел сказать... Махнул рукой да и пошел с трибуны!..

Только в душе дал себе слово: не в последний раз вызывают меня на эту трибуну! Добьюсь я второго такого приглашения и тогда уж заранее приготовлюсь и выложу все существо дела по чистой совести!.. Чтоб люди поняли: не просто все это делается, чтоб люди наших ошибок не повторяли!..

Снова он закурил свою трубочку, но посреди затяжки вдруг вынул ее изо рта и отложил:

— Аркадиев подарок... Он тогда никак понять не мог, почему я замолчал на трибуне... Все вышучивал меня. А Федя понял...

В ту ночь долго мы с Федей не могли заснуть. Разговаривали до рассвета. Жили мы с ним в гостинице «Москва». Окна выходили на Красную площадь. Чтобы нам ее лучше видеть, мы огонь в комнате погасили. Сидим на подоконнике. Разговариваем. А прямо перед нами Кремль... Мавзолей... Светятся часы на Спасской башне. Видно, как стрелка ходит... идет час за часом, а мы все разговариваем. Все обдумываем точный ответ на вопрос заместителя министра. В чем же все-таки «существо дела»?

— Как же это могло случиться?—твердит Федя.— Работали мы несколько лет. Четыре дружка, четыре руководящих работника МТС. По клеверным полям ходили... Мимо сеялки СШ-6 пробегали по десять раз на день и ничего не видели!.. А пришла девчушка-выпускница и увидела то самое, на что указал Центральный Комитет... Почему же так получилось?..

И я думаю: почему? Ну, подводило нас с Федей, конечно, и то, что по глупости и по молодости шли мы на поводу у Аркадия.

Но Аркадий... Он ли не опытен, он ли не умен, он ли не искал дороги к успеху?.. Почему случилось, что не он, а Настя отыскала эту дорогу?

Сидим. Думаем. Федя мне говорит:

— Гляди, гляди... Патруль сменяют...

И верно. Видно, идет разводящий, а за ним патрульные. Подошли, отчеканили поворот, на секунду задержались и вот замерли у входа. В первый раз мы с Федей наблюдали эту картину.

Потом по радио проиграли «Союз нерушимый...». Прослушали мы. Еще посидели. Подумали. Покурили. И вдруг Федя мне говорит раздельно и со злостью:

— Под-ряд-чик он... вот кто...

И так двинул плечом, что стекло задребезжало.

Я не сразу взял в толк ход его мыслей.

— Какой подрядчик? Почему подрядчик?

Тогда Федя объясняет:

— В армии, когда получают награду, то говорят: «Служу Советскому Союзу!» Эти слова—для любого коммуниста... и для любого руководителя. Все мы слуги Советского Союза... слуги народа. А он у советского народа подрядчик... А подрядчику нет дела до народа, у него один интерес—побольше выгадать на подряде да половчее нажиться на народной жизни.

Я сомневаюсь:

— Он человек умный и даже талантливый! Он работал!..

А Федя усмехается:

— Работал!.. На полушку работы, на рубль видимости! Подрядчики разные бывают. И разная выгода их прельщает. Одни гонятся за деньгами, другие—за спокойной жизнью, третьи—за славой. Только за работой не гонятся. Работать всегда труднее, чем создавать видимость. Бывают среди них, конечно, и умные, и талантливые, и даже полезные... Только... Ох, и трудно же иногда определить, где кончается польза от их талантов и где начинается вред!..

Я слушаю его и думаю: и правда, не сразу и поймешь,

где Аркадий приносил пользу делу, а где вред. Выводил он агрегаты в поле раньше соседних МТС. Хорошо это? И его и нас за это хвалили. А качество полевых работ у нас было не лучше, чем у соседей, и простоев не меньше. Ать-два, вывел агрегаты, отрапортовал, пригласил корреспондентов — снимки в газетах, похвала в приказах... Быстро и приятно! А возьмись бороться за качество, за урожай, за колхозный достаток — три пота спустишь, да когда еще добьешься результатов, да когда еще эти результаты заметят, да когда еще тебя похвалят...

Я думаю, а Федя между тем развивает свое положение о подрядчиках:

— Кстати сказать, и подрядчик-то он мелковатый. Он по мелочишке, ничем не брезгает. И слава, хоть в районном масштабе, его привлекает, и за деньжонками гонится, и удобной жизнью дорожит.

Я спрашиваю:

— А Настасья Васильевна?

Хочу, чтобы он объяснил мне с его точки зрения.

Он отвечает:

— А ты не видишь, как она работала? Нужды и заботы колхозников — вот чем она жила. Поругает или похвалит ее начальство — об этом она и не думала... Ошибалась она, конечно! Допускала отдельные ошибки, но главное направление ее работы было правильное... Мы с тобой сперва удивлялись, как это могло получиться, что совпали ее планы и замыслы с планами и замыслами партии. Нам, чудакам, удивительно казалось, как могло это совпадать вплоть до отдельных вопросов — о клеверах, о квадратно-гнездовом... А удивляться-то было нечему. Ведь иначе и быть не могло! Стала она на линию верной службы народу. А кто на такую линию станет, тот станет на линию партии! Это же закон всех законов. Чему ж тут удивляться?

Долго обсуждали мы этот вопрос — о слугах народа и «подрядчиках»... И мало-помалу прояснилась перед нами вся картина...

Понятно нам стало, почему схлестнулись они друг с другом, как две от рождения противоположные и враждебные друг другу породы. Разъяснилась нам и лютая, «непропорциональная» злоба Аркадия на Настю, и ее безразличие к нему...

Чувствовал он в ней силу. Силу враждебную, да такую, что способна взять да и подмять его однажды, особых усилий не прилагая, а так, походя. Силу он понял, а превосходства ее над собой не мог признать!

Всю жизнь он тужился, добивался удобства да богат-

ства, влияния да славы. Добивался по крупинке, год за годом, и кичился добытыми крохами и дорожился ими. И вдруг появляется рядом девчонка и берет это быстро, попутно, между делом!.. Берет и цены не придает. А ведь обидно, наверно, когда то, над чем ты всю жизнь тужился, кто-то другой берет одним махом, словно не замечая... Настя позволила Аркадию украсть ее славу. Он над куском ворованной славы трясется, пыхтит, пытается выжать из него все, что можно... И знает: слава-то Настина!.. Настя не связывается с ним вроде из брезгливости. А захочет — и отберет. Как тут не злиться? Для него встреча с Настей могла стать крушением.

Все в них прямо противоположное... Признать Настино превосходство — для него значит признать свое ничтожество. Признать ее ум — значит признать свою дурость. Признать ее жизнь правильной — значит всю свою жизнь перечеркнуть крест-накрест. Разве он может пойти на это?!

А она?.. Как он знает ее силу, так она знает его бессилие и мелкоту... Ну что он сейчас может ей сделать?! Шипеть вслед? Ну и пусть себе шипит, выбивается из сил! Ей-то что до этого? На мелочь не злобятся, даже если она поганая. Через нее перешагивают, как через навоз на дороге, и идут себе дальше. А впереди у нее дорога большая!

Понятно мне стало также и то, почему беспрекословно слушались Аркадия такие, как Стенька с Венькой. Они чувствовали в нем «своего», свою породу, только покрупнее.

Аркадий — чистой воды «подрядчик». Поэтому, несмотря на способности и честолюбие, сорвался он с тех масштабов, о которых мечтал. И как ни возвеличивал он себя речами да позами, уйдет он — тут же забудут о нем... А она, маленькая... она-то как раз надолго останется в доброй людской памяти... И не пробраться ему в Кремль второй раз. А Настя еще будет в Кремле! Таких людей, как она, партия примечает. Нужные это люди. Много они могут принести пользы народу...

Многое мы поняли в ту ночь... Многое вспомнили и пережили наново. Но горше всего было нам думать о самих себе.

Федя так и говорит:

— Черт с ним, с Аркадием... Но мы-то? Я-то?.. Разве гнался я за дешевым авторитетом? Разве искал наживы или покоя? Я честно хотел работать! В партийной школе сутками не спал над книгами. И не для аттестата, а для души!.. Первым знатоком считался в теории. А на

практике... Вот поди-ка ты! Сам не замечая, катился к тому же... к «подрядничеству». Может, за то и злюсь я на Аркадия, что шел у него на поводу! О чем была главная забота? На каком месте числится МТС. В срок ли отрапортовали об окончании ремонта. Отведен ли указанный областью процент площадей под клевера... То есть только о том мы думали, чтоб нас хвалили в области, чтоб жилось нам поудобнее. А как от нашей удобной жизни приходится тем людям, которыми мы руководим, об этом у нас не было заботы.

Да... Этой главной нашей ошибки не замечали мы с Федей... Только после совещания в Кремле встала перед нами вина во весь рост.

...Вот оно в чем оказалось — то «существо вопроса», о котором спросили меня в Кремле.

Я до того за те сутки наволновался, что часа в три заснул, не раздеваясь, на диване. Проснулся, когда рассвело. Федя только-только укладывается. Он на вид всегда моложавый, а тут глаза провалились, на щеках щетина.

— Ложись скорее,— говорю.— На глазах стареешь!

А он усмехается:

— Постареешь тут...— И поворачивает голову.— Гляди, не поседел ли? Говорят, бывают случаи, что за одну ночь человек седеет от переживаний.

На другой день встретились мы с Аркадием в Георгиевском зале... Помните этот зал? Строгий такой, светлый, высоченный... Аркадий заговаривает, а нам с Федей неохота ему отвечать. Понял он это, прищурился, навалился плечом на стену. Очень мне это не понравилось! В этом зале стены от пола до потолка исписаны именами георгиевских кавалеров — русских воинов. Столько там ходит народу, и никто себе не позволяет прислоняться к этим стенам. А Аркадий навалился, как ни в чем не бывало, прищурился и спрашивает меня в упор:

— Может, мне не возвращаться в Журавинскую МТС? Мне теперь цену знают. При желании смогу и в Москве остаться.

Я отвечаю:

— Что ж, оставайся, если сможешь.

Он не ожидал такого ответа. Щуриться перестал. Вскинул голову.

И оба мы поняли в ту минуту, что больше ему у нас в МТС не работать.

— Пожалеете!— говорит.— Вспомните еще Аркадия Фарзанова...

Нет. Не думаю я, чтоб мы о нем пожалели... Все

равно тянул бы он нас в сторону от дороги. Да и не столько от него работы, сколько фасона! Нам надо подобрать себе паренька попроще да поделовитей! Такого, чтоб у него если готовы агрегаты — так уж готовы, если отремонтированы трактора — так уж отремонтированы, если узловой метод — так уж подлинно узловой метод, а не одно название...

Вот к чему пришли мы с Федей. Не сразу разобрались мы во всей этой истории. Не сразу поняли мы, в чем «существо вопроса»...

Уже серел рассвет за окном. Мы погасили в купе электричество, и вместе с ним погасли краски. Только тени различной густоты окружали нас. Алое одеяло казалось бархатно-черным. Голубая, в полоску рубашка Алексея Алексеевича чуть серела. Потом при мгновенном повороте поезда вдруг розовый свет ворвался в купе. Зарозовела белая подушка. Густым винным великолепным цветом загорелось вагонное шерстяное одеяло. Нежная полоска зари легла на дверное зеркало.

— Светает...— сказал Алексей Алексеевич и, повернувшись лицом ко мне, спросил: — А знаете, зачем я рассказывал вам все это?

— Зачем?

— Чтобы вы все это описали. Я в Кремле растерялся, ничего не сумел объяснить. А теперь когда, где, кому и как я расскажу? А надо. Пусть на моих ошибках другие поучатся. Вы писатель... Напишите нашу историю! Напи́шете?

— Попытаюсь...

Он сразу поверил, что я напишу, повеселел и живо заинтересовался:

— А как вы ее назовете?

— Не знаю.

— Назовите ее так: «Рассказ о директоре МТС и его внутренней врагине — главном агрономе».

Но я не захотела назвать этот рассказ так.

— Может быть, я назову: «Рассказ о слугах народа и о «подрядчиках»...

— Нет! — возразил Алексей Алексеевич.— Это надо не из названия... Это люди должны сами, из своей глубины понять и почувствовать, когда прочитают.

Так и не решив вопроса о названии, мы легли спать.

На другой день Алексей Алексеевич избегал оставаться в купе, видимо, его смущала собственная откровенность. Он все уходил в соседнее купе играть в преферанс. А я весь день думала о его истории.

«Директор МТС» и «главный агроном МТС» — наименование должностей или название труда, сложного и вдохновенного? Определение служебных функций и взаимосвязей или слова, вместившие в себя богатство человеческих отношений, неизбежных в таком труде?

Севообороты, агрегаты, кондиции или то, что стоит за ними,— человеческие характеры, страсти, судьбы?..

Я думала об этом, но постепенно все мысли и образы вытеснила одна мысль и один образ — Настя.

В ее лице узнавала я сотни юных лиц, встреченных мною прежде и не узнанных при встрече.

Я видела их разными.

Я видела их веселыми и победоносными, у тяжелых нив и на блистательных фермах.

Я видела их горячими и порой опрометчивыми в азарте борьбы.

Я видела их еще не уверенными в своих силах, только-только нащупывающими свою дорогу, как Настя в первые дни.

Я видела их плачущими и поникшими в минуты ошибок и неудач...

Может быть, рассказ о Насте заинтересует немногих, но если он сможет пригодиться хоть одной из тех, кто сходен с нею, он должен быть записан...

Пусть у этого рассказа будет точный адрес!

Юноши и девушки, идущие Настиными дорогами, он адресован вам!

Настя Ковшова такая же, как и вы, и для каждого из вас открыты ее дороги, и каждый из вас сможет сделать то, что сделано ею. Для этого надо только так же твердо, как она, верить в свою правду и так же упорно, как она, следовать этой правде.

Правда эта такая могучая, что и слабым она дает силу, и маленьких сделает большими.

...В старину была такая пословица: «Один в поле не воин». Зачеркнем и забудем эту чуждую нам пословицу! «Каждый на своем поле — воин!» — вот как сказала бы Настя.

Каждый на своем поле — воин, потому что для Насти нет одиночества на земле, потому что с такими, как она,— партия, потому что рядом на миллионах таких же полей стоят миллионы таких же юношей и девушек, а из них составляется армия, которая побеждает в борьбе за хлеб, за мир, за нашу большую правду.

В мыслях о Насте промелькнули сутки. А через сутки, когда мы подъезжали к той станции, до которой ехал мой спутник, он снова заволновался и разговорился со мной.

— Вы не поверите, ведь я ее не вижу, Настю... Когда она входит, я ее не вижу!.. У Линочки я каждую ресничку, каждый волосок различал по отдельности. А в Насте я ничего по отдельности не различаю! Красивая, некрасивая она, не знаю! Да и знать этого не хочу. Когда она входит, я одно знаю: она здесь, и для меня она краше всех!.. И ничего я в ней не понимаю!.. Как она ко мне относится? Что я ей? Бывало, у других девушек мне сразу понятно, нравлюсь я или нет. А у нее ничего не понимаю!.. То мне кажется, что не может она равнодушно смотреть на такую любовь. То думается как раз наоборот: такая девушка только равнодушно и может ко мне относиться. Ведь мне еще доказать надо, что мы с ней пара. Хотя... Если я вот так люблю ее, если я для нее готов на все, так почему же мы и не пара? Ведь если настоящая любовь, то все остальное не имеет значения! И так и так прикидываю и ничего не могу сообразить!.. Вот уехал... Скучала она или нет, вспоминала или нет, не знаю! Приеду, выйдет встречать или нет, не знаю! Обрадуется ли, не знаю! Духи ей купил... Самые дорогие. А возьмет ли она, не знаю!

Отчего это, когда любишь человека, то или все сразу в нем понимаешь, или уж абсолютно ничего... Глядишь на него, как слепой. Хотя нет... Нет...— решительно опроверг он себя.— Я в ней не понимаю только того, что касается меня. А ее я не только понимаю, я всю ее чувствую. И все время я о ней думаю. Как такой характер мог образоваться, это я понимаю! Выросла она в отличной семье. Отец у нее — знатный уральский сталевар. Брат посмертно награжден Звездою Героя. Училась она в одной из лучших уральских школ и институтскую практику проходила в одном из лучших колхозов. Росла среди отменных людей. Низости людской не видела. А трудности видела!.. Военные годы... Смерть брата... Вот и получился такой характер: с одной стороны, доверчивость, прямота, простодушие, а с другой стороны, сила, упорство, боеспособность... И недостатки ее отсюда же. Баловали ее, конечно, и дома и в школе. Отсюда и своеволие... Все, все я в ней понимаю, кроме того, как она ко мне относится!

Лицо Алексея Алексеевича выражало полное смятение. Взъерошенные мягкие волосы падали на глаза, смотревшие с надеждой и отчаянием.

— Еще год назад,— продолжал он,— меня иногда обида брала, что вот жизнь молодая проходит и нет у меня никаких молодых чувств и сильных переживаний. А теперь? Чего, чего, а уж разных чувств и переживаний хоть на тысячу людей! Теперь я от этих чувств не знаю

куда и деваться! Сами посудите. Во-первых, необходимо мне добиться, чтоб наши достижения закрепились на годы. Чтобы навсегда не стало в нашей МТС отстающих колхозов. Переживаю я это или не переживаю?! Во-вторых, необходимо добиться, чтоб через год меня снова вызвали в Кремль на совещание и чтоб я выступал по существу дела и с чистой совестью. Переживаю я это или нет, как вы думаете? Да ведь если я этого не добьюсь, мне лучше не глядеть на белый свет! Опозорюсь и перед самим собой, и перед Настей! В-третьих, мне надо сделать, чтобы Настя, как ей полагается, поехала на то совещание. Переживаю я это или нет? В-четвертых, мне надо, чтоб я полностью выяснил все ее отношение ко мне! И... чтоб она меня, как я ее, полюбила! А в-пятых, вот через полчаса надо так отдать ей коробку с духами, чтобы она не отвергла, а приняла. Опять у меня переживание!

Если раньше я по степной моей жизни едва-едва топал, то теперь я по жизни лечу, как вот этот поезд. Города и села не поспеваю различать! И кажется, возврати меня в прежнюю мою, вялую жизнь — не смогу, задохнусь я в той, в своей прежней ограниченной жизни.

И вот наконец показался вдали небольшой степной полустанок. Я вышла проводить своего спутника, и оба мы стояли у вагонной двери. Все было так, как он мне описывал.

Рыжее солнце опускалось над рыжей степью. Рядами стояли глиняные домики. Верблюжья голова, точно вылепленная из глины, меланхолично смотрела из-за высокого забора. Собака верблюжьего цвета, поджав от нетерпения лапу и задрав морду, стояла у пивного киоска. И над всем этим рыжим глиняным миром, то замирая, то поднимаясь в небо, звучал сильный, перекрывающий перронный шум, но дрожащий и прерывистый, словно захлебывающийся от каких-то непереносимых чувств голос:

Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты...

И голос и песня не показались мне ни чуждыми, ни неуместными...

Я следила за своим спутником. Не дожидаясь остановки поезда, он нетерпеливо опустился на ступеньки вагона и держась за поручни, пристально вглядывался во что-то впереди. Лицо его беспрестанно менялось. Сперва оно окаменело от напряженного ожидания, и вся сила жизни

сосредоточилась во взгляде, устремленном вперед. Вдруг все оно как-то распустилось, смягчилось от прилива ожидаемой радости, и слабое, самозабвенное, счастливое выражение появилось в растерянной улыбке, во влажном блеске глаз. В эту минуту он забыл обо всем: о том, что он стоит на подножке вагона, что на него смотрят посторонние люди, о самом себе... Обмякшее, красное лицо его было бы смешным, если бы не было таким счастливым. Потом, может быть, вспомнив о юбке, предложенной ему однажды, он оглянулся, весь подобрался, сделал шаг назад, прогнал улыбку, распрямил плечи и всеми силами постарался принять вид независимый и мужественный. И тут же усмехнулся сам над собою своей особенной, иронической, привлекательной усмешкой. И вдруг вся его ироничность и мужественность исчезли в одно мгновение! Глаза сделались испуганными, тонкая шея вытянулась, точно юноша потерял кого-то на перроне и теперь, затаив дыхание, отыскивал взглядом. Потом вздох облегчения вырвался у него, грудь начала дышать вольно, и тыльной стороной руки он отвел волосы со лба. Он спрыгнул на перрон и пошел вперед...

Наконец и я увидела тех, к кому он спешил. Круглолицый, веселый толстяк махал ему рукой. Около него вертелись трое тугощеких ребятишек: очевидно, это был Игнат Игнатович с «гарбузами». Плотный юноша со смуглым лицом не спеша шагал навстречу. Может быть, это был Гоша Чумак? Сморщенный, чернолицый дед тряс бороденкой и улыбался во все лицо беззубым, как у новорожденного, ртом. По этой захлебнувшейся радостью улыбке узнала я неунывающего деда Силантия.

А рядом шла маленькая девушка. Она закрыла глаза от пыли, низко надвинув голубую косынку. Я узнала ее по белому скуластенькому личику, по маленькому подбородку с глубокой ямкой...

Мой спутник спешил к ним, а поезд после мгновенной остановки уже понемногу набирал скорость.

Захотелось спрыгнуть, остаться на этом полустанке и узнать все об этих людях. Закрепят ли они в будущем году то, чего добились с таким трудом в этом? Поедут ли они еще раз в Кремль на совещание? И как выступит там в следующий раз Алексей Алексеевич? И отдаст ли он свой подарок девушке, и как она его примет? И рада ли она его видеть? И полюбит ли она его?..

Стоя на ступеньках, я всматривалась в маленькое, полуприкрытое косынкой простое девичье личико, но ничего не сумела прочесть на нем.

И вот оно исчезло...

1954

ТИНА

Она окунулась в ресторанный мир, чуждый ей и прежде знакомый понаслышке.

В полуподвале «Арагви», в полусвете настольных ламп, под нерусские торопливые звуки оркестра шли бессвязные разговоры о последних театральных постановках, о последних новостях в жизни знаменитых, и всегда о любви, вернее, о том обнаженном и непонятном ей, что прежде не называли любовью.

Здесь бывали мужчины, гордые тем, что метрдотель называет их по имени, и женщины, тщеславные знакомством с мужчинами — завсегдатаями ресторана. Раньше ей казалось, что такие люди перевелись во времена оны, но они еще таились по каким-то углам, а вечерами сползались сюда, чтобы по-хозяйски пройти меж случайными посетителями «в свой кабинет» и там сбросить с себя то, что утомляло их за день,— выдержку, осмотрительность, необходимость приноравливаться к тому месту, в котором они жили, чтобы дать себе волю надышаться «своим» воздухом. Здесь подчас смеялись над тем, о чем перед этим ораторствовали на собрании, здесь, не стесняясь, обнаруживали странные браки втроем, короткие угарные связи, тщательно скрываемые в других местах и в другое время.

Тину влекло сюда царящее здесь бездумье. Звон посуды, одуряющие звуки музыки, нестройный гул хмельных голосов — все переносило ее в чужой мир, где ей не было места, где казалось, что она исчезает, где утрачивает значение все, чем жила она, и вместо нее, счастливой, страдающей, остается оболочка, неспособная чувствовать, бездушная и безразличная ко всему на свете.

Именно ее безразличие и выделяло ее из тех женщин, которые плавали в ресторанном чаду, как рыбы в воде. Именно ему была она обязана тем, что чаще и жаднее,

чем на других, смотрели на нее хмельные глаза. Она воспринимала эти взгляды так же, как чад, звон посуды. Это был ресторан, это то, что так дурманило ее, за чем она шла сюда, это помогало ей уйти от себя.

Иногда здесь она встречалась с людьми, зашедшими случайно простодушно повеселиться, с людьми, милыми и близкими ей. И таких она боялась. Они возвращали ее к самой себе, она боялась, что они, растревожив ее простой человеческой теплотой, возвратят способность чувствовать боль, как возвращается боль, когда согревают обмороженные пальцы, боялась и сама обманным хмельным поступком оставить болезненный след в их простых и чистых сердцах. С хорошими надо было и чувствовать хорошее.

Легче быть бездумной с теми ничтожными, к кому она была презрительно безразлична, от кого она могла утром, не размышляя, отвернуться, через кого могла потом перешагнуть, не замечая, как перешагивают через лужу. Они приписывали ей порочность тем большую, что считали ее искусно скрытой.

Она раздражала и мужчин и женщин. Мужчин раздражало и волновало соединение внешней неприступности с внутренней предполагаемой порочностью. Женщины считали ее корыстной и хитрой.

Увидев денежный перевод от Мити на десять тысяч, Леля сказала ей:

— Ого! Десять!.. Прилично...— И с досадой добавила:— Вы, тихони, все ловкачки. Вы, холодные, все умелые. Здесь кутишь, а из него деньги вытягиваешь. А я, когда увлекусь,— свое отдам.— Она смотрела на Тину сверху вниз.

Тина молчала. Ей было все равно.

По утрам она просыпалась опустошенная, бездушная. Долго валялась, потом шла в ванну. Лелька приходила туда с папиросой в зубах, садилась на край ванны, смотрела на литое тело и говорила со вздохом.

— Какое добро пропадает! Пройдет еще пять лет — и кому это все будет нужно?

В бесцельных разговорах проходил день. Тина слушала бесчисленные Лелькины рассказы о «любвях» и изменах, и ей казалось, что и Володя, и Митя, и все, что было в ее жизни, было не с ней.

— Еще немного этого дурмана, и я совсем забуду. И тогда можно будет снова начать жить.

Но Лелька уходила в театр, сумерки гасили яркие краски ковров, до прихода гостей она оставалась одна, и прошлое снова овладевало ею. Охватывала тоска по Мите, по Володе, по самой себе, и руки тянулись к Митиным

письмам, она брала бумагу, чертила одно слово «приезжай» и рвала лист за листом.

Ресторанный чад мог одурманить ее на час, но ни на минуту не возвращал ее к норме.

«Влюбиться бы, что ли»,—думала она. Но влюбиться оказывалось невозможным. За каждое мгновение тумана в голове, за каждый лишний жест она расплачивалась днями непреодолимого отвращения.

Однажды в первом часу ночи в ресторане за ее спиной раздались шумные выкрики и аплодисменты. Кого-то просили плясать, чей-то заливистый смеющийся голос отказывался:

— Увольте, отяжелел, не тот стал.

Потом раздались крики «асса!», и Тина оглянулась. Меж раздвинутых столиков шел в лезгинке полный небольшой человек.

— Смотри, Алехин пляшет! Тот самый, известный академик... Художник Алехин...

Несмотря на полную коренастую фигуру, он был легок и отчетлив в каждом движении. Но не пляска, а лицо его бросилось Тине в глаза. Черная волна волос падала на лоб, совсем как у Дмитрия, и так же смело смотрели из-под нее такие же темные глаза.

И Тине вдруг стало весело. Это была не прежняя, ясная, а какая-то жесткая веселость. Ни доброты, ни тепла, ни даже интереса не возникло у нее к этому человеку, но она впервые захотела кого-то видеть рядом с собой. Она смело указала ему на свободное место:

— Садитесь, джигит.

Он остановился, взглянул на нее, оценивая взглядом, засмеялся заливчатым мальчишеским смехом и сел.

— Актриса?

— Нет.

— Балерина?

— Нет.

— Музыкантша?

— Нет.

— Кто же?

Польщенная соседством знаменитости, Лелька защебетала:

— Иван Алексеевич, это страшная женщина, женщина-металлург!

Он еще заливчатее засмеялся:

— Ну, металлург, так металлург.—И заговорил тем добродушно-уверенным тоном, которым говорят люди, привыкшие всегда и везде овладевать вниманием:— Однажды я напишу картину о заводе. О прокатном цехе.

— Что вам нравится в прокате?

— Живой металл. Железо, превращенное в свою противоположность,— стремительное, огненное, извивающееся, покорное. Когда-нибудь я напишу это.

— Почему когда-нибудь, а не сейчас?

— Здесь еще нет.— Он показал на кончики коротких пальцев.— Еще не дошло сюда.— Он снова засмеялся.— Идея художника, металлург, сперва зарождается в голове, потом она спускается из головы в кровь, пронизывая все существо, наконец, проникает в самые кончики пальцев и просится: «Впусти, впусти, впусти». И вот тогда только надо писать.

Он засмеялся. У него были Митины волосы и Митин лоб, но рот был крупный, с жадными веселыми губами и что-то залихватское, мальчишеское чувствовалось в манере встряхивать головой.

А Леля сказала:

— Он напишет. Он все может. Ты, Тина, не знаешь цену его таланту. Иван Алексеевич, за ваш талант!

Они много пили, и когда он брал Тинину руку маленькими горячими ладонями, ей было не приятно, а только весело.

Он заглядывал ей в глаза:

— Кто? Металлург? Русская? Почему скулы? Почему кожа темная?

— Татарка. Смесь... Русская с татарской кровинкой.

— Значит, вдвойне русская. Что за русский без татарской примеси? Металлург, русская, татарка, вредная очень, по глазам вижу.

Она сказала ему:

— Оставим их всех и пойдем гулять по Москве.

Они, взявшись за руки, бродили по пустынным переулкам... Он рассказывал об охоте, о туркменских степях и заполярных льдах, о красках и линиях. Они все торопились куда-то, смеялись каждому слову, им было легко и весело вместе, и когда она вернулась домой, Лелька подняла с подушки голову с торчащими бигуди и требовательно спросила:

— Ну?.. Влюбилась?..

— Да. Влюбилась. Единственный, с кем мне весело. Умница. Искренний. Простой. Душенька. Прелесть.

— Наконец-то влюбилась. Слава тебе господи!— удовлетворенно сказала Лелька и ткнулась носом в подушку.

Тина вытянулась на кровати. За темными гардинами уже занималось утро.

«Вот и прошло наконец,— думала она.— Вот я уже могу думать и о другом. Хочу я еще его видеть? Да, хочу.

А как завтра? Вдруг завтра опять...— Она испугалась того равнодушия ко всем и ко всему, которое владело ею утром, и приказала себе: — Не смей ничего выдумывать. Нашла ты наконец человека, с которым тебе легко и весело, сама нашла и бери!»

Днем художник пришел снова, и ее страхи оказались напрасны. Он не только не был ей неприятен, он еще больше понравился неизменно веселой энергией, мальчишеской непосредственностью, незаурядностью, которая чувствовалась в каждом его жесте и слове.

Лелька сказала:

— На Ивана Алексеевича премии сыпятся как горох ...

— Меня преследует удача,— рассмеялся он,— если бы меня хоть раз тряхнуло, как следует, получился бы из меня совсем толковый художник, а то — о чем ни подумал — все как яблочко на золотом блюдечке. Собирайтесь, татарка, на Воробьевы горы!

— Зачем?

— Небо смотреть.

И весь день он показывал ей небо, облака, ветви деревьев, тени на снегу, показывал с хозяйской манерой и с такой гордостью, словно он лично был наследным властителем и создателем всего окружающего.

— Видите, как изменяет окраску моего облака этот внутренне пронизывающий свет? — спрашивал он.— Черт побери, как его поймать? Я это облако передвину туда, за дерево. А мост будет лучше вот с этого ракурса.

И с ней он обращался с такой же веселой хозяйской манерой, и дерзость не сердила, а смешила ее.

Они крепко подружились, вскоре перешли на «ты». Они много и часто виделись, весело ссорились и снова мирились, много танцевали.

Он нравился ей все больше с каждым днем. И часто она думала: «Вот ты и ушел от меня, Митя».

Все шло отлично, пока однажды он не попытался поцеловать ее. Она была готова к этому, но вдруг снова пронзило ее ощущение: «Не тот. Не то. Не желанный. Не нужный.— И тут же возразила себе: — Но если и он не этот, то кто же? Когда же? Не смей дурить. Не смей». Ей было так трудно преодолеть себя, что на миг слезы выступили на глазах.

Через минуту она уже презирала себя за мгновенную слабость, рассмеялась:

— Ты привык распоряжаться своими облаками, а я тебе еще не облако, и нужен ты мне как в голове дырка,— она резко встала и оттолкнула его от себя.

Он рассердился:

— Какое ты облако? Крапива ты, если хочешь. Думаешь погладить, обязательно обожжешься. Бить некому.

— И почему это всем вам меня бить хочется? — лениво спросила она.

— Ты меня со всеми не равняй. — Он был не на шутку рассержен.

— Подумаешь, принц! — протянула она насмешливо.

— Принц... Принц... — Он ходил по комнате маленький, разъяренный и грубый и все-таки чем-то очень симпатичный ей. — А вот и буду принц!.. — решительно заявил он, запрокинул ее лицо и силой поцеловал в губы.

Темная прядь, лежащая на его лбу, так притягивала ее к этому человеку, что она опять не рассердилась на него.

«Вот ты и уходишь от меня, Митя, — думала она, оставшись одна. — Вот я уже и не люблю тебя. Я добилась своего, выкурила тебя из сердца. И это оказалось совсем не таким трудным. Сегодня придет другой, и мне будет весело с ним, и я жду его, и хочу, чтобы он пришел. И я забуду тебя совсем...»

Она готовилась к встрече и ждала ее, по-настоящему волнуясь и радуясь тому, что может волноваться и ждать.

Она услышала его энергичные быстрые шаги по лестнице, поднялась навстречу и остановилась, окаменев, — на пороге стоял чужой, ненужный человек. В первую минуту она не поняла, что сделалось с ним, и только в следующее мгновение ей стало ясно, — он остриг волосы. Те черные волны, что делали его похожим на Митю, были сняты, и обнажился совсем не Митин, чужой, сдавленный с висков, удлиненный лоб, и все очарование его лица пропало. Ею овладел приступ неудержимого смеха.

— Что с тобой? Чему ты?

Она отталкивала его руки.

— Чуб... чуб... ты отрезал чуб... — смеялась она. — Ты потерял, отрезал все пути, все возможности, мой милый. Вся сила Черномора была в бороде, а вся твоя сила в этом... чубе... Ты такой смешной... Совсем непохожий... на него.

Она смеялась, он не мог понять ее насмешливости, ушел разозленный, а ею овладело отчаяние.

Ночью она снова говорила с Митей.

— Я думала, я разлюбила тебя... Я думала, я забыла тебя... А достаточно, достаточно одной пряди волос, похожей на твою прядь, чтобы сердце рванулось к тебе, только к тебе! В каждом я буду искать тебя и не находить, и никаким вином, никаким увлечением в ресто-

ранном угаре мне себя не одурманить. И этим путем мне не спастись...

Она снесла в комиссионку свое вечернее платье и покончила с ресторанами.

На курсах уже начались занятия, и она углубилась в работу. Занималась она в комнате бабы Тани и только к обеду и ужину выходила в столовую, избегая разговоров и встреч.

С каждым месяцем она становилась спокойнее, ровнее. Но одновременно с возвращением к норме возвращались к ней и естественные мысли о будущем. Она уже не искала способа, чтобы забыться во что бы то ни стало, забыться любою ценой, но по ночам упорно возвращалась к ней одна и та же мысль: «Как поступить с собой дальше? Положиться на судьбу?» Она знала свой характер. Никакая судьба не могла вести ее по своим дорогам, помимо ее воли и желания. Жить и дальше одной работой? Она смогла бы это, если бы никто не возвращал ее мысли к другому, если бы то и дело не твердил ей кто-нибудь, что она женщина, женщина, женщина... Стать легким порхающим созданием и жить вроде Лельки? Но, помимо всего прочего, это было бы немыслимо скучно. Выйти еще раз замуж? Но где такой человек, с которым можно было бы жить, не тоскуя о Мите? Она сравнивала с Дмитрием всех, кого ей случалось встретить, и не находила равного. Кто же мог так упорно и твердо становиться «на горло собственной песне» и твердить: «Нет, нет, нет»,— отказываясь от близкой славы, успехов, почестей во имя той «трижды достоверности», которой искал он в своей работе? Кто мог по шестнадцать часов в сутки руководить требовательной, неумолчной жизнью огромного завода и ночами сидеть над сложнейшими научными проблемами и еще быть жестоко недовольным собой? Кто с трудом умел вырвать из плотных суток время, любить самозабвенно и жадно, словно любовью одной жил он на этой земле? Кто еще мог делать все, что он делает, так, на полную силу, с таким самозабвением, с такою полной отдачей себя? Он был настоящим мужчиной, единственным возможным для нее мужчиной на земле, но он был далек, невозможен.

Письма его она, не читая, складывала в красную шкатулку, и день за днем он терял свою реальность и превращался в какую-то абстракцию всего, что включало понятия «любовь, муж, мужество, доблесть» и все живое по сравнению с памятью о нем и о пережитом с ним было неполноценно, по-нищенски жалко. Она смотрела на женщин, влюбленных в своих мужей, с брезгливостью и жалостью. Она не понимала, как можно не только

любить, но просто всерьез принимать этих мужчин, некрасивых, не очень умных, не стойких в своих взглядах и не умеющих по-настоящему ни думать, ни чувствовать, ни работать, ни любить. Нет! Лучше быть одной, чем делить судьбу с одним из этих.

А на землю пришла весна. Подтаивали снега, весенние воды кипели на солнечных улицах, солнце сияло в каждой луже, в каждой витрине, и на всех углах стояли цветочницы с полными корзинами первых цветов.

Весной она затосковала сильнее. Она тосковала не о том, что ее не любят (это было в ее руках), она тосковала о том, что не может любить сама.

В последние годы она разрывалась на части, заботясь, опекая, любя, радуя сразу двух мужчин. Это было мучительно. Мучительно было после вечера, проведенного с Митей, пряча в полночь руки, на которых еще оставались следы его губ, готовить в пустынной холодной кухне завтрак и лекарство для Володи, и утешать его, и вселять в него веру и бодрость, и видеть его глаза, полные нежности и благодарности, и качаться на рассвете в холодном автобусе через весь, еще темный и пустой, город на завод, приезжая задолго до срока, чтобы сесть, проверить Митины чертежи и расчеты, и увидеться с ним где-то у окна в коридоре, встретить его глаза, тревожные и любящие, и торопливо бросить на ходу: «Митенька, только стой на своем!»

И день за днем, не щадя, разрывать себя пополам для них двоих. Тогда ей казалось это пыткой, а теперь она тосковала и по холодной кухне, и по доводящим до одурения расчетам, тосковала по всему тому, что она делала для тех, кто любил ее и кого она любила. Как она была нужна им обоим!

Теперь она протягивала руку, чтобы купить пучок фиалок у цветочницы, и опускала ладони,—ей некому было принести эти фиалки.

Впервые распахивали зимние рамы, и ей хотелось запеть, но петь было не для кого, и песня замирала в горле.

Ей хотелось надеть весеннее нарядное платье, но одеваться было незачем, и она ходила в зимнем—тяжелом и темном. С юности она привыкла приносить радость, она знала силу счастья, которое могла бы дать, и, оттого, что никому его не давала, она грустила над жизнью и над собой, как грустит богач над потерявшими цену сокровищами.

С Лелей их отношения окончательно разладились.

— Я не понимаю этих твоих крайностей,—сердилась Леля,—то сидишь в компании с каким-то потусторонним выражением, недотрогой и вообще «цирлих-манирлих», то сама—хоть бы людей постыдилась!—навязываешься Ивану и поджариваешь его на всех сковородах, а когда он испекся, вместо того чтобы проглотить, как всякая нормальная женщина, прогоняешь. Из-за чего? Скажите пожалуйста! Из-за чуба! И теперь начала корчить из себя схимницу. Никогда нельзя сказать, что из тебя получится завтра и послезавтра.

Чем свирепее нападала Лелька, тем молчаливее становилась Тина.

Однажды за Тиной в комнату бабы Тани явилась шумная компания Лелькиных друзей.

— В келье, в одиночестве, в черном платье грехи замаливает, Тиночка?!—смеялся Левушка Шторм.

— Постриг! Ушла на постриг!—кричала Люся.— У русских купчих было такое заведение—нагрешив вволю, уходили на покаяние! Рано вам еще каяться, Тиночка, погрешите еще с нами.

Ей хотелось отдохнуть, и она позволила увести себя в столовую. Было много людей, все пили, все говорили, никто никого не слушал.

Опьяневший Левушка подсел на диван к Тине:

— Влюбился бы в вас, Тиночка, да боюсь—сядете вы мне на голову.

— Как это я сяду на голову?—удивлялась она.

— Не в обычном смысле, конечно. Вы меня можете на другой день за дверь выставить—знаю я ваши обычаи, но остаются в мозгах занозины—этакая занозина сидит,—и не больно, забудешь о ней, а чуть тронь невзначай, и заболела, и черт ее знает, что с ней делать?! Выковыривать—до крови доковыряешь... Оставить внутри? Нет-нет да кольнет... Обидно ходить до конца дней с этой занозиной в сердце... За что вы Алехина выгнали?

— Я не выгоняла...

— Не выгоняла... Почему же он о вас спокойно говорить не может? Добрый парень, ни о ком я от него худого слова не слышал, а о вас... Злится так, что и скрыть не может. Чем это допекли вы его?..

— Ничем я его не допекала.

Он смотрел на нее пристально.

— Вот этим самым. И тянет и отталкивает. И прибить вас руки чешутся, и приласкать-то вас хочется крепко, и ждешь от вас чего-то, а чего от вас ждать можно— никому не известно. Нет... не буду я за вами ухаживать....

Ну вас к черту!—Он засмеялся, махнул рукой и отошел от нее.

И тогда рядом с ней сел человек, которого она видала во второй раз. Звали его Романом Федотовичем. Она знала, что он полярник-океанограф, знаток Северного Ледовитого океана. В Лелину компанию он попал случайно, был молчалив, незаметен, и Тина не обращала на него внимания.

Он подал ей стакан чаю:

— Выпейте покрепче... Вы устали сегодня...

Его слова были сказаны трезвым голосом и тоном простого товарищества. Именно поэтому они сильнее, чем любой выкрик, выделились из пьяной разноголосицы, и Тина впервые взглянула на него внимательно. Он ничем не напоминал Митю—это первое, что она отметила. Он был сухощавым, высоким, со светлыми волосами, с правильными и твердыми чертами лица. От носа к углам губ тянулись не портившие лицо, но красные, словно навсегда обветренные, складки. Серые глаза смотрели спокойно, понимающе.

Весь вечер он неторопливо и безмолвно ухаживал и с тех пор стал почти ежедневно приходить к ней.

Леля сделала свой вывод:

— Везучая ты, чертяка! Как будто и не глядишь ни на кого, а каких хахалей отхватываешь. Вдовец, с положением, с квартирой—вцепись и не выпускай!

Лелька сидела на тахте и сосредоточенно терла пемзой пятки, чтобы были розовые. Собиралась ехать на курорт и потрясать своими пятками Черноморское побережье. Тина протирала полотенцем оконные рамы. Стая голубей пролетела возле окна и опустилась в соседнем садике на край фонтана.

— Сколько голубей нынче развелось,—радостно сказала Тина.—Баба Таня говорит, к счастью, к долгой спокойной жизни.

Лелька взглянула на нее исподлобья.

— И голос у тебя какой-то не такой. Невестин голос.—И озабоченно добавила:—У тебя пятки не желтые? Как ты думаешь, отчего у меня желтые? Раньше всегда розовые были.

Она прошла в ванну, шлепая босыми ногами с красными ободранными пятками, а Тина присела на подоконник, смотрела на первую легкую зелень, на деловитых голубей и ребятишек, столпившихся у фонтана.

«Добрая, добрая моя судьба,—думала она.—Кто послал на мою дорогу вот такого человека? Как раз такого, как мне надо».

Она давно уже поняла, что если сможет еще раз с

кем-нибудь связать свою судьбу, так только с таким выдержанным, много видавшим, вдумчивым, мягким и одновременно твердым человеком.

Когда он сидел с ней рядом, ей казалось, что возле нее поместилась большая печка и веет от нее невидимым, но ощутимым теплом. Он приносил с собой тепло, покой и надежду, и она жила этой надеждой. Не только голос, но и походка у нее изменилась, она ходила теперь мягко и плавно, словно на голове у нее стояла большая, доверху наполненная чем-то дорогим ей чаша. Вечером она должна была впервые пойти к нему в гости. Она надела весенний серый костюм и у первой цветочницы купила ветку белой сирени: «Пусть стоит у него на окне».

В витрине выставлены были мужские рубашки, ей захотелось купить ему голубую в полосочку, и она радостно засмеялась от того, что скоро у нее снова будет возможность кого-то любить, о ком-то думать, заботиться.

Вчера вечером он сказал ей:

— Мне неприятны браки между пожилым мужчиной и слишком юной женщиной. Ведь ищешь не только женщину, но и человека, равного тебе по зрелости... зрелости чувств и мыслей.

И сегодняшнее приглашение к нему на ужин было сделано неспроста. Она ясно уловила в простых словах значительность и волненье.

Она вошла в подъезд большого дома, поднялась по широкой чистой лестнице и позвонила.

Как только он открыл ей, она протянула ему ветку сирени.

— Милая,— сказал он, целуя ее руку.

Старушка, седая как лунь, но с добрым лицом, еще бодрая и быстрая, с тарелкой хлеба в руках, вышла из кухни, облицованной кафелем. Это была его двоюродная бабушка, о которой он не раз говорил Тине.

— Вот как пришлось — я вас с хлебом-солью встречаю,— сказала старушка, внимательно посмотрела на Тину, поставила тарелку на стул и поцеловала Тину в щеку сухими старческими губами.

— Пойдемте-ка, покажу вам дом.

Он взял ее за руку и повел по большим прохладным комнатам. Все здесь было удобно, добротно и обжито, и по всему видно, что живут здесь люди, любящие друг друга и свой дом. Он вел ее за руку, взволнованный и молчаливый. И Тина притихла.

«Неужели этот дом будет моим домом,— думала она,— этот человек с добрым лицом и сильными плечами станет

моим мужем, и старушка, что поцеловала меня в прихожей, станет моей бабушкой. У меня будет бабушка!»

Она невольно тихо засмеялась.

— Чему вы, Тина?

— Так. Хорошо у вас здесь.

— Вы знаете, после смерти моей Аннушки вы первая женщина, которую мне захотелось видеть здесь,— тихо сказал полярник. Сильнее сжал ее руку.

Они ужинали втроем, болтая о пустяках. Уютно горела лампа под большим абажуром, откуда-то издалека доносилась музыка, пахло весной, грозой, цветущими липами. Тине было хорошо. Ей думалось, что так теперь будет каждый день, и не надо будет мыкаться по Лелькиным диванам, и можно будет заботиться о них и жить для них, для этих чистых добрых людей, что приняли ее в свой дом, в свои милые души.

На стене висел большой портрет женщины с тонким, нежным лицом. И Тина обращалась к ней: «Анюта, верь мне, им будет хорошо со мной, ты знаешь, как я умею любить, когда я люблю. Я буду беречь их обоих, я буду беречь твою память вместе с ними».

После ужина Тина с Романом Федотовичем вышла на балкон. Вершины лип неподвижно стояли наравне с балконом, весенняя длинная заря гасла где-то за крышами, электрический свет, еще не яркий, мешался с голубоватыми сумерками.

— Вам понравилось у меня?— спросил ее Роман Федотович.

— Очень.

— Не уходите отсюда,— сказал он чуть слышно.

Сердце ее гулко забилось — вот оно, рядом милый дом, милый муж, милая чудесная семья.

— Останьтесь здесь совсем, Тина. Я люблю вас. Останьтесь со мной.

Он наклонился. Запах табака, запах чужой мужской кожи ударил ей в лицо. «Митя курил другие папиросы»,— подумала она в смятенье и отстранилась.

— Тина!..— Он взял ее за плечи.— Почему вы молчите, Тина?..

Надо было что-то сказать, немедленно надо было найти какие-то большие, хорошие слова для этого большого, хорошего человека, а она не находила слов и не находила ну ных мыслей, не находила иных чувств, кроме одного,— запах чужого табака, чужой комнаты отталкивал ее.

А он наклонялся к ней все ближе и ближе. В свете, падавшем из окон, она увидела чужое лицо и вдруг почти с отвращением, с неприязнью отметила каждую складку,

каждую морщину на этом лице. Ей стало противно не потому, что это было противное лицо, но потому, что это было не Митино лицо. Ей захотелось бежать.

Она резко отстранилась: «Я сошла с ума. Что я делаю?.. Неумное, непоправимое...»

Он притянул ее к себе и стал целовать в губы. Она чувствовала каждую неровность его губ, каждую выпуклость подбородка так отчетливо, как будто к ней прикасалось дерево. Жесткие губы, костистое лицо, влажные волосы, скользкое полотно рубашки и шершавое сукно пиджака — все было не таким, как надо, все было чужим и неприятным. А он был взволнован. Дыхание его стало прерывистым, руки — горячими и тревожными.

Все это вызывало в ней чувство неловкости, жалости и брезгливости, словно она в эту минуту наблюдала со стороны за чужим ей человеком.

«Одернуть себя,— твердила она себе.— Не нагрубить. Не сделать непоправимого. Но что со мной? Так же было сначала с Володей. Но потом все переломилось, перетерпелось. Но тогда я не знала Мити. Митя!.. Митя!..»

Каждая клеточка ее тела тосковала о нем и звала его, губы просили только его губ, руки только его рук.

Она отстранилась от Романа Федотовича.

— Тина!..— тревожно позвал он.— Тина...

— Подождите, милый... Нельзя же так сразу... Дайте опомниться.

Он курил папиросу и гладил ее руку, а она думала: «Боже мой, почему выйти замуж значит обязательно вот это: позволять трогать себя и все такое. Как бы любила их обоих — и его и бабушку, как бы я заботилась о них... Пересилить себя... Притвориться... Перетерпеть...»

Тревожные светлые и чистые глаза заглядывали в ее лицо.

«Быть с ним и думать о Мите? Обманывать ежеминутно прямого, цельного, любящего человека? Принести в этот милый дом, к этим доверчивым людям сердце, высушенное любовью к другому? Войти к ним с ложью, ежеминутно притворяться...— Она вдруг обиделась за него: — Разве он не заслуживает того, чтобы самая лучшая женщина полюбила его со всей полнотой любви, так, как я когда-то полюбила Митю? И разве можно его такого обмануть? Я не смогу его обмануть».

Она поднялась и промолвила устало:

— Прощайте, мой дорогой. Мне пора.

— Тина...

— Не надо этого. Ничего этого не надо между нами. И говорить об этом не надо.

Они вышли. Она мысленно прощалась с мечтой о доме, о семье, о «бабушке», о покое, о счастье.

Молча ехали по весенним веселым улицам. Он ни о чем не спрашивал. Когда подъехали к ее дому, она сказала:

— Я люблю вас слишком много для того, чтобы выйти за вас без любви... Я люблю вас слишком мало для того, чтобы стать вам настоящей любящей женой... Я люблю вас как раз столько, чтобы на всю жизнь остаться вашим другом.

Он ответил ей глухо:

— О любви не просят...

Она вышла из машины.

— Простите меня, милый. Я за сегодняшний вечер постарела на десять лет.

Много ночей она не могла спать.

«Что же со мной будет? Самое буйное веселье меня не веселит. Увлеченья? Но был для этого такой веселый, горячий, яркий, весь мне по сердцу, что для «увлеченья» лучше и не придумаешь, и я не смогла увлечься им и прогнала его. Замужество? Но пришел верный, преданный, лучший из всех возможных, умный, такой подходящий мне, что и во сне не приснится. И я не смогла стать его женой и прогнала его. Чего же мне ждать теперь, на что же мне надеяться и как мне жить?»

Я ЛЮБЛЮ НЕЙТРИНО!

Яблони больничного сада осыпали поэтическими лепестками и мои повязки, и ребят, но пятеро выглядели вполне нормально. Одна Нелька, десятиклассница, смотрела как приобщенная к святым таинствам. Она не могла поверить, что я, «выросшая под сенью циклотрона», свалилась от примитивного гриппа и обожглась вульгарным кипятком из чайника.

Чтобы не слишком разочаровывать девочку, я несла невесть какой бред высокого стиля:

— ...Я люблю нейтрино... предсказанного с надеждой, рожденного с восторгом, окрещенного с нежностью... Я люблю нейтрино... всепроникающего малютку, способного, смеясь, пронзить галактику, даже если ее залить бетоном. Я люблю нейтрино!..— Я показала Нельке ноготь, позабывший о маникюре.— Миллиарды атомов! И каждый — кладовая атомных энергий, запертая семью замками. Нейтрино — ключ ко всем замкам! Я люблю нейтрино!..

У Нельки отвисла челюсть. Я не выдержала и расхохоталась.

Но они все, чудаки, смотрели на меня с жалостью.

Саша сказал:

— Ты все такая же молодчага. Не поймешь, когда серьезно говоришь, когда издеваешься.— Таким тоном доктор-добрячок говорит с больным, который должен был умереть на рассвете, но чудом вытянул и теперь умрет только к вечеру.

Васек сказал совсем естественно:

— Один носишко от тебя остался, и тот желтый, как луковица. А в халат кутаешься с шиком... Элегантность при тебе, ничего не скажешь!..

— Вот кто сегодня элегантен! — Я указала на Линь-суня, нашего друга из Монгольской Народной Республики, одетого в новый костюм.

— Я сегодня шафер.

У всех в глазах запрыгали испуганные «зайчики» и заметались из зрачков в зрачки.

— Он хотел сказать — шофер,— нашелся Саша.— Он сегодня поведет мою машину.

Но Линь-сунь не знал моих предысторий, зато отлично знал русский язык и гордился этим.

— Нет, не «шо», а «ша»! — сказал он упрямо.— Я знаю, где «ша» и где «шо»! «Шо-фер» — это на машине. А «ша-фер» — это на свадьбе!

— Ты — «шо», «шо», «шо»! — Нелька дергала его за рукав.

— Нет, я «ша», а не «шо»...

«Ша-шо... Ша-шо...» Я вспомнила, как шелестели шины по гальке на взморье в тот вечер.

«Ша-шо»... Как далеко!.. Я люблю нейтрино...

Нелька с набрякшими глазами вдруг ткнулась мне в плечо.

Васек нахмурился:

— Маразмик... Маленький припадок маразмика... Лана, не реагируй.

Но я посмотрела на себя глазами этой десятиклассницы.

Двухгодичный эксперимент... по двадцать четыре часа в сутки... Неудача... Все — зайцу под хвост... Болезнь без лечения... Обморок в лаборатории. Ошпаренные руки... Желтенький носик... В завершенье — свадьба Бориса. И «мужественная улыбка на лице»...

Как не смотреть с жалостью и благоговением! Нет, я не могла разочаровать эту девочку, воспитанную на «Комсомольской правде» и на очерках Татьяны Тэсс!

— Настоящие ученые — всегда люди «жесткой фокусировки»,— сказала я.— «Жесткая фокусировка» — это когда электроны мчатся в ускорителе, несмотря на большие метанья, без уклонений. Энергия их от этого возрастает во много раз. И это для электронов — предел их электронного... счастья... Васек, доформулируй...

Пока он говорил, я вспоминала «ша-шо», шелест шин на взморье, взлет «Ту-104» и то, как я отхватывала буги-вуги в партбюро института перед Ольгой.

Не то чтоб я любила буги-вуги, но Ольга взирала с забавным ужасом на танец этот отчаянный, а мне нравилось быть не Ланой, дочкой академика, а Малашкой — отчаянной головой, украденной у академических родителей прабабкой-сорванцом и окрещенной у попа.

— Мне нравится, что ты — и Лана и Малашка,— говорил мне Борис.

Ему тоже нравились безобидные «виражи» в виде

буги-вуги и стихов Есенина. Но, кроме того, нам обоим с пеленок нравилась физика...

Общность вкусов... Общность прошлого — рядом со школьной скамьи до аспирантуры... Общность будущего — диссертации на смежные темы. Почти общность родителей — отцы закадычные друзья. Совпадение всех координат — математически выверенный брак.

Вася кончил про «жесткую фокусировку»:

— ...Все очень просто! Поняла, Нелька?

— Просто, как газоразрядная трубка,— заключила я.— Но ты не раскрыл главного! Где диалектика? Жесткость фокусировки достигается — чем бы ты думал? Как раз изменчивостью. Магнитное поле должно периодически меняться.

Я вынула ту самую зеленую папку и отдала ее Линь-суню:

— Мой свадебный подарок жениху.

Тут Нелька взмокла и навалилась на меня.

— Какая ты выдержанная!..

— Маразм крепчал! — резюмировал Васек.— Двести семьдесят два ниже нуля.

И все-таки даже он, самый умный из всех, был так глуп, что смотрел на меня с жалостью.

Когда они ушли, я думала только об этой дурацкой жалости.

Новые взлеты физики рождаются из парадоксов.

Весь атомный век родился из парадоксов: под руками Рентгена «ни с того ни с сего» засветилась простая бумага, покрытая солями бария... Так парадоксально, на взгляд прошлого столетия, подал первую весть о себе атомный мир.

Из парадокса и из веры в парадокс возникло овладение радиоактивностью.

Излучение урановой руды оказалось непонятно сильнее, чем излучение чистого урана.

Кругом скептически улыбались, твердя об ошибке, но двое, Пьер и Мария Кюри, поверили в парадокс и, поверив, отдали ему четыре года труда и жизни. Хрупкая Мария своими руками перетаскала и переработала восемь тонн руды. До двадцати килограммов за один раз перевешивала она и переносила в котлах — безвозмездно, бескорыстно, счастливая уже тем, что хоть на таких условиях ей позволили работать в дощатом и дырявом сарае школы физики.

И верующие среди маловеров, за годы до открытия, они делились уверенностью и мечтами о парадоксальном,

никому не ведомом элементе, который в таких крошечных дозах дает такое могучее излучение.

— Как ты думаешь, как он будет выглядеть? — спрашивала Мария.

И Пьер мечтательно отвечал:

— Мне хотелось, чтобы он был красивого цвета.

И он вознаградил их за веру — добытый ими через годы, он имел не только цвет, но и сияние. Он сиял, освещая окружающее...

Все циклотроны (включая и тот, на котором я потерпела свое фиаско) рождены парадоксом. Медленные нейтроны неожиданно оказались много действеннее быстрых, более энергичных. Смелый и горячий ум итальянца не испугался неожиданности, принял ее и тут же проник в ее глубину, маленький Энрико Ферми помчался к ближнему водному бассейну — к фонтану с рыбками, ища повторенья и подтвержденья великого парадокса.

А парадокс Майкельсона, из которого выросла теория относительности Эйнштейна?

В награду за веру в парадоксы Ирен и Фредерик Жолио-Кюри положили начало искусственной радиоактивности и бесчисленным изотопам, расширившим таблицу Менделеева до беспредельности.

Вся история атомного века идет через парадоксы, но для того, чтоб из парадоксов рождалось открытие, нужны вера и смелость! Вера в парадокс — вера в рукотворное чудо! Ею обладают творящие чудеса! В них мое кредо — не оттого ли я так много думаю о них? Будь моя воля, среди майских лозунгов, с которыми колонны физиков выходят на Красную площадь, я бы написала: «Верьте в парадоксы!», «В парадоксах раскрываются глубины новых идей!».

Лозунги, лозунги... Смеясь над лозунговым мышлением, я сама не могу без лозунгов. И может быть, «подыгрываясь» под Нельку, я «играю» самое себя? Играю собственное нутро?

А что ведущее в нашем «нутре»? Может быть, то, что, озолоти нас, мы все равно не смогли бы жить в мире, где заводами и банками, полями и лесами владеют единицы, как не смогли бы есть из помойки, даже если бы вперемешку с помоями лежали шашлыки по-карски!

Это потребность в справедливости, уже перешедшая из высших идейных корковых сфер в плоть каждой клетки, в безусловный, наследуемый рефлекс: едим только из чистых тарелок. Идея низвергнута от высшей нервной деятельности до безусловного рефлекса, тем самым поднята над временем, над поколеньями! Опять парадоксальность! Но если парадоксами раскрываются глубины новых

идей, то какие идеи раскрываются мною — ведь я типичный парадокс?..

Неудача опыта, крушение надежд, болезнь, «желтенький носик», обвязанные руки, свадьба жениха — скопище несчастий, а я... Я недоговариваю... Боюсь, ребята не поверят...

В середине нашего века говорили слишком много хороших слов. Не надо деклараций... Надо, чтоб сами увидели. Только тогда поймут. Не руки горят — мозги... Я хочу, чтоб обязательно поняли и такие молодые, как Нелька, и такие сверстники, как Васек.

Через неделю я выйду из больницы и снова помчусь в погоню за предательским и возлюбленным мною крошкой нейтрино, и мне уже будет не до Нельки и Васьки... Но за эту неделю я должна убедить... Со сверхзвуковой, нет, со сверхсветовой, фантастичной скоростью ринуться, нагоняя прошлое... Зачем?.. «Во имя будущего»... Из меня так и скачут лозунги и штампы. Я парадокс, проштампованный насквозь... Но, черт побери, не такие уж плохие штампы были пущены в дело! Штампуйте мне душу насквозь и глубже, но, чур, я сама выбираю штампы! И все же я рада, что сорванец-прабабка окрестила меня нештампованным именем — Маланья.

Так с чего же мне начать свой «сверхсветовой» полет в прошлое? Начать надо с той минуты, когда началось настоящее и будущее. Но оно жило во мне всегда. Даже когда я плясала буги-вуги... Но, может быть, впервые конкретно и ощутимо оно встало передо мной, когда метель занесла меня в Топатиху. Значит, начинать надо с Топатихи...

Нет. За день до нее...

Мы с Борисом раздобыли билеты на сессию Академии наук. Был мраморный лепной зал академии и деревянные, почти колхозного образца, маленькие ложи, нафаршированные корреспондентами, прожекторы, нацеленные на лысые головы маститых.

В перерыве шеф задержал нас с Борисом и с ходу познакомил с Великим Молчуном. У него левый глаз чуть у́же правого и все лицо слегка асимметрично, как у охотника, который привык целиться. Лицо охотника, а прическа «академик женится» — последняя прядь волос с тщательным, но тщетным боковым начесом на лысину.

— Вот это и есть та самая Маланья Ильменова,— сказал шеф.— А это тот самый Борис Андропов.

— Читал ваше сообщение. В последней части интересны оба варианта решения.

— Эти два варианта чреваты двумя диссертациями,— сказал шеф.

— Возможно,— уронил Великий Молчун.

Когда мы отошли, Борис шепнул:

— Считай, диссертация у нас в кармане.

А меня уже окружили:

— Привет «почти Жолио-Кюри»!

— Счастливейшая из женщин! Такая молодая, такая красивая, такая ученая и с таким благословением самого Молчуна.

— И с таким женихом вдобавок!

— Почти Жолио-Кюри!

Это сказал мимоходом со своей колокольни Андрей Евгеньевич, отец Бориса. Он всех выше и всех интересней. У него тонкое, точеное лицо, а над ним царит купол черепа, голый и совершенный, как точнейшее архитектурное сооружение, отмеченный двумя-тремя пушистыми волосками. Голова марсианина.

Рядом с ним мелькнул Глоба, и, как всегда, я не могла не оглянуться на него.

— Опять ты загляделась на старика,— укорил Борис.— Что тебя в нем привлекает?

— Губа,— точно ответила я.

Когда моя племянница, маленькая Натка, слушает очень интересную сказку, она затягивает нижнюю губу под верхнюю и в забывчивости оставляет ее так. У Глобы вот такая же, по-детски позабытая не на своем месте губа и почти тоскливая мудрость взгляда.

— Бойся его!— сказал Борис.— Он, как спрут, засасывает наивные души в нищету и безвестность экспериментальной физики.

Больше ничего не случилось за день до Топатихи... Нет, был еще один мимолетный разговор дома за час до вылета.

Я с предками осматривала мою комнату, переоборудованную к свадьбе. Я привыкла жить в ней одна, и мне странно было думать, что в ней поселится Борис.

— К нему я привыкну,— сказала я.— Но куда он будет вешать брюки?

Мысль о брюках, аккуратных, узеньких, со складочкой, висящих в моей комнате, почему-то раздражала меня.

Отец взглянул из-под очков.

— У твоей матери эта проблема не возникала...

Мать, конечно, тут же ударилась в воспитательные воспоминания:

— У нас было два гвоздя за дверью вместо вешалки.

— Была и еще одна причина,— вставил отец.

— Он хочет сказать, что я готова была повесить его рваные брюки в передний угол и молиться на них. Как ни странно, но это действительно было.— Мать вздохнула и

поспешно пересела на своего конька: — Что ты о себе воображаешь в конце концов? Только и есть что свеженькая да долговязая. И ненадолго. Ведь тебе двадцать шестой. Вы с Юлькой обе в отца. Давно ли и ей пели в оба уха: «Ах, стильная!», «Ах, перламутровая!». А теперь только и есть что остренький носик да туфли размер тридцать восемь. Юлька хоть успела выйти замуж, народить детей. А ты?! Брюки ей, видите ли, помешали... Наскучит Борис твоими фокусами и плюнет на тебя... Сиди тогда в старых девах с острым носиком. Кого тебе еще надо? Из чудной семьи. Талант, красавец!

— У него отец красивее. Борька какой-то кудрявый... Но ты не огорчайся,— утешила я мать.— Облысеет — похорошеет.

А через час я вылетела в командировку, из-за метели самолет сел на запасной аэродром, и я заночевала в Топатихе, обыкновенной, затерянной средь снежных полей, русской деревне...

Там меня и «перевернуло»... Там началось и «настоящее и будущее»...

Я прибежала в сельсовет и в трубке услышала голос Бориса:

— Лана! Сам Великий Молчун на весь зал заявил о нашей работе! Так и сказал: «Разработки вашего раздела «позитрон — электрон» хватит на двух диссертантов!» Лети в Москву! Немедленно! Смотри — раздумаю «женихаться».

Слова «позитрон — электрон» с грассирующим Борисовым «р» и ироническое «женихаться» вкатывались в прокуренную и затоптанную комнатушку сельсовета, как посланцы из другой галактики.

Я засмеялась:

— Еще что ты раздумаешь — «почти Жолио-Кюри»?

Он рычал:

— Опоздать и на наше совещание, и на сессию академии! Застрять в какой-то Топатихе! Надеюсь, на свадьбу ты не опоздаешь?

Я ответила в тон:

— На свадьбу как раз опоздаю!

Под слепящим солнцем снега ночной метели были диковинно тихи и пышны. Каждая снежинка еще жила сама по себе; каждая еще лежала воздушно, почти на весу, искрясь и чуть касаясь других острыми на морозце гранями.

«Еще не сугробы,— подумала я, по-Юлькиному ощупывая слова.— Сугробы слежавшиеся... плотные... Еще снега... снега... Я и не видела таких снегов!..»

Воздушные, чистые, без единой вмятины, они пели под ногами в тишине малолюдной улицы. Воздух, настоянный на них, оставлял на губах вкус ключевой воды.

Избы под снежными нахлобучками уютно сидели по оконницы в снежных гнездах, и только дым столбами уходил в голубизну.

Хорошо было идти без цели мимо этих домов, под солнцем, ярким, близким и неторопливым.

А в академии уже вечернее заседание. Мне вновь представился многолюдный мраморный зал, маленькие ложи, нафаршированные корреспондентами, юпитеры, сиянье больших лбов, увеличенных лысинами.

Вспомнился Великий Молчун. Его манера, словно целясь, приподнимать левую бровь и щурить левый глаз. Охотничье асимметричное лицо. Пойти к нему в институт? Дистиллированная чистота кабинета.

Нет, в экспериментаторскую. «Пропасть в безвестности». Меня тянуло именно к Глобе — Малышу. Видеть, наблюдать, проверять, ошибаться, искать, находить...

Я представила Малыша — яркую синеву глаз и смоляные брови под седой шевелюрой. И нижнюю губу, как у Натки. И красные руки прачки. Но не отмытые. Лучевая краснота!

Снега пели, а я фантазировала: «У циклотронов десятки безвестных, как те, и бескорыстных. Лысеющие лбы и красные руки... Когда-то Мария Кюри показала такие же красные руки Эйнштейну. Вот она, ваша $E=MC^2$. Энергия равна массе, помноженной на квадрат скорости света...» Пьер и Мария Кюри тоже были «тихие» физики со своим сараем в качестве лаборатории и заводскими отбросами в качестве лабораторных материалов.

Не от снежной ли тишины одолевают меня нынче мысли о «тихих» физиках?

За деревней начинался лес. Темные ветви деревьев были пышно и густо оторочены белым. Снег, забившись в надкорья, с подветренной стороны сверкал на солнце.

Вокруг пня петляли заячьи следы. Я смела с него лапником снежную папаху и удобно уселась.

Весь мир в белой оторочке, в пышности непримятых снегов был обновленным и тихим.

Может быть, поэтому мысли, разбегавшиеся в сутолоке обычных дней, сейчас так отчетливо овладевали мною?

Борис по-своему прав. Теоретикам нужны мозги в голове, карандаш и бумага. Если это есть, считай, что в кармане самостоятельность, диссертация, авторитет.

Физику-экспериментатору двадцатого века нужны еще кое-какие малости... циклотрон, например. А это значит,

зависимость от многих людей. Если опыт неудачен — годы летят в пустоту, а если удачен, то удача — одна из многих! Когда в группе Глобы получили премию, Вася купил киноаппарат, а на лауреатский банкет бегал занимать, и Борис подшучивал: «Подайте лауреату на банкет!»

Почему же сейчас здесь я думаю о работе с Глобой? Или во всем виновата тишина снегов? Может быть, в экспериментальных цехах-лабораториях по-новому возрождается «тихая» физика девятнадцатого века?

Тогда физика не гремела и ничего не сулила. Ей не сопутствовали ни слезы благодарных пациентов, ни лавры сцены, ни вечность архитектуры, ни слава, ни мода, ни деньги. Тогда физиками становились лишь те тихие безумцы, для которых какое-нибудь движение луча в газоразрядной трубке было важнее насущного хлеба. И не оттого ли, что в физике концентрировалось это тихое безумие бескорыстников, она и грянула в двадцатом веке, сотрясая мир от земных недр до космоса?

Циклотроны не газоразрядная трубка, и с виду все иначе. А по существу? Десятки безвестных и бескорыстных, с обожженными руками и ранними лысинами...

Снежная шапка упала с высокой ветки и рассыпалась на лету.

Меня обдало серебряной, сухой от мороза пылью, и вкус ключевой воды на губах стал еще отчетливее.

— И жмыху не дал! — В сенях я услышала взволнованный голос тетки Анфисы.— Раз ты, говорит, не для района, так район не для тебя.

«Вдовуха», хозяйка дома, где я остановилась пережидать метель, слушала, пряча лицо в низком наклоне темнокудрявой головы.

Чтоб не мешать разговору, я прошла в комнату.

Сквозь дешевые портьеры вдовьего, тусклокоричневого цвета, виднелся угол большой печи и расписное коромысло — «чистый фольклор».

— Сперва вышли на крыльцо, рядом-ладом,— рассказывала Анфиса,— и укорил: «Что ты за председатель, если не можешь заставить своих колхозников». А наш Матвеевич налился, как бурак: «А что ты за руководитель, если говоришь такое?! Не они мои колхозники, а я ихний председатель! И не на заставу им я поставлен!» Не исполком, говорит, у тебя, а бочка анти... анти...

— Антидемократии...— тихо подсказала Татьяна Петровна.

— Вот-вот... Тогда и тот взвился: «Жмыху не дам!»

Проводив Анфису, Татьяна Петровна вошла в комнату, по-прежнему не поднимая взгляда.

— Что-нибудь неприятное? — спросила я.

— Велят свинарник строить показательный...— неохотно и спокойно объяснила Татьяна Петровна.— А он не экономичен, нам пока не по средствам... Да и не тому сейчас надо учить колхозников... Мы траншейный строим... Дешевый... «Жмыху не дадим»! — гневно передразнила и с уже знакомой мне сдержанностью оборвала себя: — Сейчас щи разогрею.

Немолодая, полная, она посмотрела на меня ласково и печально, тихо вышла на кухню и скоро вернулась.

В избе с деревянными перегородками, отсчитывая тишину, громко и замедленно тикали ходики. Да, что-то вдовье было в темно-коричневых занавесях.

Но в самой Татьяне Петровне не было никаких следов того, о чем рассказала Анфиса,— ни следов печальной жизни с пьяницей мужем, ни тени недавнего вдовства. Ее не в меру располневшее тело двигалось легко. Гордая, «вельможная» посадка головы, носик с горбинкой и строгий лоб придавали усталому немолодому лицу выражение решительное и даже властное. Оно смягчалось ласково-печальным взглядом светлых глаз. Это соединение в одном лице и гордости и нежности было притягательным. «Усталая, пожилая, но у нее и в сто лет останется это выражение и эти самые «следы былой красоты».

Я уселась на широкой скамье у стола, поджала ноги и, привычно опершись о ладонь подбородком, принялась наблюдать.

Все здесь было непохоже на Москву и на Дубну. Большая печь... ведро и яркое коромысло в углу. «Чистый фольклор». Ансамбль «Березка». Но коромысло висело не для ансамбля. Краска облупилась. Кольца потрескались. На коромысле носили воду.

Татьяна Петровна кроила платье для дочери. Я вспомнила Наткины наряды.

— Сейчас модно для девочки большие карманы. Вот так...

Татьяна Петровна стала старательно выкраивать карманы.

— Будешь у нас красавица... Москвичка...

Девочка, некрасивая, с мышиным личиком («Наверное, в отца»,— подумала я), спросила:

— У вас тоже есть девочка?

— Племянница — Натка... И еще жених есть... Борис,— добавила я для Татьяны Петровны.— Через воскресенье свадьба.

— Сейчас накормлю. Заголодалась наша... невеста?

Она запнулась на слове «невеста»

«На ней уже никто не женится». Я остро пожалела эту милую обездоленную женщину с ее вдовьими занавесками, увядшим лицом, некрасивыми детьми. Мне стало как-то неловко за собственное счастье — за молодость, близкую свадьбу, диссертацию, «перламутровые щеки» и модные брюки.

— Вы, наверное, были невеста-красавица? — Я спешила перебросить словесный мост через пропасть.— Вам не страшно было выходить замуж?

— Я к свекрови в дом шла. Меня тетка-буфетчица взяла из детского дома.— Татьяна Петровна накрывала на стол и говорила не спеша, с паузами: — Определила в пивной киоск... Выдала за сына своей товарки... Чужой дом и работа... чужая...— И, как всегда, она оборвала рассказ о своем: — А вы тоже к свекрови?

— Нет, он к нам приходит.

— Чего же тогда бояться?

— Мне не страшно, а как-то странно... Я с детства привыкла одна в своей комнате... А тут придет... Будет курить... Брюки вешать...

Татьяна Петровна посмотрела на меня недоуменно-осуждающим взглядом и молча ушла в кухню.

Вот так же, тогда, посмотрел на меня отец. Почему второй раз у меня вырвалось слово о брюках? В тишине пустой комнаты вспоминалась вся сцена за обедом... Мои слова: «К самому Борису я привыкну, но куда он будет вешать брюки?! У него всегда такие аккуратные... со складочкой...» Отец взглянул из-под очков: «Когда мы с твоей матерью женились, этот вопрос не возникал... Червячишка ты... Гусеница еще...»

Татьяна Петровна внесла щи.

— Деревенские... с кислой капустой...— Она помолчала и спросила тревожно: — Вы не поспешили? Со свадьбой?..

— Я избалованная... да?..

— Может быть, еще не проверили себя... его?

Меня все больше привлекала смесь нежности и гордости на усталом и оплывшем лице хозяйки. С этой женщиной легко говорить обо всем.

— Он отличный и полностью «проверенный». В школе вместе учились. И в институте. Он был самый способный, и я не отставала. И отцы наши дружат со студенческих лет. И живем в Дубне на одной улице. А главное — мы же оба коренные, наследственные, прирожденные физики. И даже диссертация у нас будет общая... Два варианта одной темы по теоретической физике. И в теннис оба играем, и оба любим Рахманинова. Борис смеется, что у

нас все координаты совпадают. Математически выверенный брак!

— Такое счастье одно на тысячу,—сказала Татьяна Петровна.

— Да... Мне так и говорят, что я в сорочке родилась. Его родители купили в подарок белую спальню, а мои — машину. Может быть, это плохо, когда у человека всего так много?

— Для вас не плохо,—серьезно сказала Татьяна Петровна.—Вы так рассказываете о своей работе... Она ведь главнее?

— Белой спальни? Какое сравнение!

— Тогда пусть всего много! Тогда радуйтесь!..— Помолчав, добавила:—Своего человека только на своей дороге и встретишь.

За тихими словами слышался затаенный смысл.

Татьяна Петровна обещала разбудить меня в пять утра к поезду, но я проснулась раньше.

Окна были занавешаны. В комнате стояла плотная тьма, и только на одеяле светилось белое, продолговатое выпуклое пятно, похожее на полоску ватмана.

«Что это?» Я протянула руку. Пятно, скользнув, легло на ладонь. Блик! Сквозь щель меж занавесками пробился свет. Но отчего такой резкий, почти выпуклый блик? Днем такого не бывает, потому что вокруг нет темноты. Ночью тоже не бывает, потому что ничто не светит по ночам так ярко. Может быть, прожектор за окном? Зачем здесь прожектора?

Я скользнула к окну и отдернула занавески. Не прожектор!

До горизонта под луной сияли снега. Синие тени деревьев, как врезанные, лежали на пышной сияющей белизне. Чернели чьи-то следы, отчетливые, глубокие, до самого верху, как водой, налитые тенью.

Снега сияли ярче луны, словно возвращая ей во сто крат усиленный свет, как эхо возвращает к истоку усиленный звук.

Я прильнула к стеклу: «Снег... снега... снежный... Нежится...» Юлькина лингвистика, но как правильно! Не на постели нежиться, а вот только на таком, на пушистом, бескрайнем. Что может быть нежнее?!

За приоткрытой дверью в кухне зажегся свет. Ходики показывали четыре часа.

Я снова юркнула в постель и сквозь перемежающуюся дремоту следила, как бесшумно двигалась Татьяна Петровна. Она умылась, оделась, приготовила завтрак для детей, накрыла на стол и стала нарезать капустный пирог.

Она расстелила на столе рушник с алыми петухами и стала бережным, даже любовным движением заворачивать в него кусок пирога.

«Берет с собой завтрак,— подумала я, засыпая.— Но как смешно заворачивает, бедняжка. Мы и над папиным юбилейным тортом с циклотроном из крема так не тряслись!»

Перед уходом Татьяна Петровна разбудила меня:

— Вставайте, завтракайте и идите ко мне на ферму. Там полустанок рядом. И видны из окна поезда.

Утренняя метель задержала меня в Топатихе еще на сутки.

Вечером меня вызывала по телефону Москва.

— Ты что, с ума сошла!.. Малашка-колхозница!— кричал в ярости Борис.— За гипероны хвалил не кто-нибудь — Великий Молчун! Диссертация у нас в руках. Оцениваешь?

Я молчала.

Потом тихо спросила:

— Кому ты отдал второй билет на сессию академии?

— Кладу на соседний стул. Принципиально. Я их так выпрашивал. И потом — они именные. Нет! Опоздать и на совещание и на сессию из-за примитивной метели!.. Заехать в какую-то Топатиху! Это надо уметь!

— Ну вот я и сумела.

Я почему-то засмеялась и добавила:

— На доклад Глобы я не опоздаю.

— Понятно. Тоскуешь по нищете и безвестности физиков-экспериментаторов? Сперва надо пресытиться известностью и богатством теоретиков. А уж потом...

— Ладно, пресыщайся в одиночестве.

— Что ты делаешь второй день в своей Топатихе?

— Изучаю колхозную действительность.

— Ну, и какая она?

— Непересекающаяся.

— Не понимаю.

— Непохожая на нашу. Движется на параллельных непересекающихся плоскостях.

Женский скрипучий голос врезался в разговор:

— Топатиха!.. Топатиха!.. Принимайте график вывозки удобрений...

Москву отключили.

Я передала трубку секретарше и вышла.

Под ногами пели снега, на губах я ощущала вкус ключевой воды, а из головы не уходили слова Татьяны Петровны: «Своего человека только на *своей* дороге и встретишь».

РАССКАЗЫ БАБКИ ВАСИЛИСЫ ПРО ЧУДЕСА

Нынче сказка за былью гонится, поэтому я хоть и бабка, а сказок не сказываю. Зато о правдашних чудесах у меня сто побасок и все без прикрасок.

Чудеса бывают разные.

Как сердца космонавтов бьются меж неботёчных светил, я и через датчики не слышала. Рассказать не смогу!

Жалко, да ведь не плакать же.

Видно, каждому свое.

О высокий выси — орел клегчет.

О дальней дали — лебедь кичет.

Далеко до них немудреной пичуге — овсянке, а послушаешь, как зазвенит она к ростепели:

— Сходит снег! Скоро сев! С весной! С весной!

Худо ли?! Плохо ли?!

Тому дивится и радуется, что взгляду обычно и сердцу близко. На орлов и лебедей мне смешно и равняться, а овсянкина песня еще по мне!

Выйду на крыльцо, погляжу на три стороны — все вокруг само просится в овсянкину ли песню, в мою ли побаску.

Прямо взгляну — река вольно течет. А началась она на далеком верховье с малой водоточины. Родник к роднику — заструилась речка. На ней еще не волна, а только так, пáволна, зыбь-чистоплеск. Речка к речке, и вот уже река потекла державно. На ней не зыбь-чистоплеск, а накатная волна-белогривка. В середине быстрина с водокрутами, в берега бьет высок взводень.

И на всех волнах — от малого чистоплеска до возведень-волны — свое солнце! Поплещется, поплещется и вглубь нырнет. А на его место, глядишь, новое набежало.

...Залегли по омутам, крутоярам тысячи солнц...

Пришли люди, понастроили плотин, послала река из самой глуби в каждый дом по солнцу.

Направо взгляну — поднялась крепь лесная.

Бор крупняк, кондóвый, рудóвый бор с золотым надкорьем, с древесиной, смолистой, чистой, красноватой.

Из всего кондовья наилучший бор — кремневик, бор-беломошник, что высоко поднимается на песчаных мхах.

От корня и комля до хвойного кома растет он стройно. Будто у самого солнца красен луч оторвался да и врос в песок. Качает вершинами, подгребает ветвями, плывет да плывет в высокой синеве.

То бор корабельный — людям на долгий счастливый путь!

То бор хоромный — людям на долгую счастливую жизнь!

Хоть сложи из него хоромину, хоть морской строй корабль, хоть надзвездный — засмолит все изъяны, отгонит все невзгоды ядреный смолистый дух.

Налево взгляну — пораскинулась пойма. Давно ли была там буга с оскарником, кочкарь да болотина? Жил на мокродоле кулик-болотник долгоносый. Ночевала в кочкарнике лиса-болотница, шатущая, безнорая. Ползали по оболонью змеи-болотянки.

Пришли люди, пораскинули умом и пошли ломать целину да непашь. Ломают да приговаривают:

— Нива, нива, взрасти нашу силу!

Над пашней уже не кулик-долгоносик, а жаворонок, напольная пташка, взмыл в небо.

Отошло пролетье. Отсветил июль-светозарник, макушка лета.

Настал август, месяц-щедротник, месяц-прибериха.

И вот уже золотое вёдро хлеба колосит.

И стоит нива, взрастив нашу силу.

> В чистом поле
> На четыре воли
> Стоят столы точеные,
> Головки золоченые...

В каждом чуде не без человека. А в каждом человеке не без чуда.

У кого их побольше, у кого поменьше, а что до меня, так в мою жизнь диво по диву, как по стежке, бежит.

Для кого ж о них рассказывать? Только те и нужны побаски, какие сердца ворошат. Ворохни с умом — полыхнет огнем.

А неворошен жар под пеплом лежит.

«А ТЫ НЕ ВОР?»

I

Гостила я далеко от родной Унжи — у среднего сына в совхозе у лукоморья.

Жили беспечально: виноградники растили, рыбу ловили. Тут и застигла война.

Из одиннадцати детей семерых в то же лето проводила на фронт, а сама не ко времени слегла на операцию и в больнице получаю известие о меньшом сыне моем, о Сереже-стриже, о летчике: ранен в хребет, недвижимый, в гипсовом корсете, едет домой.

С наклейкой на животе убегом ушла из больницы.

Кинулась на вокзал — поезда не ходят. Одна дорога к сыну — через море.

Ночью добралась до пристани.

В осеннее ненастье семь непогод: сверху льет, снизу метет, посередке и крутит, и мутит, и рвет, и хлещет, и с ног валит.

В порту затемнение. В черноте море ревет за молом. Фонари брезжат синью, и в синем пано́роке люди — кипят, колышутся, словно бурей их взмыло со дна морского.

В народе, что в туче,— в грозу все наружу.

Жены бойцов провожают, и поют, и молчат, и воют.

Моряки идут литым строем, ленты бескозырок плещут.

Санитары носят раненых на носилках. Вынырнут из пучины, пара за парой, пробегут споро, нырнут в черноту, а на их месте уже другие.

Ходячие раненые проходят чередой — белые гипсовые руки грозно держат наотмашь.

И вдруг грянула за спиною та давняя, с которой еще муж мой покойный Тимофей Алексеевич воевал:

Никто пути пройденного
У нас не отберет...

Оглянусь — и глаза в глаза его увижу. Из какой глуби он поднялся, из какой дали пронес свой голос?

А песня все перехлестнула. И тревожна она, и победна, и кипит под нею вся пристань в синем свете на лютом моряном ветре.

Пробилась я в ту залу, где кассы. Стою в очереди, людьми зажата, а в руках у меня без числа пакетов: фрукты свежие, фрукты сухие, вино лечебное, мед особый из целебных трав.

Стою, об одном думаю: хоть по уши плыть, да у сына быть! Семь сыновей взрастила да четверо дочек, а не было в моей жизни материнского часа главней, чем этот.

Болели мои дети, так ведь дитя телом болеет, душа в нем еще не вызрела, судьба не определилась!

Сережу стрижом прозвали за полет быстрый, точный, будто он острокрыл родился. У него не хребет — судьба перебита.

Где силы ему взять, на кого опереться?

Жены не поспел завести. Товарищи — в небе. Мать и та мотается где не надо...

Стою в очереди, что вокруг меня творится — не примечаю, сама себя не чую, все жизнь Сережину перебираю в уме.

И все почему-то стоит в памяти один случай. Принесла я от соседки индюшкино яичко. Сергунька-пятилеток собирал из яиц коллекцию.

Что ему мерещилось в том яйце? Какой ждал от него радости? Сперва охрип, а потом и совсем слова растерял. Уже не голосом просит — одними глазами!..

Много ль надо было малому для счастья?.. Индюшкино яичко!.. И хватило бы радости до неба! И в одних моих руках была та радость. А я не дала. Покорыстничала.

Теперь не индюшкино яичко — свою седую голову отдала б за одну за его улыбку. Да кому нужна моя голова?

Стою, казню себя за каждый сыновий необрадованный час.

И все думаю: из семи моих сыновей он и есть наилучший! Почему ж раньше не приметила?

За год до Сережи родила я двойню, парнишки квелые, их выхаживала; после Сережи родила первую девочку, долгожданную, Аграфену, с нею носилась. А как Сергуня меж ними проскочил — не заметила.

Теперь вот стою, вспоминаю: не было у меня дитяти деловитей, покладливей, незлобивей.

Двор мести — он первый с метлой. Огород копать — он первый с лопатой. Повзрослел, встал в летный строй — и в строю он первый: «ведущий». В семье ли, в классе ли, в полете ли — так он и был на деле «ведущим», а по скромности неприметным...

Я, мать, и та спохватилась, приметила после времени...

У такой-то вот худой головы, как моя, всю жизнь этак: та и раздойна корова, какую волк загрыз!..

Как бы мне тот разум наперед, который после приходит!

Сынóвья радость теперь не в моей воле. Хоть бы забота моя ему пригодилась!

Только бы мне доплыть до него! Не дам мошке сесть, пылинке лечь.

II

Вдруг кто-то меня в спину толк! Оглянулась. Это теща нашего совхозного директора. Под манто конструкция вроде башенного крана, нос — что стрела. Качает она этим носом:

— Я вас жду, жду, жду. Мне по телефону позвонили из совхоза. Захватите для племянницы чемодан. Здесь вещи большой ценности. Но я вполне полагаюсь на вашу порядочность.

Племянница у нее уехала с весны гостить в наши места, да там и зазимовала.

У меня полны руки. Мне ее чемодан и прихватить нечем.

Распотрошила она его, нацепила мне под кофту выше локтя два браслета, на плечи натянула котиковую шубу. Поверх нее повязала меня до пояса моею шалью.

Залезла я в эту одежду, как в скафандр. Только стеклянного забрала не хватает, а то хоть в космос! При невесомости, может, и хорошо, а на земле стоять тяжковато. А она мне все долбит:

— Это шуба драгоценного неподдельного котика. Ради бога, будьте осторожны! Нынче честный народ весь на фронте, а по тылам ворье. И самый разбой на кораблях. Заманят в каюту, опоят сонными порошками да ночью сонного и столкнут за борт.

Я ее не слушаю, едва дышу в своем скафандре да думаю про Сережу.

Только она ушла, как качнется народ вокруг, как зашумит. Объявляют по радио, что вместо шести пароходов пойдет один, и тот последний...

Люди, как безумные, кинулись кто куда. Рванулась и я. А куда бежать?

Сдавили меня так, что озвездило. Наклейка на животе поотстала, потекла сукровица. Люстра надо мной ходит кругами. Вот-вот упаду, стопчут. Поседелая головушка по себе не тужит. А как Сережа?!

Если водой до сына не доплыть, пешком дойду, на карачках доползу.

Терпи, голова, в кости скована!

Протискиваюсь я к дверям и вижу — из дальнего угла неотрывно глядят на меня глазищи. Глядят-горят черные, в пол-лица, а лицо дурное, испитое, щеки ввалились, заросли махровой щетиной.

Что за человек, я не знаю. Почему он глядит на меня в упор, я понять не могу. Только зовет меня неотрывный взгляд.

И, мыслями не раскинув, будто не своей волей, повернулась я и стала к нему пробиваться.

Все люди к дверям, я одна от ерей. Свертки мои за людей цепляются, вокруг меня ругань:

— Куда ты, старая поперечница, вилы тебе в бок?!

А я неведомо зачем пробиваюсь, да еще и тороплюсь что есть силы к тем глазищам.

Сирена завыла. Половина лампочек погасла. И до этого было темновато, а тут все затянуло синим паволоком. Я думаю об одном: не потерять бы в темноте тех черных глаз.

И смотрю — они тоже сдвинулись!

Тот незнакомый человек взгляда от меня не отводит и сам пробивается ко мне.

Люди плачут и мечутся, сирена воет, а мы, глаз от глаз не отрывая, молча, не переводя духу, рвемся друг к другу сквозь толпу. Добралась я до него, он говорит:

— Есть лишний билет. Скорей! — И бегом к выходу.

Я за ним впритруску.

Тощей лошаденке и хвост в тягость. Свой недоштопанный живот дай бог донести, а тут еще «скафандр» да пакеты. Запыхавшись, добралась до мола.

Темь — хоть око на сук. Только слышно — гремит, грохочет, бьется рядом о камни черная заверть, обдает лицо просоленной мгой. Взошли на пароход, а его качает, как лодчонку-каючку.

Идем самым низом, железным полом, узкими переходами. От машин жар да дрожь. Добралась до махонькой каютки, в углу на отшибе. Две койки: поперечная внизу, продольная наверху.

Я как упала на нижнюю, шевельнуться не в силах. Кружится, зыбится все вокруг — то ли хворь, то ли море меня качает?

Сквозь гул слышу голос моего спасителя.

— Спите,— говорит,— отчалили!

Прыгнул он на верхнюю койку, погасил свет. А меня качает-закачивает. Наклейка на животе напрочь отлетела. Голова горит, сама зябну. Закинулась и шалью, и своей шубейкой, и чужой шубой, а в старых костях все согрева нет. Знобит, мутит, подташнивает. Эх, думаю, море — рыбачье поле, что ж ты вытворяешь?

Я из больницы порошок прихватила от боли. Сглотнула его и как в омут провалилась.

III

Очнулась среди ночи.

Море ли мысли смешало, горе ли ударило в голову, хворь ли ум полонила, только гляжу вокруг и ничего не понимаю.

Синий ночник мерцает. Стены округ меня железного, вороненого цвета. Под потолком казематное оконце — с пятачок. Браслеты сползли, болтаются на моих костях, горят, переливаются в синеве, подмигивают лучеметными камнями. Драгоценная шуба льнет к лицу, обдает тонким чужеродным запахом. Койка подо мною качается. Рана на животе палом палит, а руки-ноги как не мои.

И сама себе я очужела. Сама себя не враз припоминаю.

Как я сюда попала? Почему я в мехах, в золоте? И кто это глядит на меня с верхней койки?!

А оттуда свесилась голова арестантская, голая. Щетинистые щеки провалились, скулы торчат. Над скулами чернущие глазищи так и маячат — зырк на шубу, зырк на меня... Зырк на шубу, зырк на меня...

Припомнила я, что это он меня привел сюда, и чудно́ все показалось мне и жутко.

А пол подо мною качается, а море ревет, а ветер воет пуще прежнего. Обо что он бьется, чью жизнь отпевает? И слышу, он выговаривает: «Не доедешь, старая, до Сережи... Пропадешь».

И тут только вздумалось мне: почему этот темен человек выбрал меня из тысячи?

Ну, была бы я молода и пригожа, понятно бы было: приглянулась.

Ну, стояли б мы рядом, разговорились, тоже понятно: посочувствовал.

Так ведь не было ничего этого! Почему же он изо всех меня позвал? Что во мне ото всех на отличку?

Раздумалась я, шевельнулась, шуба с меня скользнула, как живая, заиграла, залоснилась. И тут меня осенило: шуба! Шуба моя ото всех на отличку! Второй такой шубы на всем вокзале не было...

А если он на шубу позарился, значит... вор?

Тут вспомнилось все сразу: и поглядка его острая, воровская, и то, что каюта эта темная, железная, ото всех на отшибе — кричи, не докричишься! И то, что все он тишком да молчком. Недаром говорят, что опасны людям собака-молчун да тихий омут.

Чуть приоткрыла я глаза, да из-под век гляжу на него. А он о подушку облокотился, голову подпер рукою и опять глазищами зырк на шубу... зырк на меня... Зырк на шубу... зырк на меня...

Лицо узкое, темное, ощетинилось небритою бородою. Вылитый ухорез! Зажмурилась я. А сверху скрипит голос. Он меня проверяет:

— Не спите?

— Нет,— говорю.

— Может, дать вам сонного порошка?

Вот оно! В точности те слова...

В старину по рекам разбойники ходили запасливы — в рукаве кистень, в голенище засапожник. А нынче у них запас мудреней — сонного зелья порошок. Даст, а там — в море. В море упал — сгинул да пропал.

— Нет,— говорю,— батюшка, мне твоих сонных порошков наотрез не надо.

А он не то грозит, не то уговаривает:

— Примите... Лучше будет!

И глядит на меня сверху, глядит, как волк на теля.

«Эх, шуба — моя пагуба»,— думаю.

Неистовы огонь да вода, а неистовей их лют человек. Прижалась я к стенке, зажмурилась, будто сплю.

Чуток приоткрою одно веко, исподтиха взгляну наверх, а он глядит на меня, глядит неотрывно. Шубу, браслеты так и ест глазами.

Опять зажмурюсь. Ветер над морем совсем разбушевался. Шипит да дует — что-то будет?

От качки мутит меня, от раны да от жару все тело печет. И так мне худо, что и смерть не страшна.

Смертный час — неминучий путь!

А как без меня Сережа?

Может, объяснить этому ухорезу напрямик, мол, в чужой обиде разживы нет! Мол, чужое золото не впрок, не в корысть! А коли уж ты привык жать, где не сеял, брать, где не клал,— все возьми, только отпусти меня живую! Не ради меня, ради сына. Кто ему теперь пособит, кроме матери?

Этак, лежучи, подбираю слово к слову, что в дедовской в коляде.

В добрый час молвить, в худой промолчать!

Открываю глаза, а он все смотрит на меня так пристально да так ненавистно, что я всю свою заготовленную коляду сразу позабыла. Только и сноровилась вымолвить:

— Батюшка... а ты не вор?..

Приподнялся он на локте, шею вытянул. Глядел-глядел на меня да как... плюнет!

Подумал, будто что-то хотел сказать. Ничего не сказал, а вдругорядь плюнул.

Отплевавшись, повернулся спиной и утих.

И я пошевелиться не смею, не то со стыда, не то со страха. Одним себя успокаиваю: как ни грозна ночь, а утро не минет.

Лежала, лежала и заснула.

IV

Просыпаюсь. За оконцем обутрело. Море стихло. Тучи над ним каймятся тусклым томленым золотом. Далеко до краснопогодья, а все не ночь!

Белый день, обыденный свет...

Гляжу перед собой—стена как стена. Окно как окно. Насмелилась повернуть голову. Стоит у дверей человек как человек!

Бритый, мытый, пояс аккуратно затягивает, надевает шинель. Со щетиной вся чернота сошла со щек. Лицо тонкое, бледное, взор твердый. Ни вида разбойничьего, ни поглядки воровской... Губы бескровные—одна прорезь. После раны человек или после болезни?

Села я. Глядеть на него не смею.

— Твой меч, моя голова...

Не отвечает.

Обиделся, что за его же ко мне доброту я вором его обозвала.

Выпалишь пулю—не поймаешь, вымолвишь слово—не воротишь!

Я чуть не в слезы.

— Прости старую дуру. Я понять не могла, из-за чего ты среди тысяч выбрал меня, Думала, из-за шубы.

Затянулся он поясом, пошел, у самых дверей обернулся, усмехнулся злобно:

— Из-за чего выбрал? Из-за дурости моей. С тоски, что ли, показалось мне... там... на пристани... что матери моей очи, прощаясь со мной, так же плакали... Расстреляли ее фашисты... Вот о ком я, дурак, глядя на тебя, вспомнил, тетка! А шубу твою и золото я только в каюте и заметил. Все глядел ночью и удивлялся. Сразу видно, что не с твоих плеч. Видно, кому война, а кому разжива! Выдает это барахло твою спекулянтскую душу... А лицо у тебя обманчиво! По лицу пакостных дел за тобой не заподозришь. И поганых слов от тебя не станешь ждать.

В третий раз сплюнул он и ушел. И объяснить я ему ничего не поспела.

Искала я его по всему кораблю. Искала и не нашла.

Отчего же свои побаски начинаю я с этого случая?

Ведь в тот час на вокзале сыновья печаль и материнское горе молча издали опознали друг друга.

В толпе, в тесноте, в тревоге сыновье сердце и материнское издали без слов перекликнулись, рванулись навстречу, заспешили, пробились...

КВ и УКВ, радиосвязь из космоса — это диво большое, праздник разума.

А тут не в космосе, в привокзальной сутолоке, а ведь тоже диво!

Поверила бы я в него, был бы у меня, кроме своих семерых, восьмой нечаянный сын, у детей моих — восьмой нечаянный брат.

А я, мухоротая старуха, смельтешила умом. Человек ко мне, как сын к матери, а я ему: «Ты не вор?»

И вот расплевались да разошлись.

На час ума не стало — век не огоревать дурости.

Может, умолчать бы мне о старушечьей оплошке?

Мои побаски — не сказки. Жив человек не без промаха, нагольная правда не без горчины.

Подслащивать не хочу!

Что сладко да пресно, то тлеет, тухнет, а с соли да перца хоть терпнет, да крепнет!

С изнороком, с умыслом начинаю я свои побаски с моей окаянной спотычки. Кого за пример брала? Век прожила, умудрилась, знаю: свинья неба не видит!

А и доведется свинье на небо взглянуть, так она и небо сочтет за свою помойку.

Недоверы, слепогляды, малодушники чуда распознать не умеют.

А кто чуда не примечает, тому оно и в руки не дается, у того и жизнь протекает скудно, мозгло, без сердечного привета, без алого цвета; тот ни смолоду молодец, ни под старость старик: живет — не человек, умрет — не покойник.

ПЛЯШУТ СЕРЫЕ ВОЛКИ...

I

Крута гора, да забывчива, лиха беда, да избывчива.

Выходила я Сергуню и как из ямы выскочила — гляжу на землю и на радостях словно впервые ее вижу.

Весна всегда обнадежлива, а весна сорок четвертого года была поворотная, победная.

Назначили Сережу начальником аэродрома, а я побоялась его покинуть, за ним увязалась.

Городок пять дней как из-под немцев.

Устраиваюсь на новоселье, а в дверях — трое птенцов, соседкины дети, солдатские сироты.

Двое совсем гнездари, вместо волосьев еще пух. А

третий уже взлеток — мальчонка лет двенадцати. Сам хилый, шея что ниточка, голова огромная, на шее не держится, так вперед лбом и клонится, а уши оттопыренные, прозрачные на свету.

Того и гляди, хлопнет он ушами, как крыльями, да и взовьется в небо — долго ли ему такому?

На московском аэродроме показывал мне Сережа машину-вертолет. Хвост тоненький, впереди кабина большим пузырем, что голова у головастика, а винты-лопасти и того больше — в точности как этот мальчонка.

Засмеялась я и спрашиваю:

— Как тебя звать, Уши-Вертолет?

На улыбку не отвечает. Называет полное имя:

— Пантелеем Устюжиным. Отца так же звали.

У меня с полкило хлеба оставалось. Все трое глядят на него неотрывно. Разделили на три ломтя.

— Мать-то скоро ль придет?

— Она до утра на работе.

— Ну, слава богу, нынче и я не без доли: хлеба нету, так дети есть! Ешьте! Что ж вы тут при фашистах делали?

— Ночью копали прошлогоднюю картошку. Днем прятались. Читали книжку «Как закалялась сталь».

Говорит и твердо, а странно — будто спросонок. Глядит, разинув глаза без смысла, не то старичком, не то Иванушкой-дурачком.

— Вы в этом доме всю войну жили?

— Мы под домом жили... В яме... И над домом жили... На чердаке.

Стала я печь затоплять, а он заторопился девчонок увести. Я его спрашиваю:

— Ты чего, Пантелей Устюжин, их уводишь?

— Они пугаются.

— Или не видели, как дрова жгут?

— Мы на той неделе видели, как людей жгут.

«Ах ты, думаю, малец-бывалец, солдатская сирота! Что ж из тебя из такого получится?»

II

Пошли мы в магазин отоваривать карточки, получили пачку папирос да вместо хлеба муку с отрубями — пекарни еще не работали.

— Вот и ладно,— говорю.— «Невеян хлеб — не голод, посконная рубаха — не нагота!» И в старину, бывало, люди мудро говорили.

Идем, разговариваем о том о сем, а солнце веселит. На

подходе март — подточи порог. С холмов вода, рыба с гор! Уж щука хвостом наст разбивает, уж медведь встает, черногузка прилетает, уж курочки на улочке. Скоро пчел нести из омшаника.

В тени еще кусты в куржевине, а на солнечной стороне — капель-водоклев. Все каплет, звенит, поблескивает, весь воздух в алмазной нанизи. Все призывно, все мне знакомо — пятьдесят восьмую весну я встречаю, мало ли?!

Иду по знакомой земле, а земли не узнаю. Белый свет вывернут наизнанку.

В домах ни стен, ни крыш не видно, а внутренний обиход — кровати, столы, стулья — все на виду.

Потолочные железные балки скручены жгутом, как тряпичные, а на столах стаканы блестят целешеньки.

Деревья мертвы, одна обгорелая голомень без ветвей; на ветру и шевельнуть нечем. А железо по всей улице дрожит, как живое, скрючено, скорчено, дребезжит, цепляется за подол.

И люди попадаются непонятные: старики бормочут, улыбаются, как малые, а дети молчат, морщин не расправляют, глядят стариками.

А над всем этим капель-водоклев, весенний звон.

И доносится песня, какой за всю жизнь не слыхала. И не в том суть, что поют на чужом языке, а сам напев чужого чужее.

Мерно, мутно, мрачно, монотонно, булыжник за булыжником, катится слово за словом. Будто люди сами себя отпевают и по своей воле в свой гроб забивают гвоздь за гвоздем... И что всего страшней — нет в той песне человечьей печали. Будто те, кто сходит в могилу, сами себе не милы и жизнь прошли такую паскудную, что в смертный час им встосковать не о чем...

Мерно, монотонно, слово за словом... гвоздь за гвоздем... гвоздь за гвоздем...

Из-за угла на белый снег выползает черной, дряблой, недобитой гадюкой шеренга пленных фашистов. Уж и не солдаты — наброд с приволокой. Сели на кирпичи, дожидаются своего транспорта. Проходящий народ оглядывается.

Тут, будто прямо из весенней просини, наш капитан авиации. Молодой, голубые петлицы на нем, серебро на пилотке. Стал возле своей машины закуривать, увидал пленных, бросил им пачку папирос и умчался.

Пошел говор. И я, конечно, вступила:

— Добр человек! Их бы огнем пожечь, мечом посечь, конским хвостом пепел ихний разметать. А он им папиросы.

Мне возражают:

— Чего уж теперь?

Я горяча, да отходчива.

— И вправду,— говорю.— Орел за комарами не гонится.

Гляжу, мой малец-бывалец заелозился.

Вынимает из кармана папиросы, берет сестренок за руки, и идут три ходячих немощи оделять пленных.

Один из них сидел в стороне, на груде горелого кирпича. Мундир на нем на отличку. Щеки обвисли, а кожа белей сахара. Нос выгнутый, ястребиный, пальцы тонкие. По всему видно — холеная порода, выкормлена на петушьих гребешках да на щучьих щечках. Сидит, не шевелится, одно брюхо вздрагивает, как зажорное болото. Водянистый взгляд идет поверху — меж землей и небом.

Гляди, выкормыш, округ себя, гляди на горькую нашу землю! Твоим старанием она горем засеяна, слезами полита. Не уводи глаз своих — гляди на нее!

Не глядит.

Гляди, выкормыш, на небо! Проси у неба смерти! Хватишься за ум — помрешь, хоть стыда не будет на живой голове! Не уводи глаз своих, гляди на небо!

Не глядит и на небо.

Не глядит ни на землю, ни на небо, промеж землей и небом уводит зенки.

Пока вела я с ним бессловесную беседу, гнездарь мой, девчонка-оборвыш, шасть к нему! Протянула грязную ладошку с мятою папиросой. Он шарахнулся, как черт от ладана, и такими глазами на нее глянул, что она зашлась.

Трясется и кричит:

— Этот! Этот! Этот!

Народ кругом разволновался:

— Узнала того, который дома жег...

— Бывают солдаты подневольные, а этот коренной фашист...

А у фашиста из гляделок высочились слезы. Зубы разжал, прихватил мокроту губами, всхлипнул, как маленький.

И снова пошел говор:

— Не вовсе кат, если плачет.

— Кат не кат, а кату брат!

— Бить его, а не приласкивать... Тоже добряки нашлись.

И тут, нá тебе! Вступается мой ушастик и говорит:

— Победители не мстят...

Уши алые, как заря, а головенка вскинута.

— Эх ты,— говорю,— Уши-Вертолет... «Победитель»!..

...На талой дороге у горелых кирпичей свела судьба матерого выкормыша с птенцом-заморышем.

Выкормыш плачет, заморыш грехи отпускает.

Не чуднó ли?

Кто ты, Уши-Вертолет, «победитель», солдатская сирота? Сколько лет скитался по чердакам и подвалам с отцовым именем да с книжкой в руках, не хлебом выкормлен — тоской. Откуда ж в тебе сила дарить, укрощать и миловать? Что из тебя такого вырастет?

И кто ты, слезливый выкормыш? Вовсе кат или не вовсе? Хоть слезы-то у тебя человечьи?

III

Я загадки загадываю, девчонка плачет, а брат ее уговаривает:

— Не плачь. Пойдем посмотрим, как волки пляшут.

Я думаю, он ей из сказки говорит, утешает.

Идем дальше. Кругом звон-перезвон, а следом за нами тянется та песня, монотонная, мутная, замогильная.

Подошли к вокзалу — он перерезан напополам, как коврига ножом, а люди в нем бегают, на машинках стучат, крутят телефоны. Сосульки на солнцепеке обламываются прямо на канцелярские столы.

Завернули за угол, пошли садом. Ведут меня птенцы к поросшему кустарником овражку. Обогнула я кусты — и шарахнулась: ринулась нам навстречу волчья стая!

Трясясь от радости, подскакивая, всею хребетиной ластясь и виляя, дыбятся серые, мышастые, матерые...

Пять клеток установлено в кустах, за барьером. Как войдешь в тень с весеннего блеска, не сразу разглядишь меж ветвями железные прутья.

Дыбятся волки, поднимают когтистые лапы, качают большими головами, ласково повизгивают, подзывают. Лучшая собака так не кидается навстречу хозяину.

И чем мы ближе, тем старательней волчьи пляски.

Тощий щенок-облезлыш то припадет на спину, то взметнется к потолку, то сует в решетку лапы, не по-щенячьи большие.

Молодой волк-пролеток выбивает дробь передними лапами, ровно барабанщик.

Сзади дыбится старый порыскучий волчище. С телка ростом, от древности выжелтел, уж не серый, а с боков рудо-желтый, с темным ремнем по хребетине. Поднялся на задние лапы и покачивает большой головищей.

И у всех у них пасти приоткрыты, белые зубы поблескивают, да не в рыке, не в злом ощере.

В умилении, в радости, в просьбе, в трепете улыбаются в лицо нам белозубые волчьи пасти...

Возле клеток на скамейке сидел старичок. Я к нему:

— Что за невидаль? Цирковые они, что ли?

— Зачем цирковые?.. Обыкновенные... Из брошенного зверинца.

— Кто ж этих волков научил ласкам-пляскам?

— Небось сами выучились.

— Что ж их так дивно выучило?!

— Голод да железо...

Разговорились мы со старичком, и стало мне все понятно.

В волчьей колке готовой пищи нету, да зато и железа нет: свобода для зубов — нападай да терзай!

В зверинце кругом железо, свободы зубам нету, зато пища готова: дождись, и дадут.

А в брошенном зверинце ни свободы зубам, ни пищи. Голод да железо! И не одолеешь их ни грызней, ни жданкой... Только лаской-пляской и промыслишь мосол.

Из привокзальной немецкой столовой стали носить для забавы волкам кости.

Поначалу бросались волки навстречу с рыком. Однако кто с рыком, тому костей не перепадает, тому подыхать с голоду. А какой волк поласковей, позабавней, тот, глядишь, спроворил мосол и не подох, уберегся.

И зимы не прошло — обласкались, обсобачились. Научились и хребетиной вилять, и пастью умильно щериться, и на задних лапах ходить, и к потолку прыгать! Сами собой превзошли все ласки-пляски, да еще и скоростным методом.

Голод да железо за месяц обучили тому, чему не выучат и за сто лет оба Дуровых.

IV

Стали мы с ребятами наведываться к волкам. Наберем оглодышей в привокзальной столовой и пойдем поглядеть на волчьи пляски.

Однажды сижу на скамейке и вижу: мой Уши-Вертолет встал у самой клетки.

Всегда мы кости волкам бросали из-за барьера, а тут

он доверился волкам. Протягивает руку, а навстречу из-за прутьев просунула морду молодая мышастая волчица.

Я вся обмякла от страху. Что делать? Побежать? Не поспею. Крикнуть? Парень упрямый. Только поторопится сделать, что задумано! Его криком не остановишь, волчицу осердишь. Гляжу — не дышу. Все ближе да ближе ладошка.

Прижалась волчица брюхом к полу, лежит, не двинется, не шелохнется. Морда чернеет меж прутьями. Хоп! Блеснула зубами, ухватила кость. Я дух перевела, а она бросила кость и снова — шасть к прутьям.

И кровь, кровь, кровь по снегу.

Сообразила она, значит, что кость — оглодыш, а тут, возле самой морды, не кость, живое мясо.

Скатилась я кубарем, вытащила ушастика из-за барьера. Молчит, крепится, понимает — сам виноват. На руке у него, на среднем пальце, суставчик как срезан.

Волчица в угол забилась, лежит недвижимо, только шерсть стоит на загривке да глаза облудели, пеленою покрылись, туском.

Свела я мальчонку к доктору. Веду оттуда домой, ругаю что есть силы:

— Обласкался волк, а ведь зубы-то у него все те же! Об чем ты, уши безголовые, думал?

— Я думал, как Дуров. Мама рассказывала.

— Не Дуров ты, а Иванушка-дурачок или сам Лутоня-махоня.

— А это кто — Лутоня-махоня?

— Умный, прежде чем выстрелит, прицел берет, расчет ведет, а Лутоня-махоня на трех сваях держится — авось, небось да как-нибудь.

— Я на эту волчицу прицелился и по дням считал. Каждый день на сантиметр ближе. У меня и расчет и прицел был.

— Гляди,— говорю,— какой меткий стрелок, попадешь в чисто поле, как в копеечку!

Да с досады щелк его по лбу!

Только ушами пошевелил:

— За что ты меня?

— Не будь оплошен, будь начеку! Что конь леченый, что недруг замиренный, что волк кормленый... Нету в них правды и не будет.

Поглядел на меня, покачал головой:

— Неправильно говоришь.

С досады я его еще крепче стукнула:

— Ах ты, волчья снедь! Туда же еще, спорить! Ходи всю жизнь без пальца, раз глуп да упрям, Лутоня-махоня, Уши-Вертолет!

V

Вскоре я уехала. Много минуло лет. Много испытала и радости и горя, много повидала чудес, а все не позабылись те волчьи пляски. Сама ли увижу фальшивую ласку, в газете ли прочту про облыжные, льстивые речи — сразу вспомню.

И бывает, прибредится в тревожном сне все, как тогда: вокзал, перерезанный пополам, капель-водоклев, а вдали монотонная вражья песня, под которую впору грешникам заколачивать гвозди в свои гробы.

И под эту похоронную, под весеннюю капель-перезвон, щерясь волчьими улыбками, кругом, цугом, пляшут-скачут серые, мышастые, клыкастые, матерые...

Пляшут серые волки...

А того чаще вспоминала я про мальчонку, что, сидючи в подвале, надумался, начитался, натосковался, а вылез из подвала — и с доброй ладонью в волчью пасть.

И чем-то утешал меня, дурочку, Иванушка-дурачок... Настигнет ли беда, наткнусь ли на лихого человека — вспомню про него, да и подумаю: а ведь русский Иванушка-дурачок хоть не сразу, да одолел всех хитрецов. И не дурачок он. Он умен, да не умничает, силен, да не петушится. Отдает разум и силу не пустой похвальбишке, а правому делу.

И захотелось мне узнать про Иванушку-дурачка, «волчью снедь». Разыскала концы, послала письмо. В ответ получаю телеграмму: «Еду пароходом двадцатого Приходите пристань повидать Уши-Вертолет».

Встречает он меня на пристани — сам щуплый, волосы раскудрявились, лбина огромная, уши поуменьшились, а все на свету розовеют. Повел он меня к себе в каюту, рассказал: кончает зоологическое отделение, едет на практику с экспедицией.

Я спрашиваю:

— Помнишь ли волчьи пляски и как ты, несмышленыш, со мной спорил?

Он не ответил, а тихонько свистнул.

Из-под стола вышла овчарка. Только гляжу, лапы больно когтисто стучат по полу, да хребетина остра, да загривок могуч, да голова крупна не по-собачьи, да хвост палкой.

— Волк?! — отодвигаюсь и бранюсь со страху: — Ах ты, волчья снедь, Лутоня-махоня, Уши-Вертолет! Видно, мало с тебя одного пальца! Покуда тебе все десять не отгрызут, не наберешься ни острастки, ни разума!

А он улыбается и сует в волчью пасть ладонь да перебирает пальцами меж волчьими зубами. У меня и сердце захолонуло от страха и от надежды.

— Милый...—говорю,—неужто добром добился? Неужто совсем без железа?

Улыбнулся Уши-Вертолет грустновато:

— Врать не хочу...

Вынул из кармана левую руку. Пол-ладони недостает, а та половина, что осталась, вся в рубцах. Этой рукой приоткрыл чемодан, а в нем намордник, да ошейник со сторожкими шипами, да револьвер аккуратный вороненого цвета. Железо на железе.

— Держу под рукой,—говорит.

Прощаться ли с надеждой моей, с Иванушкой-дурачком, что столько лет утешал мне сердце?

Нет.

Пусть оно лежит под рукой—каленое, граненое, вороненое! Пусть лежит, да не под всякой рукой! Лишь под такой вот, что сама себя не пожалела для доброй воли.

Под такой рукой и огонь осторожен,и пуля праведна, и железо надежно. Пусть лежит оно, надежное, под доброй рукой.

И пусть пляшут вокруг той руки серые волки.

Один волчий век пропляшут, второй волчий век пропляшут, а на третий век, может, и допляшутся до края людской души?..

ИЩИ НА ОРЛЕ, НА ПРАВОМ КРЫЛЕ...

I

Семь сынов родила, а восьмой—долгожданную дочь Аграфену, Гранюшку-улыбушку, золотые волосики.

Тимоша, муж мой, спросит:

— Ты хоть расскажи мне, мать, как она плачет?

А я и разу того не видела!

Ни с одним дитем я так не носилась, как с нею.

Помню, первой ее весной, схоронюсь с ней в дальний угол сада. На березах только лист бросился, яблони цветут купно, сильно. Тихий белый цвет опадает, кружится над дочкой. Мотыльки над ней вьются. Она тянется к ним, лепечет по-своему. А вокруг синь да тишь.

Где-то о край сада жук пролетит—и того слышно.

Я притихну и у неба ли, у земли ли одного беззвучно прошу: чтоб лист над ней не шелохнулся, чтоб само время остановилось!.. Чтоб не скользнул взгляд завистный, не обронилось неосторожное лишнее слово...

И идут часы над нами, солнечными лучами неслышно по травам переступают.

Подойдет Тимоша, остановится. Тихо скажет:

— Что за дивное дитя у нас народилось?

А я боюсь счастье вспугнуть:

— Тс... Молчи, отец...

Бывало, ночью в июль-грозник вспыхнет небо далекой белокальной грозой. Я мальчишек укрою, а дочь перетащу на свою постель, наклонюсь над ней и прошу кого-то:

— Пронеси калинники мороком... Разойдись, гроза, тихими облаками...

Почему я из всех своих детей за нее больше всех дрожала?

Почему для нее просила у судьбы тишины и безгрозья?

Или у матери вещее сердце?

Дрожать я над ней дрожала, а наваживать ее не наваживала. С пяти лет усажу ее носки штопать на всю нашу ораву и приговариваю:

— На нас с тобой, на двух старших женщин, целая ватага.

Росла и в труде и в ласке, выросла помощницей матери, а в школе верховодкой. После того как погиб мой Тимоша от кулацкого обреза, переехала я со всем своим выводком к Матвею, к старшему сыну — забойщику, в шахтерский поселок. Граня и там впереди других умом, характером, красотой.

У нас кроме нее три дочки, у них подружки, у сынов ухажерки — в доме девушек-красавушек целый хоровод!

А войдет моя Аграфена — она одна лебедь, кругом серы утицы!

По отдельности разбирать — и лицо темновато, и скулы широковаты, и глаза узковаты, и нету в ней никакой особенной красоты. А вся стать ее, повадка такая, что не наглядеться. Глаза и узковаты и посажены глубоко, а взгляд синий, лучеметный. Лицо смугло, а гладкие волосы светлого медового цвета. Чело ясное, широкое, и вольно пораскинулись на нем золотистые брови.

В пасмурный день войдет она в комнату, и все вокруг посветлеет — золот луч лег на лоб, запутался в волосах, в бровях, в ресницах, да и прижился там, приручился.

И легка, и крепка, и округла, и длинновата, как лодка на волне.

Приезжал из Москвы композитор, увидел одну ее походку — из машины вылез, бросился догонять.

Оттого, что нрав у нее уж очень открытый, ни зависти

вокруг ее красоты, ни пересуда. Ей пятнадцать лет только стукнуло, а уж к нам прибегали соседки:

— Мой с пути сбивается, выпивать начал. Власовна, скажи своей Гране, чтоб с ним поговорила.

Говорит она, бывало, с шуткой, с пересмешкой, а поселковые архаровцы ее слушают, как бóльшую.

Голос у нее низкий, переливчатый, смеющийся, так жизнью и плещет. К моим словам и прибауткам она переимчивее всех моих ребят. Речью она в меня, да еще тем в меня, что усмешлива и над людьми и над собой. Только у меня для людей насмешки хлеще, а Граня усмехается веселее, да и то чаще над собой, чем над другими.

Не дочка выросла — заискрился в доме алмаз-самогранник, алмаз-истовик, без подделки, без изъяна.

Композитор, который к Гранечке женихался, говорил, что написано им полсотни песен. Во все душа вложена, все ему дóроги, а всё только прикидка да примерка. Изо всех одна есть, та самая, ради которой на свет родился, после которой и умирать не так боязно.

Так и у нас с Тимошей. Одиннадцать детей вырастили, все милы, все хороши, а средь всех одна, как тот напев у песенника.

Пойду, бывало, под выходной в парк, поглядеть на молодежь. Увижу, как наша Граня в баскетбол играет, как танцует, как в круг плясать выйдет: «Берегись, ожгу!»

Вспомню своего Тимошу да подумаю: не зря мы с тобой жизнь жили, друг дружку любили.

Видно, все то лучшее, что за тысячи лет накопилось и в моем и в Тимошином роду, все в ней собралось и отчеканилось. И хватит этого накопленного на тысячи лет вперед — на детей ее, внуков и правнуков.

Из веков все лучшее она в себе собрала, чтоб векам передать!

Спели и мы с Тимошей свою песню, пой не пой — лучше не пропоешь.

II

Женихи Граню ждут у каждой калитки, ступить девке некуда.

И ведь бывает так в жизни — кто живет на реке, водой не дорожится, кто живет на лугах — за травой не гонится. Моя Граня по женихам ходит — женихов не замечает.

Сперва я радовалась: молода, мол, еще, не из дома, в дом глядит. Да ведь годы идут!

Одна из сестер замуж вышла, две других заневестились, а наша красавица не то что не замужем, а еще и разу не целована ходит.

Увидит, как сестренка весь вечер сидит с женихом на лавочке, так еще и дивится:

— Весь вечер обнимались? Неужели не скучно?!

А я уж не знаю, что мне об ней и думать. То радуюсь, что она до сих пор при мне, то страх возьмет — с чего она у меня такая?

Бабий-то ум что коромысло — и криво, и косо, и на два конца!

То себя самою вспоминаю.

Я в шестнадцать лет увидела своего Тимошу и приклеилась к нему до самой смерти. Бывало, уедет, так я ему в письмах стихами пишу:

> Без тебя, мой друг, постель холодна,
> Одеялочко заиндевело.

Младшие девчонки в меня — времени не теряют. А эта будто другой породы. Начну ее уговаривать:

— Я в твои годы трех ребят люлькала. Изгаснет молодость-то.

Она только смеется:

— Было бы счастье, а дни впереди! А счастье будет. Я счастливая — разве по мне не заметно?

Приметила, что мне не по сердцу ее смешки, обвилась вокруг меня:

— Ой, мама, мама, все мои женихи хороши! Я бы за всех разом вышла, если б с ними можно было, как дома с братьями... Если б они до меня не докасались.

Видали вы такую?! Выйдет замуж, так муж еще и не докоснись до нее!

— Не из снегу сделана! Не растаешь, коль и докоснется.

— Сердце не допустит.

— Гляди-ка ты — «сердце не допустит»! Так что ж теперь, всему роду человеческому перевестись — твоего сердца слушать? Живое на жизнь родится! Жизнь, она вон какая щедрая! А ты сама попользовалась, и все?! Я этих нерожих баб смерть не люблю! Моя б воля — я б каждый год по двойне носила. Живите! Хватит на земле радости для каждого разума!

Она прильнет ко мне да укоряет:

— Что вы меня гоните от себя, мама!

И, видно, Граня отроду такая — как будто и не спорит, а верх берет! И уж все мысли повернулись в тебе другим

концом. Шелк не мнется, булат не гнется, красное золото не ржавеет, честная девушка до срока не повянет!

А главное, кого из женихов я к ней ни прикину,—все хороши, а ей ровни нет!

Видно, Гранюшка лучше меня чует, что ей надо: своей пары ждет, своей судьбы дожидается.

Училась она на историческом факультете, а читать любила про первых коммунистов да про гражданскую войну.

Вечером затеет читать вслух письма Дзержинского или песню заведет про матроса Железняка. А я заслушаюсь про дивных людей, загляжусь на свою несравненную дочь и размечтаюсь.

Прилетит, думаю, к моей орлице большекрылый орел с высоченных гор. Тогда и свершится ее судьба...

III

В первые месяцы войны она, а за ней и третья моя дочь, Клавдюшка, кончили курсы медсестер. Легко и безбоязненно уходила на фронт. Выросла в тишине, в мире, ни кровавых дней не видела, ни лихих людей. Малое дите волка в лесу за собаку примет!

Перечила я, в ноги кидалась. Граня оборвала меня:

— Возьми наши головы с плеч да спрячь за пазуху! Сохранней будут.

Ушли обе.

Клавдюшка за три года на фронте двух женихов сменила, за третьего там же вышла. Приезжает ко мне майорша, пузо на носу, рожать собралась.

И рассказывает она мне:

— Наша Аграфена тоже жениха завела.

Я так и села:

— Что за человек?

— Простой лейтенант. Сам командир дивизии вокруг Грани вился, дала поворот. А тут...

Я криком на нее:

— Каков человек, говори!

— Работал механиком в МТС. А каков человек... Сама Аграфена того не знает. Всего двое суток знакомы.

Растревожилась я, хоть и не больно тем словам поверила. Я свою Кланьку знаю—девчонка хорошая, да язык у нее мягок: что хочет, то и лопочет, чего не хочет—и то лопочет!

Вскорости получаю от Грани веселое письмо, пишет про наступленье, про победы, а потом вдруг такие строки:

«Читаете вы, милая мама, мое письмо, а того и не знаете, что пишет вам девчонка-сговоренка».

И дальше описывает, как при временном отступлении выносила она с поля раненого, подвернула ногу, задержалась и попала в открытом поле под обстрел, под прожекторы. Тут, откуда ни возьмись, лейтенант. Стал ей помогать.

И как начнут стрелять, так он и ее и раненого загораживает собой. Пишет она мне: «Никому б я не созналась, мама, только вам. Помните, я говорила: «Сердце не допустит». А тут... Я еще и лица его не разглядела. Ночь. Раненый стонет. Стрельба. А как он наклонится надо мной, сердце само просит, чтоб он еще поближе ко мне склонился».

С непривычки она испугалась сама себя и, как добрались до своих, уехала, не простившись. Да и затосковала. «Каждый день об одном о нем думаю, а не знаю ни имени, ни фамилии».

Через месяц он ее разыскал. Провели они вместе полтора суток и договорились после войны жениться.

Вскорости появился и сам жених. Летел в командировку на танковый завод и завернул на единый час — познакомиться.

Взглянула я на него раз, а второй и глядеть не на что. Худощавый, тихий, лицо узкое. Не на механика — на учителя похож. Передал привет от Грани и умолк. Стала угощать. В еде, гляжу, догадлив: на масляную кашу и пояс догадался на одну дырку поосвободить. Поел старательно, но опять молча. Поест и взглянет. Подбавлю, опять съест, а просить не попросит. Как пришел, так и попрощался, молчун молчуном.

Бывает, молчат от сердечной скупости: скажешь красно, по людям пошло, а смолчится, себе сгодится! Бывает, молчат из трусости: крепкое молчание ни в чем не ответ.

А этот чем скупится, какого ответа боится? Почему молчит? Расстроилась я. Он это заметил и уж на пороге заговорил:

— Вы, Василиса Власьевна, не бойтесь.

— А мне-то чего бояться? Ты бы не испугался.

— Я в хвосте у Грани не поплетусь. Вровень пойдем.

С тем и ушел.

Не лучше он, а хуже ее прежних женихов. Как Гранины зоркие очи того не углядели?

По-своему, попросту, по-житейски прикидываю. Ночь да война — край жизни! Чего не случается! По годам моей Гране давно бы в бабах ходить. Стекло да девку береги до изъяну. Верно, не убереглась дочка, а там по своему характеру не захотела идти на попятный. Раз, мол,

случилось, то так тому и быть — ровня не ровня, а муж. А какой этот молчун ей муж?

Не скот в скоте коза, не зверь в зверях еж, не рыба в рыбах рак, не птица в птицах нетопырь, не муж в мужьях, кто жене по колено!

Как бы не война, слезами б ревела. А война научила разуму. Об одном думаешь — девкой ли, бабой ли придет, лишь бы пришла! Жива будет — разглядит, даст поворот тому молчуну.

Дождется своей судьбы...

IV

В последний военный год получаю письмо от врача из госпиталя — тяжко ранена моя Граня. Приезжаю. Приглашают меня к начальнику госпиталя, говорят: отняты у Гранюшки руки-ноги. Сначала отбило у меня понятие. Ни слезы, ни крика. Сижу тихо. Объясняют — слушаю тихо. Повели меня к Гране — иду тихо.

Ввели в палату.

Лежит на белой подушке красота неописанная. Личико похудело, щеки пламенеют, глаза длиннющие шире раскрылись, и от боли, от горя ли синева их ударила в прозелень.

Зеленеют горько-соленой морской волной и горят, горят, огнем бьют в лицо.

Бросилась я к ней, да как увидела, что ниже колен, где стопам ее быть, гладкое место, да как вскинулись мне навстречу вместо белых рук две марлевые культи,— отлетело от меня дыхание.

А она мне улыбается и ровным, сильным своим голосом говорит:

— Вот ты и приехала, мама моя милая. Познакомься с медицинской сестричкой Верочкой. Знаешь, какой она молодец? На ее дежурстве ни один раненый не умирает. Проведет через самый краешек, а упасть не дает.

И говорит, говорит мне про сестру, чтобы, значит, дать мне опомниться. И голос у нее сильный, веселый, только дивно ровный... без того, без Гранина перелива... На одной-разъединой ноте...

Слушаю я, а в глазах все кружится, все колышется — стены, окна, двери наплывают друг на друга, и все пробивает и жжет огнем взгляд ее горько-соленый, синий с прозеленью.

Лежит она передо мной, гордость и радость моя, дочка, для которой все ждала я небывалой судьбы.

Лежит передо мной без рук, без ног...

Свершилась судьба ее.

Вывели меня в госпитальный двор. Лекарствами поят, обмахивают газетами.

Летят серые тучи по небу, ветер, пыль, да пески переметные, да бумажки какие-то гонит по земле. Куда гонит? Зачем?

Думала, дочка моя, орлица, красавица, пронесет нашу с Тимошей плоть-кровь через тысячу лет. А она и себя нести не в силах.

Бренна, скудельна жизнь... Все от земли, от праха...

Одиннадцать раз в муках рожала. Одиннадцать раз сквозь кровь и слезы радовалась — в мире дите мое народилось...

Зачем рожала? Чему радовалась?..

Мне б еще с полвека назад пасть под заступ в могилку да закрыться глухою дернинкой...

Через час опомнилась. Рванулась к ней — кто, кроме меня, теперь отдаст ей сердце? Кто, кроме меня, пособит вытерпеть беду?

Побежала в палату. Граня меня встречает тихим укором:

— Мама, у меня рук-ног нету, зато голова цела. А сколько людей головы сложили? Или вы, мама, хотите, чтобы я руки-ноги сохранила, головы лишилась? Хотите вы этого, мама?

Обняла я Граню.

— Как ты могла про такое вздумать? Ты жива, моя доченька. Ты с войны вернулась! А остальное притерпится.

Стала ходить к ней каждый день. Начали мы обдумывать нашу жизнь.

— Все я могу вынести, мама,— говорит мне Граня.— Только не под силу мне вернуться в наш поселок, где все меня помнят прежней. И еще не под силу мне увидеть его... Степу...

Очи прикрыла, отвернулась, говорит в сторону:

— Он каждым моим шагом любовался. Все радовался мне. Вы думаете, он меня теперь бросит? Нет... Сватать будет... Не из любви... Любовь — это счастье. Какое уж тут счастье! Горе со мной обручилось... Он из жалости, по совести станет уговаривать. А в душе, может, тайно понадеется: авось, мол, она умная, авось, мол, она откажет...

Представила я себе, как тот тщедушный мужичонка сватает из жалости мою орлицу, и говорю ей:

— Отруби напрочь.

Написали мы ему письмо в полстраницы.

«Дорогой Степан! Мы слишком мало знали друг друга

и поторопились с нашим уговором. В госпитале я встретила и полюбила другого и выхожу за него замуж. Это к лучшему для нас обоих. Не горюй, не жалей, не сердись и не ищи со мной встречи. Желаю тебе большого счастья».

— Не печалься,— говорю я ей.— Стоит ли он еще твоей печали?

— Вы не знаете... Все в нем было по мне. Что ни скажет, что ни сделает — как раз как я ждала. Да зачем теперь думать? Лучше меня найдет — позабудет, хуже — вспомнит.

V

На свету — не на клину — место будет.

Продала я дом в родном поселке, купила домик с садом в теплом краю, в зеленом районном городке. Начали мы с Граней жить наново. У нее пенсия, у меня пенсия, братья помогают, ей бы жить отдыхаючи, а она не соглашается:

— Лежач камень и тот мохом обрастает.

В райкоме отнеслись к ней сердечно: подобрали хорошую работу — в школе рабочей молодежи преподавать историю и в детском доме наладить самодеятельность.

Из райкома сообщили по комсомольской линии, что, мол, поселилась девушка без рук, без ног, со старухой матерью. Появились у нас ребята-тимуровцы. Граня обрадовалась, засмеялась:

— Вот и руки-ноги к нам пришли!

Затеяла она с ними собирать музей о героях нашего края. Откопала старика дирижера и сколотила при клубе хор советской песни.

Полгода не прошло, как приехали, а у нас в доме уже толчея. В дупле нашли ларчик с партизанскими письмами — тащат к нам. У парня богатый голос, а его из колхоза учиться не отпускают — он к Гране. В детдоме ребятишки гриппом болеют — ее кличут.

Чужая печаль мою дочку с ума свела, по своей и потужить некогда...

Пришла победа.

От людей война отошла, а в нашем доме прижилась, притаившись.

Не сразу ее и углядишь.

Граня глядит весело, еще и смеется чаще прежнего.

— На мои руки-ноги печально взглянуть. Если у меня еще и лицо будет унылое, как же людям смотреть на меня?

Всегда ровна, всегда улыбчива, только вдруг ни с того

ни с сего, да еще в самый развеселый час усмехнется над собой не своей усмешкой, а со злою тоской.

Так бывает — пока течет речка ровно, и не узнать, что у ней на дне. А разыгравшись, выплеснет невзначай со дна тяжкий горючий камень...

По вечерам у нас стали собираться песнелюбы. Придут из хора, да так, по соседству, сойдутся в саду, запоют — вся улица слушает. А посреди песни она, моя красавица. Гляжу на нее и думаю: как ни сохни море, а все луже не брат!

Сидит она в кресле. Руки шелковой шалью закинуты, с лица еще милее, чем раньше, голос сильный, глубокий, хватает за сердце. Плечи, стан, круглая шея ее — все налитое, как яблоко в самой своей золотой зрелости. Искрометный взгляд, улыбка жизнью плещут.

А руки свои — клешни, что ей хирурги сделали, — прячет она от людского взгляда. Я на них глядеть не боюсь. Я бы каждый шрам обласкала. Живут в моей памяти все десять пальцев ее проворных. А людям они не памятны. Боязно людям глянуть на ее увечье. И прячет она свою беду, чтоб не испортить песни, не затуманить вечера.

Сидят, поют наши гости, а как припозднится — разойдутся парами по семьям, по теплым гнездам. Жены с мужьями уйдут — мужья к женам потянутся. На что уж дряхлый старик дирижер и тот задребезжит, заскрипит:

— За-жда-лась меня моя ста-руха!

Холостые ребята простятся с Граней уважительно да и заторопятся от нее к своим зазнобам. Зазнобы эти красотой, сердцем, разумом Гране и в подметки б не сгодились... да у ней и подметок нет!.. А они все рукастые, ногастые...

И останемся мы вдвоем в опустелом саду.

Мне затоскуется, а Граня все меня веселит.

Только раз вечером запирала я за гостями калитку и глянула из сада в окно. Сидит моя красавица в пустынном доме нашем одна-одинешенька перед зеркалом и смотрит в него так пристально, так недоуменно, так упорно, словно хочет вымолвить: «Судьба ты моя, судьбина! Выдь ты ко мне! Погляди на меня: кого обижаешь?!»

Одна она у меня, однушка... Одна, как синь-порох в глазу... Одна, как месяц в небе...

VI

Дивные цветы развела для нее в саду. Горенку ее украшаю, как могу. И все стараюсь так предусмотреть, чтобы не вспомнила она лишний раз свое увечье. Да еще и

так сноровлюсь, чтоб не заметила моих стараний. Она сядет заниматься, я рядом устроюсь, будто с вязаньем. А сама слежу за ней тайно и неуклонно!

Вижу, кляксу сделала, а пресс-папье на другом конце стола. Подойду будто в окно поглядеть да и подвину к ней пресс-папье.

Вижу, шаль с плеч соскальзывает. Упадет — ей трудно поднять. Подойду, обниму: «Не хочешь ли, Граначка, чайку с вареньем?» А сама незаметно шаль поправлю.

Гляжу, она глаза щурит. Я уж смекаю: ей свет от лампы в глаза бьет. «Что-то,— говорю,— мне свет мешает»,— да и переставлю лампу.

Так весь день и слежу за ней неотступно, неусыпно и тайно. Каждый помысел ее угадываю.

Одного добиваюсь — чтоб хоть вдвоем-то со мной позабыла она свое увечье. И вся моя радость в том, что она скажет:

— Люблю, когда у нас люди. Но почему-то только с вами вдвоем, мама, мне совсем легко... Как будто и я такая, как все. Такая, как до войны...

Днем позабудешься за хлопотишками. А спать ляжешь и все слушаешь: заснула ли, нет ли? Слышу — не спит. Не плачет ли?

Иногда присядешь к ней, споешь ей тихонько, как маленькой певала:

Приди, сон,
Из семи сел.
Приди, лень,
Из семи деревень.

Уснет ли она, притворится ли, что заснула?

Ляжешь в постель, а сердце у тебя непереможенным горем горит, не перегорает. И не заспать твою кручину ни на какой перине.

И слышу, выползает в темноте из подвальных углов войнища, обезглавлена, обескровлена, а как змея подколодная живуча. Из других домов она ушла, а у нас прижилась, притаилась.

Днем подпольно лежит, не шелохнется, а ночью не стукнет, не брякнет, а к самому изголовью подползет и шипит тебе в ухо: жива, мол, я еще, не добита.

Живет войнища в увечье моей красавицы, в безысходном женском ее одиночестве, в беде нашей неизбывной, неминучей, в тоске неусыпной, неутолимой...

И как ее, недобитую, одолеть?

Когда она открыто бушует, выходят на нее ратью.

А на такую, как у нас, подколодную, надо, как на мину, выходить — один на один.

Только для мины отвага нужна на час, на срок, а для нашей беды нужна отвага бессрочная. На всю жизнь.

И не одолеешь ее одной отвагой.

Руки-ноги — полчеловека захоронено, и не дано забыть той могилы. Сколько же надо сердечной стойкости, чтоб век вековать над могильным холмом?

Тут и Илья Муромец дрогнет, и Добрыня Никитич заколеблется, и Садко со своими веселыми гуслями шарахнется вспять.

Вот и прижилась недобитая войнища в нашем подполье, и тянет она оттуда в глухую полночь когтистые лапы.

Спрашивают меня, почему над моей кроватью меж портретами детей моих да внуков висит портрет большого человека, которого я в глаза не видела и не увижу? Спроста ли это?

Тот, чье сердце больше других ратует против войны, тот мне роднее брата.

А про всяких никсонов да аденауэров, лежа этак без сна ночами, думаешь: «Ведь есть же и у них матери? Не от гадюк же они родились?!»

VII

Однажды под вечер Грани не было дома. Постучали в калитку. Открыла, а за порогом Степан. Я так и кинулась на него:

— Что тебя принесло? Не было́ нам печали!

— Я,— говорит,— Граниного письма не мог понять. Или она не она, или письмо не ее.— Шагает нахально в сад и садится на скамью без приглашения.— Как демобилизовался, так стал разыскивать. Едва разыскал. Гоните не гоните, пока не пойму, до тех пор не уйду.

Открыла я ему все как есть.

— Мы к своей беде кое-как применились. Жалостью твоей не нуждаемся. Если есть в тебе хоть капля понятия — не береди ей сердца. И без тебя живет, как над пропастью идет. Вспугнешь — пошатнет ее, разобьется. Уходи!

Он как сел сиднем, так и сидит, не может опомниться. А я издали слышу: дребезжит ее колясочка-самокат. Ей только что сделали новую рабочие-железнодорожники. Слышу, едет...

— Я ее терзать не дам! — говорю.— Уходи, бестолковый, скорее! Чтоб как не было́ тебя! Чтоб и духом твоим не пахло!

Не идет. А Граня все ближе. Рядом кол лежал. Я им клуню подпирала, где куры ночевали. Как схватила я этот кол, как замахнулась:

— Не слышишь, подъезжает? Ступай, недотепа, в клуню.

Загнала я его в клуню, в далекий угол под насест, и говорю:

— Как уйдет в дом, тогда выходи потиху. Если нос высунешь при ней, пришибу на месте!

Закрыла клуню и еще дверь колом приперла, что хватило сил.

Въезжает в калитку моя Гранюшка. Въезжает, смеется.

— Такой мотор ребята сделали — восемьдесят километров в час тянет! Я теперь хожу в десять раз скорее, чем ходила ногами.— Отдает мне ребячьи тетрадки, берет свои палочки, встает и все рассказывает переливчатым сильным своим голосом: — А у меня нынче радость, мама, милая! Добились мы! Те дачи, что я вам говорила, отдали детскому дому! Ребята весь день пляшут от радости.— Вспомнила, видно, их пляски, засмеялась и тут же перебила смех новой злой над собой насмешкой: — Сама б я с ними весь день плясала, да вот ходить мочи нет!

...Взмыло со дна горюч-камень, мелькнул он на волне, да и вглубь ушел.

А Граня моя опять смеется легко, переливчато.

— Я вас туда свожу, мама. Вы ребятишек обучите сады растить.

И вдруг слышу за спиной скрип. Обернулась — гляжу, кол сдвинулся, дверь приоткрылась, а из щели торчит голова в курином пуху. «Сгинь! — думаю.— Нет на тебя пропасти!» Так бы и огрела колом. А Степан лезет из щели, ровно таракан. Сам весь красный, на лбу дуля: видно, о насест стукнулся. Не глянув на меня, идет он к Гране, обнимает ее, целует:

— Отыскал... Не уйдешь... И в коляске своей не укатишь. И восемьдесят километров тебе не помогут!

Помертвела моя Граня. Лицо изжелта-прозрачное, восковое, губы побелели, будто стерло их с лица, веки черные, а голову вскинула гордо.

Оттолкнула Степана, опустилась на садовую скамейку и отрезала:

— Уезжай. Нет прежней Грани. Ничего нашего прежнего больше нет.

— Где же оно?

Усмехнулась, а восковые губы кривятся той новой, горько-злой над собой усмешкой:

— Ищи на орле, на правом крыле...

А он берет ее руки и целует в корявые шрамы. Она их вырывает.

— Тебе не противно?

— Где ты кончаешься, где я начинаюсь — не знаю. И руки твои для меня живы. Знаешь, как бывает: жена уж состарилась, а муж все ее ласкает. Все живет ее красота у него в сердце! Так и руки твои, все десять пальцев твоих для меня живы!

Как сказал он те мои слова, какие я себе каждую ночь повторяю, тихо пошла я за угол дома.

Боюсь веткой хрустнуть, травой шелохнуть, чтоб речей его жизненосных не перебить.

Завернула за угол дома, а дальше ноги не несут — обмякли. Плюхнулась на скамью под яблоней. Сижу, воздух ртом хватаю.

А там за углом от минуты к минуте, от слова к слову переворачивается вся Гранина судьба.

Долетает смех его молодой, долетают слова:

— Не отворачивайся. Что ж ты заплакала? Улыбнись.

Слышу, голос ее мечется, меня кличет:

— Мама моя... мама!..

Я к скамье прижимаюсь, боюсь сшевельнуться.

Он смеется.

— Помешать нам боится золотая твоя мама. Самый счастливый день нынче.

Она не своим, сиплым голосом спрашивает:

— Для нас с ней... А для тебя?..

— Умная ты, а совсем дурочка! Час назад я думал, что нет и никогда не будет у меня ни жены, ни семьи, ни любви, потому что, кроме тебя, я никого не полюблю. Думал, что жить мне до старости одиноко. И вот все сразу появилось: любовь, жена, семья! А ты спрашиваешь: счастлив ли?!

Подходит то, о чем и думать было заказано.

Сердце в груди ударит и замрет, дожидается: жизнь ли, смерть ли?

Горе оно вынесло, а радости не осиливает. Кровь в сердце спекается. Все в глазах кружится: яблоки, листья, солнце меж ними. И тонкий, высокий-высокий звон стоит в голове.

Граня маленькая любила сказку про то, как орел змея казнил.

Полетел орел к солнцу в горнило калить на крыльях железные перья. До облаков стрелой летел — выше облаков кругами. Кверху летел — правым крылом к солнцу кружил, книзу — левым. Закалил оба крыла и ринулся на змеиную голову.

Кружит, звенит что-то в самом зените, в синеве...

Ух, высоко, высоко!

— У тебя в волосах куриный пух. Как ты в клуне очутился?

Он как засмеется:

— Мама колом загнала...

Узнаю смех, голоса, обыкновенные слова про клуню, про кол, про куриный пух. А долетают те слова до меня с немыслимой высоты. Долетают сквозь тонкий зенитный звон.

— В тот раз у нас с твоей мамой вышла неувязка. Она ждала рассказов, как я с тобой сравняюсь. А об этом не словами надо... Делом! — И опять как захохочет: — Ах, хороша старуха! Как она с колом на меня кинулась!

Слышу, и Граня засмеялась:

— Не думала, что ты кола побоишься!

Он ей хитрым шепотом:

— В клуне-то оконце... Я посмотреть хотел: ты или не ты. Боялся...

— Чего ты боялся?

— Бывает, в беде теряют себя... Слабнут...

— А если бы я ослабела? Не вышел бы из клуни?

— Вышел бы. И сватал бы. А счастья вот такого не было бы.

Не обманули Граню соколиные очи, углядела человека вровень себе.

Поднял он ее на руки, пронес в дом мимо меня, только косы ее разметались да платье прошелестело...

Ветер в ветвях прошумел, голову мою обвеял родниковой прохладой. Легко мне вздохнулось. Звон ушел, и затихли слова. Оглянулась.

Качаются надо мной яблоки винного, сквозного налива, от зрелости сами светятся.

А вокруг и мир, и тишь, и синева.

Зачем — сама не знаю, тихо пошла я к дому, к Граниным дверям прильнула. Слышу ее голос:

— Ты детей любишь...

А он отвечает:

— И будут у нас дети. Ты же красавица, ты же силачка, ты же одна на земле такая! От тебя и в тебя у нас будут дети.

Как я вышла в сад, не помню.

Только помню, надо мной небо мирной, нетронутой синевы, а я стою под яблоней на коленях и родной земле своей кланяюсь. Она таких людей вырастила. Она войнищу придавила. Она даже тех, кто войной наполовину сожжен, подняла к счастью.

Бью я лбом о землю, а рядом яблоки падают с тихим стуком, словно и яблоня бьет челом родной стороне вместе со мной.

ТАЛАНТ

I

Вышла я замуж шестнадцати лет и пошла детьми сыпать! Бывало, спросят меня: куда, мол, тебе их столько?

А мне все смехи:

— Были б коваль да ковалиха, будет и этого лиха.

Вечерами «Акульку в люльку, Оленку в пеленку» — рассовала и отправилась с Тимошей на посиделки. Смолоду квас и тот играет, а мне и всего-то двадцать с хвостиком. Только раз бегут за нами — соседская девчонка уронила моего Гераську, повредила ему ногу.

Рос мальчишечка крепкий, как грибочек, шустрый, как живчик, а стал Гераська Оброныш. Сильной боли в ноге нет, а ходить не велит.

Источила нас с Тимошей совесть — сына прогуляли! С того и пошло.

Для других детей снято молочко, для Герочки — сливочки-переливочки. Семья у нас дружная. Ребята видят, что мы с Тимошей ради Геры из кожи лезем, и они равняются по отцу с матерью. Старшие Геру нянькают, младшие у него на послуге. И растет наш выкормыш сам статный, лицо холеное, глаза девичьи, с поволокой.

Пока ему двенадцать лет не минуло, мы с отцом только радовались, а тут начали чесать затылки. Глядит он так, будто не одни мы с отцом, а весь белый свет перед ним в долгу. К тому времени нога зажила, ходи куда хочешь, а у него все на побегушках. Сам с гирями упражняется, а младшими командует:

— Ныряйте под лавку, принесите мне тапки!

Спать днем ляжет, Сергуньке дает приказ:

— Становись возле меня, мух отгоняй.

И все ему не так! Известно: на паршивого и баней не угодишь — то ему жарко, то не парко.

Говорят: извадится овца не хуже козы. Сами не заметили, как изноровили мы его. Растет наваженый, что наряженый,— блажит, как по наряду.

Видим мы с Тимошей: ногу парню выпрямили, а нрав скривили. А я и ругать его не могу, все думаю: наша в нем вина.

Ко всему он был переимчив. Еще говорить толком не научился, а уж все мои присловья перенял. Учиться пошел, глянул в учебник вполглаза — в голове как отпечаталось. Из всех моих одиннадцати самый способный. Сельскую школу закончил, отправили мы его к Матвею в поселок кончать девятилетку.

Приезжаю навестить, показывает мне учительница его тетрадку. До половины задача решена, в конце написано: «и т. д.».

Спрашиваю его:

— Что это еще за «и т. д.» такое?

Он бровями пошевелил, свои синие очи с поволокой чуть повел.

— «И так далее»,— объясняет.— Самое трудное я решил. А дальше мне неинтересно. Вот я и написал: «и т. д.».

И чем старше становится, тем больше у него этого «и т. д.».

Приехал домой на каникулы, взялся травы собирать для аптеки. Две недели из лесу не выходил, через две недели, гляжу, уж валяется в саду под яблоней.

— Я все травы лучше аптекаря изучил. Надоело.

Взялся сам детекторный приемник мастерить и добился — на пять минут услышали дальний голос. На том и кончилось. Все детали порастерял и опять на спину под яблоню.

Валяется лень — с прихворкой. Позевота да потягота, гляди, со свету сживут парня!

Отец к нему то лаской, то строгостью, а он угроз не боится, лаской не нуждается.

Я плачусь мужу:

— Эка обленъ по избе шатается! Не те отец-мать, кто родил, вскормил, а те, кто уму научил. Как его такого научить?!

Тимоша руками разводит.

— Не научили мы его, пока поперек лавки укладывался, а как во всю вытянулся, видно, не научишь.

К семнадцати годам вымахал выше всех в деревне. В

поясе тоньше осы, плечи широкие, голову вскидывает, как конь. Глаза свои девичьи открывать не снисходит, глядит на все вполглаза. Брови густущие, левая бровь ниже, правая выше. И привык он этими бровями с людьми разговаривать. С братьями и сестрами словами говорить совсем отучился, только бровью указывает: подай, принеси, убери! Да еще и гневается, если не враз с бровей прочитают.

И то в одну сторону его заносит, то в другую — дорога ему открыта на все стороны. Парень способный, да сын председателя первой на всю губернию коммуны, да и сам для форса с полгода поработал на шахте. Характеристику ему дали отменную. Себя показать он может. На полгода его хватило. Все пути ему открыты, и все не по нему. За год две специальности забраковал.

Пошел в медицинский институт — в мертвецах разочаровался. Пахнут! В актеры шагнул — не понравилось! Несолидно.

Пошел в авиационный. Авиационный институт он окончил. Уехал на юг, поступил на завод, и пришло мне время дивиться — не нахвалятся на заводе Обронышем! Даже в газете мелькнуло: «Ценное предложение внес инженер Добрынин — сын того самого геройски погибшего председателя коммуны».

Прошло несколько лет, и вот узнаю — Гера Оброныш всех перегораздил. В тридцать лет стал директором завода и женился на писаной красавице.

II

Снарядилась я к Гере в гости — поехала порадоваться на сына.

Вышла из вагона — вижу, идет женщина, и не то что пассажиры — носильщики на нее заглядываются, багаж грузить забывают. Сама узкая, длинная, поджарая, в черном платье. Маленькая головка будто черным лаком покрыта, глазищи тоже черные, мохнатые. Что, думаю, за фря, за червонна краля? И вижу, выплыл к ней на орбиту и мой Герасим. В плечах еще поширел, а в поясе тонок. Брови так разрослись, что и глаз не видно, волос на голове русый, волнистый. Плывут, будто Марс с Венерой, только с нынешним стиляжьим уклоном. И вышагивает возле них собака борзой породы. Ноги высокие, морда шилом, все ребра наружу.

Люди на них оглядываются, переговариваются:

— Кто из всех самый чистопородный?

Подошли ко мне. Гера меня знакомит:

— Жена моя Ия. Собака Джюльетта.

Особняк у него в два этажа. И каждый день накатные гости. Коктейли да танцы.

Шуму много, а хорошего разговора нет. Оброныша моего прямо в глаза захваливают — и талантлив, и умен, и то, и се... А он уши развесил, будто не знает: от кого чают, того и величают!

Жена, Ия эта самая,— слов нет, красива. А копнись-ка в ней! С первым мужем характером не сошлась, оба друг дружку побросали. Второго она бросила: не богат, не знаменит. Третий и богат и знаменит, да сам ее бросил.

Если уж с такой красотой да столько лет судьбы не найти, видно, негодь. С личика — яичко, внутри — болтун. До полудня она в постели — все стонет: днем, вишь, ей не спится, ночью не естся! Болеет!

С полудня переберется с постели на тахту и начинает шипеть на портних да на парикмахеров. Шипит и шипит до вечера. У нее ровно у гусака — сердце маленькое, а печенка большая!

Как вечером гости в дом — враз поправилась, заегозила, завертелась пестом в ступе, в нее не угодишь.

И где только Оброныш такую высмотрел?.. Или шел не дорогой, встретил не путем?..

Многие вкруг них придворничали, а больше других заводской бухгалтер. Он и около меня вился. Поклончив, покорлив, а в глазах искра. Сразу видно ту породу, какая спереди ноги лижет, сзади за пятки хватает.

Я, бывало, шикну на него:

— Сгинь с глаз, поползень!

А он только засмеется:

— Ползком, Василиса Власовна, в люди выходят.

Услышишь такое, плюнешь да и уйдешь в сад с Шкилетой — я ту стиляжью Джюльетту на Шкилету перекроила.

Сидим вдвоем со Шкилетой в саду до полуночи, только что на луну не воем!

Неподалеку, в рабочем поселке, познакомилась я со стариком мастером. Решила с ним доверительно поговорить.

— Как,— спрашиваю,— мой-то на заводе?

Тот сразу глаза в сторону.

— Пока в замах ходил, лучше его не было.

— Тонок обиняк, да сквозит! На вожжах и лошадь умна! Ты говори, как сейчас правит?

Как ни мялся старик, а я поняла: правит мой Оброныш, как медведь в лесу. Дуги гнет — не парит, переломит — не тужит!

Из замов в директора — обыденна честь, и ту не сумел снесть.

Одно я старику на прощание сказала:

— Не я полынь-траву садила, сама, окаянная, уродилась.

III

Вижу я — Оброныш в умники попал, а из дурней не вышел.

Стала к нему приступать:

— Вскичился не в меру — закичишься до беды. Откуда у тебя хоромы в два этажа?

Он отмахивается.

— Три заводских поселка строил...

— В старину говорили: «Дай на прокорм казенного воробья, прокормлю и свое гусиное стадо».

Крякнул он с досады:

— Звал я тебя, мать, чтоб пожила ты в холе, в покое. А ты? Сама покоя не знаешь и мне не даешь. Я не вор.

— Не один вор ворует, а и поноровщик.

— Да возьми ты в толк: дом это не мой — заводской. И такие же дома у замов моих, у главбуха.

— У поползня, значит? Бывает и так — рука руку моет, обе белы живут.

Он руками замахал и от меня в другую комнату. Я за ним.

— Ох, боюсь, посадил ты волка в пастухи, лису — в птичницы, свинью — в огородницы.

Он отмахивается, а я не отступаюсь:

— Коктейли эти тоже у тебя казенные? Не лаписто ли живешь?

— По плечу,— говорит,— и лапы! Да что ты, надсада, ко мне прицепилась? Я большие дела заворачиваю, а ты рюмки считаешь! Мелочи все это...

— Случается и такое, сынок: корье на малье, а дуба не стало.

И как напророчила! Стали вызывать сына то в партком, то в райком по персональному вопросу. Дошло и до обкома. Берут кота поперек живота. Над родным сыном гроза, а я и жалею и... совестно сказать... радуюсь!

Гостей из дому как вымело. Сын ходит набычившись, крутоярый, крутобровый и тем возмущается, что поползень к нему ни шагу. Тут я не выдержала:

— Эко диво, что у свиньи пятаком рыло! По всему видно, какой породы вокруг тебя люди: пили да ели — кудрявчиком звали; попили-поели — прощай, шелудяк!

Он как зыкнет на меня:

— Не мать ты, а крапивное зелье!—Походил по комнате, волосы поерошил.—Я,—говорит,—им не поддамся! Либо петля надвое, либо шея прочь!

Удача нахрап любит. Отбился мой Обронышь. Поставили ему на вид да велели хоромы эти отдать под родильный дом. Возвратился орел орлом, кричит с порога:

— Эй, мать! Не гляди на меня комом, гляди россыпью! А квартиру отдам! Не жалко!

Вечером снова гости. И поползень тут же. Сперва Гера на него чуть не с кулаками. Да ведь у хитрой лисы три отнорка. Со скандала началось, а я и не заметила, как перешло в гульбу. В доме опять дым столбом, пыль коромыслом, не то от тоски, не то от пляски. Все беды ко дну, пузыри кверху! Гера тост поднимает: жизнь, мол,— копейка, голова—дело наживное, а все же выпьем за такую голову...

И пошел хвалиться своей головой!

Распалилась я, раскалилась:

— Все кузни ты обошел, а не кован возвратился!

А он стукнет по столу:

— Надокучила ты мне, мать, что пигалица на болоте.

На другой день я уехала. И как уехала—опять растревожилась.

Всегда у меня так с моим Обронышем: не вижу—душа мрет, увижу—с души прет.

Полгода терпела—ни я ему не писала, ни он мне. Через полгода звоню ему по телефону, будто по делу. Дело обговорила и спрашиваю:

— Как жена Ия? Как Шкилета?

— Выгнал,—говорит.

— Кого выгнал?! Шкилету?!

— Зачем Шкилету? Шкилета—пес добрый. Жену Ию выгнал.

Вскорости сообщает: опять женюсь! А еще года через полтора донеслись до меня слухи, что опять открылась у него старая болезнь в ноге и уходит он с завода будто бы по болезни на пенсию, а на самом деле по наущению новой его жены. Опять, думаю, у Гераськи-Обронышa «и т. д.» пошли.

Черного кобеля не отмоешь добела!

Помчалась без предупреждения, чтобы застать всю картину как она есть.

IV

Три раза человек дивен бывает—родится, женится, помирает.

Как открыла мне двери новая Обронышева жена—

махонькая, немудрященькая, в штапельном платьишке,— так и онемела я на пороге.

Моему ли вельможе да после той прожженной крали такая простушка? А он еще и знакомит меня с ней такими словами:

— Это Лялька. Была Лялька-машинистка, стала Лялька-жена. Хочу—с кашей ем, хочу—масло пахтаю!

Она смеется.

Личико кукольное, только куклы щекасты, а эта похудее. Носик тоненький, глаза—две черные пуговицы, глядят и не мигают. Кудряшки как у овцы, и румянец будто наведенный. Одно слово—Лялька. Иначе и не назовешь! А у самой уж двое сынов-близнецов, таращатся этакими же пуговичными глазами.

Познакомилась я с невесткой, налюбовалась на внучат, приступила к своему Оброньшу:

— Серьезно ли болен?

— Да нет, так. Бумажку все же дали.

— Что ж завод покидаешь? Опять «и т. д.» начались?

Лялька вступилась:

— Тяжело ему, переутомляется.

— Знакомое дело,—говорю.—Ходит гусь по воде, лапки, горемыка, промочил, головушку простудил.

Думала, Обронып осердится, а он смеется да спрашивает:

— Мать, скажи, кому легче, птице летать или рыбе плавать?

— Ясное дело, птице!

— А вот и нет! Птица устает, отдыхать садится. А рыба... рыба плывет, как живет, и сама того не замечая. Задумал я такой самолет—по рыбьему принципу. Без крыльев, без пропеллера.

Лялька подхватывает:

— Каждую ночь над ним сидит. А тут инвалидность... Мы даже обрадовались. Целый год—делай что хочешь.

— На что жить-то вчетвером будете?—спрашиваю.

Лялька только хохочет:

— Сыновей в ясли, сама на работу! Я машинистка-стенографистка. Я два языка знаю, меня наразрыв приглашают.

— Эка маленькая, не прокормишь большого верблюда да двух верблюжат!

Опять хохочет бабенка:

— А вот и прокормлю!

И мой, гляжу, подхватывает:

— Хлеб да вода—богатырская еда. А на хлеб да на воду Лялька заработает.

Я опять остерегаю:

— С квартиры сгонят.

Опять хохочет бабенка, что ты с ней будешь делать:

— Четыре комнаты отберут, две дадут. Я что верба — куда ни ткни, там я и принялась! Только бы рядом с Герой.

То ли, думаю, совсем глуповата баба, то ли уж до того умна, что ее ума и постигнуть не могу.

А мне одно понятно — надоело моему обленю изо дня в день ходить на работу. Старая погудка на новый лад! Раньше братьев да сестер запрягал себя возить. А теперь нашел бабеху-дуреху.

Тут и открылся мне секрет Обронышевой женитьбы. На такой жене, как та Ия, не поездишь: та сама кого хочешь загонит. А эта Лялька-простофиля начнет лялькать да вконец и залялькает мужика.

Мне невесело. Оброныш глядит вполглаза. Одна эта Лялька не поет — так свищет; не свищет — так прищелкивает. Увидала мое беспокойство, улыбнулась.

Одно мне в то время в ней и помаячило: улыбка. Уголки губ тоненько обрисованы, улыбнется — и открыто, и по-ребячьи, а в уголках будто что-то затаилось. Печаль не печаль, терпенье не терпенье? Не поймешь, не выскажешь что. Только улыбнулась и поумнела. Не Лялькина у нее улыбка.

Улыбнулась и говорит секретно:

— Не тревожьтесь, мама. Все к хорошему. Ночью я вам покажу одну вещь.

Заснула я рано, а часа в два ночи просыпаюсь и вижу — стоит надо мной Лялька в ночной пижаме и грозится пальцем:

— Тсс... Пойдемте. Чтоб он не услышал.

Крадемся мы коридором к кабинету. Дверь открыта,на столе бумага, разный чертежный инструмент, а за столом мой Гераська. Не то чертит, не то считает, а сам и приговаривает, и подсвистывает, и притопывает. До того смешно глядеть! Я чуть было не заклохтала от смеха, а Лялька шепчет:

— Смотрите, какое у него лицо.

А лицо у него такое, как бывает у доброго человека после первой рюмки. Брови разомкнулись, и глаза проглянули голубые, ребячьи. Складки на лице размягчились. Губы сами себе улыбаются, сами себе шепчут.

И снова бы мне рассмеяться, я смешлива родилась, смешлива и помру! Да глянула на ее, на Лялькино, лицо и осеклась.

Помню, девчонкой еще, привезли меня в первый раз к морю. Просыпаюсь утром — от пола до потолка солнеч-

ные блики скользят, переливаются. Моря еще и не видно и не слышно, а по этой переливчатой зыби поняла: рядом оно! Повернула голову к окну и ахнула: огромное, лежит тихо, а в каждом всплеске солнце!

Глядя на Лялькино лицо, почему-то вспомнила я то утро.

Смотрит она на моего Оброныша, а улыбка то вспыхнет, то пригасится, глаза то блеснут, то притуманятся. Все лицо и трепещет, и отсвечивает чем-то; тем, чего и не видимо и не слышимо, а вот тут оно, рядом.

Неловко мне стало глядеть на нее. Пошла я в постель, а она скользнула за мной, присела и шепчет:

— Видали, мама? Вот такое лицо у Геры до тех пор, пока он сидит над своим самолетом! А раньше я его таким только раз и видела: в роддоме, когда он взял на руки сыновей.

А я его лицо не больно и разглядывала! Ее, Лялькино, лицо приковало взгляд. Удивила меня Лялька, да не убедила. Не первый год я знаю Оброныша. Мое исчадье!

Оседлает он эту бабенку-несмышленку и начнет, как прежде, с утра гадать, чем день занять: не то сидя просидеть, не то стоя простоять, не то лежа пролежать.

Каков в колыбельку—таков и в могилку.

С горьким сердцем я от них уезжала.

V

Встретиться пришлось в дни войны, когда пробиралась я с юга домой к раненому Сереже. С моря пересела на поезд. Поезд шел с пересадкой. Во время пересадки и задержалась я на сутки у Геры. Жили они в рабочем поселке, в двух маленьких комнатах. Когда я пришла к ним, едва обутрело, а у Ляльки уже в кухне обед варится, в прихожей сохнет белье, а сама за машинкой—спешит с расшифровкой. Ни кукольного румянца на лице, ни белизны, ни веселья. Ручки-ножки—как веточки. Скоро рожать. Только улыбка да глаза-пуговицы и остались от прежней. Не успели перемолвиться, как она сгребла свои расшифровки, забрала ребятишек—вести в детский сад. Остались мы вдвоем с Герой. У меня одна Сережина беда на уме, я и не спрошу Геру, как его рыба-самолет.

Он сам мне говорит:

— В решительный день ты приехала. Пять раз разбирали мою конструкцию. Сегодня разбирают на особой комиссии с представителем из Москвы. Либо в стремя ногой, либо в пень головой...

Ходит молчаливый, и по одному лицу его я вижу: под кем лед трещит, а под ним ломится.

К вечеру возвратился, прошел молчком в свою комнату. Заглянула в дверь — люто полосует свои чертежи. Рвет и приговаривает:

— Пристыдили меня, мать. Говорят — война, а ты в бирюльки играешь. Свяжись с младенцем — и сам оребячишься.

Это он про жену. Знала я за ним в детстве лиху привычку — за свои неудачи винить кого-нибудь.

— Эх! — говорю.— Ума в тебе три гумна, да сверху не покрыты.

Пнул ногой со злости изодранные бумаги, крикнул дворничиху:

— Уберите на помойку, чтоб глаза не мозолили!

Пошел на завод, с порога бросил:

— До утра не ждите.

Вечером потемну прибежала Лялька с детьми. Она уже по телефону все узнала и только об одном спросила меня:

— Где чертежи?

— На помойке...

Не успела я объяснить, как заскулила над городом сирена. Отвела невестка меня с детьми в бомбоубежище, а сама исчезла. Сижу и слышу — люди переговариваются:

— Какая-то сумасшедшая, в бомбежку ночью копается в помойке.

Пошла я на розыск.

На дворе уж зазимье. Вьюжно. Вдалеке темнота огнем занялась — за рекою пожары. То там, то здесь ухают бомбы. Прожекторы щупают небо, и в белесом отсвете ходит по мерзлой земле снежная поползуха. Куделится снег на пустынном дворе. Вдруг в углу мигнул синий свет.

Кое-как добрела я до угла наперерез ветру по наследу. Вижу, бугрится что-то. Так и есть — она. Нагнулась, отдирает от наледи облитые помоями, примерзшие бумаги. И кряхтит и сопит — живот ей, видно, мешает.

— Разродишься еще тут, на помойке! — говорю.— Пойдем.

Не идет.

После отбоя вернулись мы домой, уложила она меня с ребятами, а сама к бумагам. Чистит их тряпочкой, склеивает обрывок к обрывку, сушит у плиты, разглаживает утюгом и все просит меня:

— Гере не говорите. Он с досады не только бумаги, он нас растерзает.

Среди ночи опять пальто на пузо натягивает:

— Главной бумаги нет... с расчетами...

В глухую ночь опять потащилась на помойку.

В другой час я бы хоть поговорила с ней, а тогда все мимо меня шло: одна Сережина беда была в голове.

Прошло еще с полгода. Гляжу однажды в окошко — идет женщина, сразу видно — из беженок, много их тогда шло. Обтрепанная, едва тащится — лишь бы нога ногу миновала. Одно дите на руках, двое держатся за юбку. За спиной под мешковиной торчит что-то длинное, круглое, вроде дула, не то от ружья, не то от пулемета.

Я б их и не узнала, если б не глаза у ребятишек — как увидела четыре черные пуговицы глядят, не мигают, так ноги сами вынесли меня за калитку.

Оказалось, Гера ушел на фронт, а они эвакуировались с заводом. Поезд, которым они ехали, разбомбило, полустанок захватили немцы. Две недели Лялька с ребятами пробиралась оврагами, на третью неделю немцев поотогнали.

Взялась я мыть нежданных гостей. Внучата, как морозобитные травинки,— головенки на шеях так и никнут, а у матери кости сухой кожей покрыты, живот к хребту прирос, лицо с кукиш, глазищи с кулачищи. Черные кудри отросли, а в них безвременная седина не вроссыпь, а ручьями. Сама мою ее, сама чуть не плачу. Что войнища над людьми делает:

Пораскинулась печаль
По плечам,
Распустила сухоту
По животу.

Вымылись они, а переодеться не во что. Взяла я ее заплечную ношу — там пеленки для меньшого, для старших смена белья, а для самой ни рубашонки, ни кофтенки. В середине мешка торчок вроде дула перевязан, в три перевязи.

Спрашиваю ее:

— Что это ты за пулемет тянула на спине?

Глазищи опустила, не отвечает. Стала я раскручивать сверток — гляжу: в нем бумаги трубкой. Насмелилась она, взмахнула ресницами, усмехнулась чуток:

— Это... те... чертежи... Вы, мама, не смейтесь. В них Герино сердце. Никто этого не понимает. Даже он сам не понимает.

И мелькнуло у меня в голове: «Никогда умом крепка не была, а с войной, видно, вовсе тронулась. Платьишка для ребят не донесла, а рваные бумаги с помойки тянет на себе».

VI

Протекли еще годы. Отшумела победа. Пришла мне необходимость ради дочки Грани порвать все со старым гнездом, купить для нас с ней новый дом, в новом месте.

К тому времени Герин завод возвратился с эвакуации. Лялька давно переехала к мужу. Места там теплые, щедрые, и решила я поискать новое пристанище возле них, по районам да пригородам.

Пока искала, поселилась у Геры. Жили они в заводском стандартном доме, скромненько, тихонько. Он работал инженером, она — стенографисткой. Ребятишки все ростом пошли в отца — большие, плечистые, а мать их, Лялька, стала еще меньше. Ходит по дому подросточек глазастенький, бледненький, тощенький. На пальцах суставы раздулись от машинки. Ох и дорого стоил ей мой Оброныш! Была липка, стала лутоха. И не поймешь, откуда в ней силы берутся? Работает с утра до ночи, а в доме порядок. Никогда слова срыва никому не обронит. Правда, очи уже изгасли и стала молчалива — ни песни, ни свисту. Хохотать разучилась, разве улыбнется изредка, да и улыбка не та. Раньше, бывало, в ее улыбке с каравай всякой радости, с полприкуса печали. Теперь наоборот. Невесела улыбка. Только в тоненьких, в умненьких уголочках угнездилось веселье, взлетать не взлетает, но и уходить не уходит. Придремало наготове.

Дети растут не изваженные, а мой Оброныш хуже малого ребенка. Пока он дома, только и слышишь:

— Лялька, где мой галстук? Приготовь рубашку. Куда дела бумаги? Напомни позвонить в дирекцию.

И хоть бы сам замечал, как она вьется вокруг него. Редко-редко, когда у нее пироги уж очень хороши, похлопает ее по спине да примолвит:

— Люблю серка за обычай — кряхтит да везет...

Похваля́ да в со́ху. А она и этому рада.

Оброныш мой правит службу мало-помалу. Ни задора, ни атаманской повадки. Только над семьей и воеводит — в подпечье и помело большак.

Одно «и т. д.» идет, сплошь, без перемежки... Где смолоду прореха, под старость — дыра.

Чертежный инструмент на шкафу валяется темен, пылен. Ржавый меч потуск...

VII

Однако настал такой день. Приходит Герасим на себя не похож:

— Помнишь, мать, мою рыбу-самолет? Специальное бюро создают — будут разрабатывать сходный принцип. Вспомнили и меня. Вызывают для разговоров в Москву. С чем поеду? Заводские архивы сгорели. Свои чертежи сам порвал.

Ходит, за голову хватается:

— Два года работы... И какой работы!.. Два года вдохновения псу под хвост...

Тогда и достает Лялька из чулана те бумаги. Думаете, мой Оброныш обрадовался? Сперва оттолкнул:

— Это что за грязь?!

Потом свои брови густущие стянул, наярился, принялся сверток раскручивать, разглядывать. Да как крикнет на жену:

— Главное-то, главное где?! Где лист с расчетами?

Подает она ему и этот лист. Цифры поразмокли, поистерлись. Но все можно разглядеть. Впился он в них.

А я к тому времени крепко к невестке привязалась и укорила за нее сына:

— Хоть бы ненароком обмолвился спасибом. Выковыривала твои бумаги из помойки ночью, под бомбами, брюхатая, через фронт волокла на себе! А ты...

Думаете, он меня слушал? Только злым глазом своим косился: не мешай, мол. Сгреб бумаги и потащил в свою комнату. Сам тащит, а сам косится.

Был у меня смолоду этакий злобный, неразумный пес. Дам ему добрый мосол с мясом, он схватит и поволочет в дальний угол. Сам тащит да сам на тебя же рычит — попробуй, мол, отними!

В точности Гера Оброныш.

Мне за него перед женой неловко, а она начищает ему чертежный инструмент и его же оправдывает:

— Растерялся от неожиданности.

Припал день к вечеру. Поумолкла денная тревога. Дети заснули. А Герасим все сидит как припаянный. Ужин подала — не прикасается.

Легли и мы с Лялей спать. А спали мы с детьми в столовой, он один в кабинете. Ночью просыпаюсь. Дверь в кабинет распахнута, оттуда к нам в спальню льется свет. И вижу: Герасим мой стоит на коленях у тахты, где спала жена, пальцы ей целует. Даже Ие, прожженной крале, ни разу рук не целовал. А тут обласкал все распухшие суставчики.

А она волосы его перебирает, светит над ним глазами своими, как мать над ребенком, как большая над малым. Как женщина над мужчиной.

Слышу, шепчет он:

— Лялюшка... друг большой... жена...

Слава богу, думаю! Десять лет с ней прожил, трех детей нажил, на одиннадцатом году догадался, что у него жена есть!

Бывает в человеке душа, что в кремне огонь, не добьешься—не заискрится. Добилась Лялька. Достучалась. Заискрило.

Бывает перечасье дороже года. До войны не было еще ни подходящего топлива, ни нужных материалов для Гериной конструкции, а к этому времени научились делать и то и другое.

Пришла пора, Гера своего часа не прозевал.

Самолет задумал без крыльев, а самого окрылило.

К делу стал лют, а к людям простодушен. Определился человек на свое место, отыскал самого себя. Надо сказать, что на новой работе товарищи не чета поползню. Герасима и похвалят и проберут, когда надо. Без перевясла и сноп солома, а тут весь человек подобрался, подтянулся. Спрашиваю его:

— Гера, а не выскочит из тебя «и т. д.», как бывало?

Он только засмеется.

— Я «и т. д.» писал, когда все трудное позади. А в нашем деле самое трудное всегда впереди!

Из-за того, что полдела было у него обдумано еще до войны, обогнал он кое в чем и своих товарищей, и американских конструкторов. Стал генералом, лауреатом.

Когда праздновали удачу, собрались награжденные в парадном зале. И меня затащили. Сижу я, радуюсь, слушаю разговоры. Спрашивают моего Геру:

— Есть «Як», есть «Ту», а почему вы свое создание не окрестили по имени?

А он шутит в ответ:

— Неудобно мощный двигатель окрестить «Лялькой». А другого имени я ему дать не вправе...

Лялька стала от радости белей мела, одни глаза—черные пуговицы—глядят не мигая. Пальцы с вздутыми суставами теребят новое платьишко синего крепдешину.

Шепоток пошел среди некоторых женщин: Лялька—жена? А что в ней? Немолода. Неприметна. Некрасива. Платьишко не по моде. В разговоре не блеснет. А ведь он атаман! Он красавец! Он талант!

А я слушаю да думаю: чьего таланта в этом самолете больше—его или ее?

VIII

Всем ведомо, что есть талант конструктора, музыканта, художника.

А может, есть еще один талант—редкий, тихий, неприметный, изо всех самый некорыстный—талант жены?

Никто меня не спросил, а спросили б, я рассказала б.

Семеро сыновей у меня. Семеро невесток.

Все хороши, все любимы, а одну среди всех называю дочкой. Как погляжу на ее бледное личико, так само сердце выговаривает: «Лялюшка, мила моя доченька».

Никто меня не спросил, а спросили б, я рассказала б.

Семеро сынов у меня. Семеро невесток.

Шестеро из них ко мне приходили, так мне говорили:

— Спасибо вам, мама, за вашего сына, моего мужа. Вырастили вы человека людям на радость, жене на счастье.

А к седьмой моей невестке я сама пришла, сама ей сказала:

— Спасибо тебе, Лялюшка, мила моя доченька, за моего сына, твоего мужа. Подняла моего Оброныша, сделала из него человека людям на радость, матери на счастье.

БЕЗ ЗУБОВ, А С КОСТЬМИ СЪЕСТ

I

С огнем не шути, с водой не дружись, ветру не верь — дружись с землей! Все мы земляне — на земле родились, землей кормимся, от нее к звездам взлетаем, к ней от звезд возвращаемся.

Много лет прожила я в поселке, да, видно, душа-то у работяги в поту растворена: полдуши моей так и осталось с потом запахано в родной, в колхозной земле.

Свояков у меня полдеревни, там и сестра Марья.

Гера — депутат Верховного Совета от родной области. Выписываем оттуда газеты, ведем переписку.

До войны там жили раздольно, с войной оскудали.

Лет шесть назад пошел в родной колхоз председателем Иван Кудряшов. Я его знала сперва в селе, потом на шахте, и Ваняткой голопузым и Ваней Кудряшом, комсомольским заводилой.

Был парень правдолюб, душа нагишом. С его легкой руки все принималось: барабанную палку воткнет — и та зазеленеет!

Обрадовались, что такой председатель.

Замелькало в газетах: в Загорном заложили скотный двор!.. В Загорном теплицы строят!.. В Загорном высаживают сады!..

По газетам в колхозе все хорошо, а Марья пшена просит!

Прежде просила прислать то рыбки заморской, то

колбаски особого копчения, а теперь на́ тебе: пшена просит и жалуется на колхоз.

Что за наваждение?!

На одну Клавдю да две правды: и нетронутая девка, и гулява на сносях! Какой правде верить?

Придорожная пыль неба не коптит.

Нагрузила мешок пшеном.

Поехала.

II

Марья на радостях затормошилась — помело в печь, блины в подпечье... А помело ощипано, а блины не маслены...

Вспоминаю прежнее, а Марья губу кривит:

— Живало-бывало!

Отправилась я в поле.

Год шел недобрый.

По холодной весне градобойное, грозное лето. Ненавоженная пашня заскорбла: праховая земля дождей не держит.

Вся надежда на то наполье, что на изволоке,— там наилучшие земли.

Подошла к изволоку.

Хорошо поднялась пшеница, да, видно, примяло ее градом.

Лежать не лежит, стоять не стоит: вся движется, вся колышется, силится распрямиться.

Подует ветер навстречь наклону — взметнутся колосья, вот-вот поднимутся на стеблях, вот-вот воспрянут!

Переметнется ветер, глядишь, они пали. Зато на другом месте пошли перекатом бодриться.

Ходит, ходит колышень по всему полю.

Бьются, бьются накатные волны об весь изволок...

Эх, где мои богатырские сорок лет, где нашей артели сорок баб?!

Уж мы бы все хлеба выходили — стеной бы они встали!

Думаючи — навоевалась, отдыхаючи — утомилась. Оглянулась — нет ни богатырки-бригадирки, ни ее подружек.

Стоит посредь поля одна-разъедина бабка — сморщен стручок, седую голову вскидывает — петушится!

Пошла дальше. На холме, на высоком месте — плакат: «Все на стройку Дворца культуры!» Под плакатом колонны, на них портик треугольником, как в Большом театре.

Коней, правда, еще не поспели водрузить. И еще одной малости не хватает: стен да крыши.

Иду к выпасам. На краю лугов новый скотный двор—хоромы на пятьсот голов, бетон да железо. Только и в этих хоромах одни стены выложены до половины.

На выпасах стадо невелико, перестарков вволю, а прибыльняка-молодняка—раз-два и обчелся.

Людей немного и работают не браво. Начальство на каждой притыке, а верховодов не вижу.

— Где же,—спрашиваю,—колхозные коренники? Где ваша сила?

— Кто помер, а кто и поразбежался. И мы бы ушли, да не отпускают.

«Вот уж истинно, думаю, чудеса в решете—и дыр много, и вылезть некуда!»

— Что ж,—спрашиваю,—Ваня-заводила, Ваня-гуртоправ? Где же его безобманное слово?

Его не ругают: он, мол, и разумен и некорыстен.

— А если так,—допытываюсь,—так что за беда в колхозе?

— А беда в том, что правит и колхозом, и самим Ваней заброда Васька Буслай с приспешниками.

— Чем же он других превзошел?—спрашиваю.— Умом? Опытом? Умением?

— Нет у него ни ума, ни опыта, ни умения.

Чем же худой берет власть над хорошим? Как сноровится глупый верховодить умным? На каком поводу себятник ведет бескорыстника?

Одну загадку отгадала, три новых набежало!

По раздумью, что по болоту: пока не выбродишь, все зыбко.

III

И до утра не дождалась, тем же вечером пошла за семь километров к Ване в правление, в село Боровое.

Отгорел солнцесяд, наступил межесвет—сумерки. Обозначился месяц на примолоди. Тихо, а все наносит падымь от дальних лесных палов. Сполошливое время—в бору все пожары!

Подошла к правлению.

Вокруг огоньки так и снуют—народ толпится. Не спокойно, а не шумно... Там слово... здесь слово...

Судят-рядят, как быть с той озимой, что помята градом. Выхаживать ли ее? Убирать ли на корма?

Спросила я про Ваню, говорят, не придет, заболел желудком. Остальное начальство заседает.

Когда стали люди расходиться, приоткрыла я дверь в кабинет.

Трое ведут беседу. За председателевым столом человек—пасмур, черный, мне незнакомый. Спина и плечи круглой, свиной стати. Рядом с ним—розовый, твердый, гладкий. И взгляд вельможный, и грудь колесом, и кадык велик, а голосок с волосок: писклявый, бабий. Он эту беду знает и тужится басить под стать всей осанке: одно слово скажет басовито, на другом сорвется, а остальное пойдет подряд писклявить. Только по длинному, дощечкой, подбородку можно узнать Антона Ковалева, сына доброго отца, первого колхозника.

А третий—молодец с верблюда, говорит с пришептом. Увидел меня, кинулся, как родной:

— Шлушайте-пошлушайте! Вашилиша Влашьевна! Мамаша нашего депутата! Не ужнаете?

Вгляделась в него: Захарка, сын Гундосова. Я отца его знала—не вовсе дурак был, а с крепкой придурью. Видно, свинья рылом в землю, и порося не в небо! Захарка этот сам велик, а вся выходка, как у махонького: ноги голенасты—шажки крохотны, голос громок, а слова с пришептом. Топчется он вокруг меня, сучит ногами:

— Иван Петрович жаболел желудком, но шкоро жайдет. Дожидаемшя. Шадитесь. Ждоров ли наш депутат, Герашим Тимофеевич? Ведь я Герашиму Тимофеевичу хоть и дальней прихожусь, а родней!

На одном солнышке они онучи сушили—как не породниться?!

Присела в углу, слушаю, домогаюсь понять: что это за люди и чем они властвуют?

Черный говорит:

— Задождит... размоет... не вывезешь...

Захарка всполошился:

— Да куда ж, Вашилий Петрович, ее вывожить?! Куда?! Куда?!

Черный, видно, он и есть Васька-заброда, оборвал:

— «Куда-куда»... Закудыкал!..

Антон перебивается с баса на писк, а слова стелет гладко:

— Оно, конечно, вывозить ее некуда. Но, однако...— И красный палец поднял торчком кверху.—Если экономика колхоза требует, чтобы она была вывезена, придется вывозить!

Из полуречья поняла, что разговор идет о примятой градом озимке. Думают ее срочно скосить, вывезти, а поле засеять кукурузой.

Пока обговаривали, отворив дверь рывком, быстрой поступью вошел человек. Седоват, немолод, а как увидела

одну его повадку — идет лбом вперед, будто стены таранит,— так и полыхнуло молодостью. Да не моей! Моя-то что — она всего одна, да и то скоролетка! В детях моих она одиннадцать раз повторилась!

Одиннадцатикратной молодостью полыхнуло в лицо!

...Под грозовым дождем на том самом изволоке косарят опушку под росчисть полуголые ребятишки. Пионерское звено лес отодвигает, поля наращивает. Мои шестеро вертятся вокруг главного корчевателя. А тому лет шестнадцать. Лоб выдвинут — молодой бычок целится боднуть. Глаза серо-синие, как приглубая вода. А зубы африканского веселья: каждый сам по себе блестит и сам по себе смеется.

Ваня!

...Приехала я на шахту в гости к сыновьям, Матвею да Гере. Помню, возле шахты в кругу аккуратных людей пляшут ребята антрацитовые, усталые: комсомольский забой празднует рекордную выработку.

Мой Гераська-чистюля выходит из круга, нацеливается плясать. Чумазый парнишка отбивает чечетку и горячит:

— В забой с нами слабо, а в круг хочешь?!

Гераська пиджак на забор, шапку оземь:

— И в забой пойду!

Мой высок, красив, легок. Чумазенький не взял ни красотой, ни ростом, а я им, не сыном любуюсь!

Аргамак к поре, «меринок» к горе!

«Меринок» душе-то родней! Я им любуюсь, а он чертом крутится, и блестят на черном лице жаркого, африканского веселья зубы.

Ваня!

От одной его повадки полыхнуло в лицо молодостью моей одиннадцатикратной!

Ваня обнимает меня:

— Люблю я тебя, Власовна, и всю твою породу!

Говорим вразнобой, перебиваем друг друга, припоминаем старое.

Вспомнил, как пел с Граней ее любимую: «А я остаюся с тобою, родная моя сторона». Отвернулся к распахнутому окну, туда, где накатанная дорога рекой течет меж темными травами.

Запел тихо, одним дыханием:

Желанья свои и надежды
Связал я навеки с тобой —
С твоею суровой и ясной,
С твоею завидной судьбой.

Поет, будто вся судьба его мчится по этой песне, как по большаку.

Я его спрашиваю:

— Как в колхозе-то, Ваня?

Обернулся ко мне радостный:

— Высадили мы яблоневые сады. Видела? Приезжай весною — разольется цвет вокруг села.

И вдруг почему-то ужалила меня в сердце жалость.

А он все рассказывает и все-то светит глазами, все-то радуется:

— А клуб какой воздвигаем среди яблоневого сада!.. С колоннами! А видела, какое выбрали место? Вид оттуда хоть на картину!

Ах, просит, просит Ванино сердце — не для себя, для людей оно просит! — яблоневого цвета, земли обрядной и обродной, высокого дворца, полносветного, наголосного...

Не отдам, не отдам Ваню! Коли и есть в нем оплошка, так не вражья, не чужая! Моей души, моей земли оплошка, моего веку!

— Ванюша,— говорю ему осторожно, как лунатику.— Да ведь в том клубе всего и есть что один круглый вид на все четыре стороны.

Ваня вдруг замолк, как поперхнулся.

А Буслай крякнул:

— Иван Петрович... выводит колхоз... в обойму передовых...

Говорит, что родит,— с потугами.

Гляжу на него — ну ничем он не берет: ни ухом, ни рылом, ни очами, ни речами! Так чем же он над Ваней властвует?!

А он на Антона, на Захарку глазами повел, и те зашебаршились.

Антон, поднатужась, начал басовито:

— Оно, конечно, строительство подзатянулось... Но, однако...— До этого слова басу хватило, а как дошел до этого «но, однако», так и сорвался. Перешел на свой коренной голос, на тот дискант, каким две кумы судачат через улицу. — На данный момент имеются крупные достижения. За образцовые сроки сева наш колхоз и руководство персонально занесены на доску Почета.

Захарка ему в рот глядит, ждет промежутка, ногами сучит от нетерпения — тоже желает участвовать в культурной беседе.

Известно, безногому плясать лестно, безмозглому — умничать!

— Шлушайте-пошлушайте! Мы жапланировали урожаи... Мы жапланировали удой...

Кожу на лбу стянет, глазки заведет: глядите, мол, какой я шибко умный! Какой шибко серьезный!

Я понимаю: стараются они не ради меня, ради Геры-депутата.

Слушала, слушала, отвернулась от них и говорю Ване в упор:

— Что-то у твоих соратников, Иван, слов больно много. А правда не речиста! На нее, на правду, два слова: либо да, либо нет.— Пригвоздила зрачки зрачками да и пытаю: — Хуже ли, лучше ли в колхозе год от году? Ответь ты мне сам, Ваня!

— Трудности роста, а линия на крутом подъеме.

Смотрит твердо.

А глаза подвернул тонкий синчик — первый ледок в рекостав...

Блеснул колко, игольчато...

Тряхнул Ваня кудрями с проседью. Налил в стакан воды, поднял, поглядел сквозь нее на свет, будто запросило нутро не воды — хмельного. Засмеялся прежним своим заливчатым смехом. А зубы у него белым-белы, белее, чем в молодости.

Отсмеялся, стиснул белые, плотной изгородью зубы. Поднес стаканчик к губам, подержал:

— Сторонись, душа... Оболью...— глуховато сказал, нутром.

Поглядела я на него:

— Бережешь душу-то? Для чего ж ты ее, береженую, в сторону угоняешь?

Буслай не допустил Ваню до ответа, сунул ему бумаги, а тем двоим подал безмолвно команду. Антон по команде записклявил бабьим голосом:

— Оно, конечно, ошибки у нас есть! Но, однако... Достижений не в пример больше. Возьмем хотя бы животноводство...

И писклявит, и сам себя слушает, и сам собой упивается!

Слова сыплет с запасом на обе стороны — запаслив да опаслив два века живут. Говорит, как докладчик,— все глаже, все тоньше, да все громче.

Или оттого и верещат и гремячат его слова, что и Ваня и Буслай затихли намертво?

Разобрала меня злая досада: хоть хлестануть, хоть рубануть, да пробиться к Ваниной береженой душе!

Захарка глаза заводит, умничает:

— У наш бык-проижводитель... У наш доярки-ударницы... Под руководштвом Ивана Петровича перевыполняем план по молоку... Перевыполняем также по мяшу...

А я от злости взрывным голосом спрашиваю:

— Слыхивала я про дивный случай: одну корову пополам делили: зад доили, перед во щах варили!

Тут Буслай в первый раз глянул на меня. Странно глянул. Темные зрачки и жгут и приласкивают: пойди, мол, ко мне в ступу, я тебя пестом поглажу!

Антон запищал, заверещал, заторопился:

— Конечно, были всякие трудности! Но, однако!.. Глядеть надо вперед, а не назад. В настоящее время кадры мы подобрали...

А Захарка подхватил:

— У наш кругом кадры! У наш на каждом учаштке руководящий кадр!

Я уж обрываю, как обрубаю:

— Бывает, разведут по десять указчиков на одного работника. Указчику рубль, работнику гривна. То-то, Иван Петрович, видно, прибыль для хозяйства?! — Ваня молчит, а я добиваюсь своего. — Работал когда-то агрономом Афанасьев, один за дюжину ваших специалистов.

Сам Буслай подал потужный голос:

— Не нашей обоймы...

Антон объясняет:

— Оно, конечно, это агроном опытный, однако чуждый и бесперспективный. А Иван Петрович лучше всех видит перспективу коммунизма.

В глаза нахваливает, а Ваня слушает и хоть бы поморщился! Лицо недвижимо: не то дремотно, не то дурманно.

Антон начинает — Захарка подхватывает. Дым с чадом сошелся!

— Иван Петрович вшем головам — голова! Второго такого, как Иван Петрович, во вшей облашти нет! Таких, как Иван Петрович, днем ш огнем поишкать!

Кадит и кадит! Слушала я, слушала, да и говорю:

— Ох, дымно кадишь... Святых зачадишь!..

Сказала я эти слова. Глянула на Ваню. И тут только сама поняла — да ведь уже зачадили!

IV

И пугаюсь, и сама себя успокаиваю: чад поразогнать можно!

Буслай тем временем перевел разговор на побитую озимь:

— Ее скосить... Кукурузу посеять... Громыхнут все газеты...

Ваня колеблется — озимку еще можно выходить, а для кукурузы и земля не подготовлена, и сроки давно минули, и семян нету.

Буслай внушает:

— Срок наверстаем... Семена добудем... Под твоим руководством...

Антон видит и Ванины сомнения, и Буслаев напор. Он и вьется ужом, и топорщится ежом:

— Оно, конечно, и сроки поздноваты, и семян маловато! Но, однако... При твоем авторитете, Иван Петрович.

А Захарка расходился ото всей души:

— Да ты, Иван Петрович, вшемогущ! Да колхожники, Иван Петрович, по одному твоему жнаку — куда хотишь!

И кадит и кадит эта троица! Да как спелись!

У Буслая, у хапуги, у запевалы, захребетная своекорыстная цель.

Захарка по непробудной своей глупости старается ото всей души. Это дурак самородковый, прирожденный!

А у Антона и ум есть, да на уме одно: где блины, там и мы, где оладьи, там и ладно! Чтоб ненароком не промахнуться, сыплет хоть и с писком, да на две стороны: «Оно, конечно» да «Но, однако».

И до того эта троица кадит, что мне слушать мерзко!

Иван и тот иной раз губы скривит... А слушать все же слушает.

Видно, и претит, а в горло летит!

Приучили...

Пока они говорили, а я думала, прибежал парнишка, сказал, что приехало начальство, остановилось в соседнем селе машину чинить.

В других колхозах начальство не диво, а до нашего Загорного через боры да мшары нелегко добраться и по летнему сухменью, а весной да осенью вовсе не доедешь.

Не обрадовался Ваня событию. Пожелтел — половый стал. Буслай и тот зашебаршился, говорит поспешно Ване под руку:

— Убрать озимь-то до утра... Придет начальство, а на скотном зеленый корм... Стойловое содержание... Прямо по инструкции...

И открыли они все трое перепальный огонь по Ване.

А он впопыхах накидывает плащ, в рукава не попадает, карандаш роняет, бумажки сеет на ходу.

Уж он на пороге, а Буслай на него нажимает:

— Так двинем, Иван Петрович?

Остановился Ваня в дверях. Серые, как приглубая вода, глаза его озираются, взгляд так и бьется о стены!

Заметалась, закружилась зачаженная душа!

Повернулся он крутенько, чтоб ответить Буслаю и...

Прозвучал тут один непонятный звук...

То ли от крутого поворота одежа на Ване треснула... То ли крякнул он неловко... То ли половица так неудачно скрипнула...

Только очень уж похоже на ту стрельбу, что случается невзначай при кишечной болезни в укромном месте.

Я от конфуза приросла к полу. Ванино лицо все краской занялось, закашлялся он от стыда да скорее за дверь.

А как закрылась за ним дверь, Буслай строго всех оглядел:

— Слыхали?.. Слыхали, спрашиваю?! Иван Петрович сказал «да»!

Антон на минуту и рот разинул, да тут же спохватился:

— Мудрое решение! Верное решение! Сразу трех зайцев убьем: и зеленая подкормка, и царица полей, и по два урожая с одного поля!

И тут вдруг заволновался Захарка.

— Шлушайте-пошлушайте!—И ножками засучил пуще прежнего.—А не ошлышались ли мы? А не впали ли в ошибку? А не промолвил ли Иван Петрович шлово «нет»?! Буквы «а» мне не шлышалось! Буква «е» мне будто яшней прозвучала?!

Еще и буквы пошел обсуждать...

Буслай и слушать не стал, поднялся во всю свою круглоспинную свиную стать и дал приспешникам знак: «Сарынь на кичку!»

Я взмолилась:

— Да побойтесь вы совести! Ведь то не ум помыслил, не язык вымолвил! Ведь... заднее место оговорилось... да и то невзначай!

Глянул Буслай на меня, будто семерых живьем съел, осьмым поперхнулся.

Я все твержу:

— Каждому чиху молиться—вожака изнетить! Дом свести на отхожее место!

А уж их и нету.

V

Звезды переплывают от окошка к окошку, ночь течет надо мной.

Баба с печи летит, сто дум передумает, а сколько их за ночь переберешь?

Уразумела дневным разумом то, чем Васька-заброда властвует: колхоз он берет Ваниным возвеличенным авторитетом, а самого Ваню кадилом—леотью.

Ване только и услышать правду да совет от своих же колхозников, а меж ними и Ваней встала эта сбитая троица: коренной хапуга, трус-блиноед да самородковый дурак.

Но ни дневным, ни ночным разумом я понять не могу: откуда взялась в лести пагубная сила?!

Хвала-похвала сто веков жила, многим вредила, да народ не губила.

Хозяйничали когда-то в Загорном кулаки. И они кадильщиков слушали, а не заслушивались!

Да ведь тогда заслушиваться рубль не давал! В ту пору придремли под байку — хлестанут рублем. Проглотнут живьем.

У нас рублем не хлещут, живьем не глотают...

Или без хлыста не привыкла еще человечья душа?!

Худо стало мне от одной этой мысли. Отогнала я ее, а на ее место новая набежала.

Не рубль умом у нас властвует, а ум рублем. Каким же должен он сделаться, всевластный ум человечий?! Без чадинки, без пылинки, без кривинки!

Теперь лесть не нрав человечий портит — самому социализму точит становой корень!

Ох, грозна в наш век лесть, ох, опасна! Вчера грозна была и завтра будет опасна. Так бы я и засигналила:

«Всем!.. Всем!.. Всем!.. Молодым и старым! Заводским и колхозным! Людской разум коммунизм строит! Берегите разум от злой заразы!»

Большое бучало засыпали, тем и злой водокрут убрали, а уж дно вокруг сильно повыбито, и по всем выбоинам свои водокруты. И чем они на вид неприметнее, тем опасней.

Додумавшись до этого, и сама я закрутилась в кровати что есть силы, а за стеной вдруг как гаркнет:

— Ку-ка-ре-ку-у-у!

Батюшки, петухи! В городе отвыкла от них, а тут за стеной курятник.

Первые петухи орут надрывно, солнце еще далеко бродит в черном космосе. Его оттуда вызволять надо, а попробуй-ка докричись!

Вот первые петухи и рвут жилы. Шеи вытянув, грудь раздув, лапами вцепившись в насест, абы с крику самим не перевернуться, орут солнцу позывные:

— Ку-ка-ре-ку-у-у! Мы с землей ту-ут! Не заплутайся в посторонних галактиках! Держись моего кукареку-локатора!

Хрипнут трудяги, срываются с голоса.

Первые петухи отголосили, а я все думаю. Для всех она, лесть, опасна... Да ведь Ваня-то... Ваня... ото всех на отличку!

Ваня, Ваня, моей души родич, моего времени сын, как у тебя в душе век отпластовался?!

Вырос на больших народных делах, и нужны они Ване пуще хлеба.

Да ведь большие дела не обходятся без больших кропотливых трудов.

Иль рьяность к большим делам вкоренить в человека много легче, чем рьяность к большим трудам?!

Первая вкоренилась, ненарушима, неуязвима, а вторую и устаток подтачивает, и годы точат, и обман того, кому больше всех верили, оборачивается корнеедой...

Создалось в Ваниной душе чрезвычайное положение. Больших дел она, душа, жаждет, а больших трудов не желает!

Тут лесть все залепит, все приглушит, да так все представит, будто и большие дела есть, и больших трудов не надо. Живи — не хочу!

Произнес речь — глядь, вырос клуб с колоннами! Выступил на собрании — скотный двор взбодрился! Издал непонятный звук — заколосилась пшеница! Чем не житье?

И смекнули хитрецы-блиноеды сыграть и на Ваниных помыслах о людском счастье, и на Ваниной человеческой слабости...

Бежать к Ване, как мать к сыну, как к Сергуньке и Гране я прибегала в их бедовые дни!

Ждать утра невтерпеж, завертелась в постели, а за стеной опять как гаркнет:

— Ку-ка-ре-ку-у-у!

Вторые петухи кричат без того полуночного надрыва: солнце-то уж ближе!

Вторые петухи и дают позывные, и ободряют, и радуются, что работенка-де не впустую:

— Ку-ка-ре-ку-у-у! Так держать! Идешь по рассчитанной тр-р-р-а-ектории! Курс верен! Слушай кукареку-локатора!

И вторые петухи откричались, а я все не сплю. Мысли одолевают: одну отдумаю, а из-за нее уж другая вылазит. Голова вроде многоступенчатой ракеты. Одна беда — ступени есть, а высоты нету! Какая польза колхозу от моих мыслей? Один зуд! И отчего я, старуха, такая зудливая?

Думала, думала, додумалась! Он и есть главный виновник — сам «Интернационал»! С девчонок все пела: «Своею собственной рукой...» Допелась!

Добро бы руки были бы прежние — плотны, упруги, как две рыбины, горячи, как два утюга; урожай поднимать, машины водить, детей растить, сам социализм строить — они все могли.

Теперь потемнели, ссохлись, скрючились. Уж и не руки, а так... паленой курицы лапы. А я все — «своею собственной»!..

Своею рукой чад от Вани отогнать.

Застать бы его в пробудный час, пойти с ним на рассвете вдвоем к побитой озими, обсудить, как ее выходить. Она поднимется, а с нее и начнется подъем всему колхозу!

И вот уже не то наяву, не то во сне вижу: по изволоку колосится озимь выше пояса. В новом скотном — породны коровы! В клубе — музыка! А я себе разгуливаю в яблоневом саду, Ванина спасительница, колхозная радельница!

Все бы хорошо, да под самым окном опять как грянет:

— Ку-ка-ре-ку!

Третьи петухи победно поют!

Месяц пригас, а на небе краюха солнца да брезг зари.

Под самым окном стоит петух, распушив огонь на груди, сам собой гордится и солнцем похваляется:

— Ку-ка-ре-ку! Вот оно! Вышло в заданный срок на заданную орбиту! Я его всю ночь вызволял. Теперь радуйтесь!

Самое время вставать!

Подумала я об этом, да тут, как на грех, возьми да засни!

VI

Проснулась, а уж серебрян пастух давно с поля ушел, свое стадо увел, золот полевод давно трудится!

Охаю, спешу, собираюсь к Ване, а Марья усмехается:

— Не то что Вани, а и озими не спасешь! Буслай любит потемки да поспешки. Впотьмах да впопыхах кто углядит, сколько скосили, куда свозили? Оттого и торопился!

Я ей не поверила.

Иду полями. Все небо над ними обнесло облаками. Ветер и облака гонит, и деревья гнет. Все кругом шелестит, клонится, распрямляется! Каждая травинка и живет, и дышит, и спорит с натиском.

Подошла к изволоку.

Одна стерня...

Остра на срезе. Мертва на ветру. И пылит и тоскует по ней обездоленная земля... И пылит, и дымит, и горьмя горит...

Сварганили молодцы-удальцы, ночные дельцы!

Последние снопы наваливают на машину. У машины Антон.

Кинулась к нему, чуть не плачу:

— Что ж ты, милый, делаешь? Буслая я не знаю, Захар — самородковый дурак, а ведь ты-то честного отца разумный сын!

Он переминается:

— Оно, конечно, рад бы побеседовать, Василиса Власьевна, но, однако, не поспеваю...

— Да уж где тебе успеть? — говорю, слезной солью слова посыпаю.— Собака собаку в гости звала. «И рада бы прийти, да важные дела».— «Что же у тебя за важные дела?» — «Видишь, мужик едет, так мне надо вперед забегать да лаять!»

Отчитала, отошла.

Вокруг меня колотье, колотье... Под стерней-колотьем горючая земля.

Стою над ней, как над сиротой. Нет, мол, у тебя ни отца, ни матери, так на, мол, тебе хоть бабку — паленые лапы!

Гляжу: подъезжает вездеход. Выскакивает из него Ваня и, дверцы не захлопнув, бежит, бегом бежит к стерне. Подбежал и замер.

Мотается, хлопает под ветром незакрытая дверца. Полы Ванина плаща так и бьются об ноги. Тени стелются по изволоку большим звериным наметом.

Недвижимы только стерня да Ваня над нею.

Стоит он на поле, как на погосте.

Что поминает? Озимь ли? Корчевье ли? Себя ли прежнего?

Вспомни, Ваня, как, бывало, украшал землю, как она тебя любила, как под твоей рукой зеленела! А теперь испропастил ниву, стоишь под ножевой стерней! Под ветром, под полуденным солнцем она не играет, не блестит, отдает в глаза твои мертвым железным туском.

Стоит Ваня, стоит как вкопанный.

Видно, остра правда, как сто ножей,— не одну меня, и его она резанула. Рассечет все оболочки, обнажит сердцевину! Самое сердце Ванино вот-вот раскроет.

И все во мне всколыхнулось. И руки у меня как руки, и спина как спина, и верю я: здесь сейчас, над стерней, на ветру, и случится чудо!

Антон со страху спрятался за машину и шепчет мне:

— С утра при районном начальстве собрание. А в колхозе кляузы... Иван Петрович в расстройстве... Вы и не приступайте...

А я иду к Ване. Вплотную подошла, а он не слышит.

Очи его серо-синие, как приглубая вода, тоскуют, озираются, удивляются: «Сбил, сколотил — вот колесо! Сел да поехал — ах, хорошо!.. Оглянулся назад — одни спицы лежат...»

У левого виска какая-то жилка бьется да бьется. А губы приоткрыты жалобно.

Сейчас, сейчас, пока он такой недоуменный, горький, раскрытый. Сейчас...

А он увидел меня, губы подобрал, круто отвернулся. Лица не вижу, одно ухо передо мной. Ухо хрящевое, с жухлой серой мочкой.

Ладно, думаю, буду говорить прямо в ухо!

Что я там, над той стерней, над той праховой землей, ему в ухо говорила, по порядку и не припомнить.

Говорила: не верь, мол, пустым речам, верь своим очам! Не ищи друга-встречника, ищи поперечника! Призови мастаков, знатоков, бескорыстников, честняг-работяг, смельчаков, правдолюбов. С ними час горче, да век слаще. А у похвалки ножки гнилы — далеко на них не уйдешь! Разгони одним махом всех похвальщиков. Вредней их нет для народа. Вожаку застить — народ напастить!

Говорю, тороплюсь, не передыхаю.

Вот-вот повернется, увижу прежнего, долгожданного...

И верно, он повернулся.

И вижу я: лицо-то у него чужим-чужо.

Щеки набрякли, желваки вздулись. На что уж нос — хрящи да кости, а и тот не по-Ваниному выпятился.

Видно, лесть не поверху чадит, а в самую кость пробирается. Кость изъедает!

Я отступила перед тем лицом, а оно мне усмехается, оно мне выговаривает:

— Кляузы собираешь, Власовна... хоть ты и мать депутата...

Не отодвинул, отшвырнул меня словами.

А в глазах у него уж не ледок-синчик, а целые ропаки. Громоздятся, наплывают друг на друга, и не пробьешься сквозь них и на атомном ледоколе! И вижу я: нагольной правдой к нему не пройдешь! Дóвеку не нужны ему праведники, нужны одни угодники.

Эко злое диво, диво навыворот: и без зубов лесть, а с костьми съест.

Зашагал он от меня.

Рванулась я за ним. Взмахнула своей паленой курячьей лапой:

— Прощай, Ваня!

А мне и проститься-то не с кем.

Нету Вани.

Остались от Вани одни оглодыши...

ТРИ ТЫЧКА В ТРИ ЛИСТКА

I

Четыре года назад привезла я внучку, Гранину дочь, к профессору областной консерватории. Мать с ней ехать не в силах, отец, первый секретарь райкома, не может покинуть район. Вот и отправились бабка Василиса да внучка Васена.

Жить мы должны были у Геры-депутата. Недавно получил он большую квартиру.

Всегда нас встречала Ляля, а тут не встретила: не дошла телеграмма. Беда невелика: хоть я и не была на новоселье, да адрес известен: улица Береговая, дом 40б.

Васенка знает, что дядя Гера даже на космодроме бывал, и все допытывается:

— Бабушка! Космический и коммунистический—это одно и то же?

— Не одно, а рядышком.

Увидела новый вокзал.

— Бабушка, а дом, где живет дядя с товарищами, еще интереснее?

— Куда уж вокзалу! В том доме кнопочка есть: нажал и всеми этажами снялся да и взлетел на луну. Пожил на луне лунный сезон, наскучался лунными кратерами, нажал на кнопку, и—здравствуй, земля-красавица!

На середине Береговой улицы сошли мы с автобуса, двинулись пешком.

Идем, любуемся: улица широкая, усажена деревьями, дома высокие.

В конце улицы три дома-красавца, что три близнеца,— все шершавого розоватого камня, все окнастые-глазастые. Голубеют сквозным стеклом, легко поднимаются к небу.

Васенка догадалась.

— Здесь дядин дом!

Подходим к первому из трех—и верно, дом 40!

Стоит красавец в зеленой купине, а из окошек свисает что-то серое, длинное, шевелючее. Удавы—не удавы? Сразу и не разобрать, что это шланги для полива.

Все подворье разделено заборчиками на клетушки, и в каждой клетушке по удаву. А в клетушках ель лезет на яблоню, лук-порей — на розы.

Стоим с Васеной, дивимся, а за кустами сцепились два голоса:

— От вашей яблони у меня в комнате зеленая тень и вся моя семья тоже зеленая!

— Вы не от яблони, вы от злости зеленые и психоватые! А ваша собака в прошлом году в нашу клубнику мочилась!

— Обрубите вашу яблоню, или я сам обрублю...

— Только попробуйте. У вас кошка и та психоватая — у ней зрачки поперек.

Неужто же, думаю, тут жить?! Глянула на дощечку: 40а.

— Васена,— говорю,— пронесло беду! Наш дом следующий.

Она взглянула на соседний дом и бегом к нему. И я за ней потрусила.

Горят две поляны тюльпанов, а меж ними фонтан. Вдоль изгороди сирень. Слева — душевой павильон. Справа — песок, грибки-навесы и надпись: «Детский солярий».

По краям двора песчаная дорожка, над ней планка. По дорожке бегут парнишки в трусах, и один посередине стоит с секундомером и командует:

— Коля, корпус! Игорь, опорная нога!

Васена моя загляделась, а командир ей говорит:

— Девочка, посторонись. Здесь тренировка домовых спортсменов.

У Васены глаза и разгорелись, а я читаю надпись: «40в».

Дом 40б оказался напротив.

Сам дом такой же красоты, а стоит на голом пустыре.

Вокруг него ни куста, ни травинки, ни ограды. Дует нагольный ветер-лобач. За деревьями его и не слышно было, а тут заметает пыль.

Васенка спрашивает:

— Бабушка, отчего здесь такое?

— Видно, еще не поспели сад посадить.

Взвилися мы на лифте. Дверь кожаная, стеженная, как одеяло, вся в золотых пуговках. На дощечке серебряное тисненье: «Г. Т. Добрынин».

II

Началась наша новая жизнь.

Профессор сам взялся заниматься с Васеной. Она трудится, и мне дела хватает. Вожу ее на занятия и обратно. Помогаю Ляле по хозяйству. Квартира большая, да и семья не маленькая. Геры, правда, и дома почти не бывает, младшая девочка уехала гостить к Лялиной матери, зато близнецы Костька да Витька сто́ят целой роты.

Выжердились ростом с отца, оба черные, оба с Лялькиными пуговичными глазами. Из баловства и причесываются точка в точку и костюмы носят один в один — так им ловчее ходить друг за дружку и на экзамены к профессорам, и на свидание к девчатам. Озорники, беда!

Они и надо мной озорничали.

Я со временем научилась их различать, а первые дни повязывала Костьке на палец красную нитку.

Приключился у Витьки жар. Я весь день кручусь возле него, а вечером, гляжу, он высунулся в окно полуголый. Я взяла ремень да и стеганула по главному месту.

А он оборачивается и хохочет:

— За что, бабуня?! Ведь я не Витька. Я Костька!

— А если ты Костька, то где ж твоя нитка?!

— Потерял,— говорит.— Плохо привязали!

— Если ты «Костька с ниткой», так где же «Витька без нитки»?

— «Витька без нитки» смылся на свидание.— И сам заливается.

То ли он «Витька без нитки», то ли и вправду это Костька сбросил свою нитку да и морочит мне голову?!

Оба на первом курсе металлургического института и спорят день и ночь о мартенах! Костька стоит на том, что их надо автоматизировать, а Витька говорит, что нечего с ними возиться, надо заменить их новыми методами.

Средь ночи проснусь, один кричит:

— У тебя консервативное мышление! Ты ретроград-консерватор!

Другой отвечает:

— Мартены на слом?! Неэкономично! Главное — экономика страны! Не я ретроград-консерватор, а ты верхогляд-прожектер!

Вхожу к ним, а они оба на полу, и у одного нос в крови.

— За что, дурак, кровь проливаешь? — спрашиваю.

— За отечественную металлургию!

И оба хохочут.

В первый день они у меня в глазах двоились. А потом уж пошли не двоиться, а четвериться, восьмериться!..

Все черные, все с пуговичными глазами, все шумят, все скачут.

И как получились такие от тихой Ляльки да вельможного Геры?

Рассказывал мне Гранин муж, любимый зять мой Степан Алексеевич, про кукурузу. Если скрестить два чистых противоположных сорта, то получается кукуруза страшного могущества. Называется «гибридный взрыв».

Поживши с Костькой да с Витькой, скажу я вам: один такой «гибридный взрыв» в доме еще можно стерпеть. А уж два...

Васенку они полюбили. Все ставят ее на голову — собираются выступать в институте на вечере со спортивным аттракционом. Я их укоряю:

— Чем вертеть сестренку кверху ногами, позаботились бы об ней. На дворе пыль глаза ест.

— Мы в парке гуляем. И она пускай ходит в парк.

— Все одно мимо пустыря идти.

— Мы прищурившись мимо него ходим. И она пускай щурится.

От своего отца привычку переняли, тот и вовсе вприщур живет. Человек, который смотрит либо вдаль, либо в глубь себя, ресницы присмеживает. Он ресницами мысли отгораживает, чтоб ничто постороннее его не отвлекало. Так и наш Гера — ходит, ресницами отгородившись.

От своих моторов он отрывается мыслями только на один час: с шести до семи.

В шесть придет, перекусит, приляжет на часок на диван и зовет, как маленький:

— Лялька!.. Домой... хочу!..

Она ляжет рядом, он уткнется ей под мышку.

Я его спрашиваю:

— Что же, по-твоему, «дом»?

— А это — главное место на земле! Где лучше всего понимают, что надо моим потрохам, моей голове и моей совести.

— Объясни,— говорю,— подробней.

— Стоял мой пулемет на обороне на взгорье... Зима. Вьюга. Фашисты на нас ползут. Жили на юру, под пургой, под пулями. А внизу был блиндаж. Выбьемся из сил, пойдем туда... «домой»... на часок. Кровь прогреешь. Разомнешься. Глядишь, опять «отмобилизовался»! Опять солдат!..

— Плохо поняла,— говорю.— Еще объясни...

— Американцы начинают подбираться к нашим пара-

метрам... А мы должны меж нами и ими дистанцию не снижать, а наращивать! Я и сейчас на юру живу... На юру!.. Понятно объяснил? А Ляльке объяснять ничего не надо.

— Тебе хорошо! Ты у жены под мышкой «отмобилизовываешься». А где другим «отмобилизовываться»? Взять хоть нашу Васенку. Ей на пустырь ходить, пыль глотать?

— Где пустырь? Какой пустырь?

— Да у тебя за окошками.

Вытянул шею, поглядел в окно.

— Я,— говорит,— его и не замечаю!—Взглянул на часы:—Мне еще полчаса отдыха... В семь стендовые испытания...

Смежил ресницы и нырком к Ляльке под мышку.

III

Стали мы с Васенкой ходить на прогулки в соседний двор. В эту пору как раз сирень зацвела, как вскипела. Гроздья пышны, упруги и дивного, светлого цвета.

Бывает, сквозит такой цвет над рекой на восходе. Еще и небо не высинилось и заря не загорелась, а где-то в самой глубине бледно-голубого уже затеплился бледно-розовый...

И уже светлеют они оба, и еще нет ни того, ни другого... Только утро... Только брезг зари на подступе... Только солнце на восходе... Только все полуденное счастье тут рядом, близко, за плесом...

Не сирень цветет—заревая кипень бьет по всему надворью.

Под сиренью тюльпаны желто-красные, словно огонь пробился из глуби земли на́встречь лету.

Вокруг цветов роятся люди—рыхлят, поливают.

Мы с Васенкой помогаем—рады случаю покопаться в земле. Главного заводилу я приметила не сразу.

Ходит человек—седоват, а крепок. Сам невелик, головенка кругленькая, набок наклонена, глазки черные, как две бисерины. Нахохлится—ни дать ни взять птица воробей: зерно выглядывает да прицеливается половчее клюнуть.

Поглядит, прицелится и заулыбается, засеменит, хоть и бочком, а споро, то к одному, то к другому.

Стала я к нему приглядываться.

Подошел к молоденькой женщине:

— Показался ли у Маринки пятый зубок?

— Как стала сажать в солярий, так и зубки пошли.

— Пора песок обновить. Не поможет ли ваш муж на своем самосвале?

Договорился, простился и уже опять головенку нагнул, опять прицеливается.

Выходит из дому к своей машине председатель райисполкома. Воробей мой скоком-боком к председателю. Этому козырю все под масть! Подошла я поближе, слушаю.

Председатель — человек усталый, лицо с синевой, веки отечные, взгляда не пропускают.

— К сожалению, занят,— говорит.— Не могу прийти на субботник. Я пришлю вам садовый трактор.

— Очень хорошо...— Вытащил блокнотик, записал и говорит совсем тихо: — Ведь у нас была своя идея! На заводах бригады коммунистического труда. А разве нельзя организовать домá коммунистического быта? Ведь кругом стройка. Что людям взять за образец?..

Смотрю, поднял председатель отечные веки, а глаза под ними не по лицу веселые. Подумал о своем, засмеялся.

— Ладно,— говорит,— старик! Раз «идея», приду, будь по-твоему.

Мальчонка лет пятнадцати кричит на весь двор:

— Дядя Петя, наш Васька влюбился! Дай ему букет вне очереди!

«Зерноклев» заколыхался. Смешлив, вроде меня! Посмеявшись, отвечает:

— Дадим букет. Специальные кусты высадим! Берите лопаты, копайте ямы — посадим для вас кусты особо. Влюбляйтесь на здоровье!

Понравился он мне. Неказиста лошадка, да бежь хороша!

Углядит в каждом человеке доброе зерно и ухватит.

Ребятишки убежали, а воробей-зерноклев аж ногами притопывает — доволен. Потоптался, покружился. И вдруг встал посередь своей орбиты как вкопанный: голову набок, круглый глаз нацелил. На кого опять, думаю? Батюшки! Никак, на меня?!

И верно... Прямиком ко мне. За какое место, думаю, он меня уклюнет?

А он ко мне без лукавого подхода, спроста, почеловечески:

— Я сам дед, сам внуками не обижен, но уж ваша Васена...

Разговариваем мы, как бабка с дедом.

— Закупили мы детскую мебель — в зеленый уголок для дошкольников. Надо привезти, да боюсь, шофер не углядит, чтоб аккуратно погрузили. Может, вы с ним подъедете?

И чего-то вдруг сильно захотелось мне приложить к этому делу свою руку!

Я тесто собиралась ставить, да и на него махнула рукой:

— Прощай, квашня, я гулять пошла!..

Оглянуться не успела, как сижу в кабине.

Тут только и спросила у шофера про «зерноклева»:

— Кто таков?

Оказался — управдом.

IV

Соседний сад день ото дня пышней, а наш пустырь день ото дня пыльней!

Однажды глядим мы с Васеной — свалены возле нашего дома саженцы. Деревца слабенькие — три тычка в три листка, а возле них целое стадо коз. И щиплют и щиплют, стригут челюстями, что автоматы!

Две дворничихи испрохвала копают ямы, а на коз не обращают внимания.

Я к старшей.

— Катерина,— говорю.— Ведь общипают козы ваши саженцы еще и до посадки.

— А не все одно, до посадки либо после? У нас третий год так. Саженцы привезут — загородок нету. Саженцев не станет — загородки привезут. За зиму загородки растащат, а с весны опять саженцы привозят — и пошло все сначала.

Отогнали мы с Васеной коз, кинулись в контору.

Наш управдом не чета соседнему — оборвал меня на полуслове:

— Погоди, старуха. Я думаю...

Сидит и смотрит в бумагу. Головища тяжеленная, лицо будто из кирпича, красно, недвижимо. Уставился в бумагу в одно место и глазами не водит. Один носище, что насос, трудится: «Пф... пх... пф... пх...» Гляжу на него, думаю: «Хоть помигай! Покажи, что жив человек».

Ждала-ждала, не вытерпела.

— У вас,— говорю,— все саженцы козы сжуют.

Не враз приподнял голову — этакий нос-насос не скоро и поворотишь. Глядел, глядел, наконец выговорил:

— ...Ты что? В дворники наниматься?

— Нет. Не в дворники. Я говорю, около саженцев цельное козье стадо!

— А если не в дворники, то чего пришла?

Тьфу ты, думаю, мозговина у тебя с котел, а в ней чистый вакуум! Не знают в институте Курчатова — эка ценность пропадает!

В третий раз ему объясняю:

— Козы деревца сгложут. Ни забора, ни изгороди.

— Да ты откудова взялась такая?

— Приезжая я.

— А приезжая, так с чего по дворам шатаешься? Ступай, старуха, ступай со двора подале.

Тут Васенка встала на защиту:

— Зачем вы нас гоните? Мы живем в десятой квартире у дяди Герасима Тимофеевича.

Он разом и пыхтеть перестал.

— У Герасима Тимофеевича? У генерала? У депутата?! У лауреата? Вы?!

— Мы.

Встал он, рот нараспашку, язык на плечо. Потом заюлил, затормошился. Голос откуда ни возьмись появился бархатный.

— Так вы его мамаша? Какая приятность для всего дома! Что же вы сразу не сказались? От посторонних мы обязаны охранять! Выполняем долг.

И хребет у него заиграл, и нос-насос полегчал, и улыбка расплылась от уха до уха.

Гляди, какой «изотоп» на глазах образовался!

Слова так и выпевает:

— Что касается саженцев, то ограды не подвезли. Вот запрос на изгороди, вот ответ...— И тычет мне в глаза бумажки.— А район у нас пока неблагополучный в отношении коз: кругом выселки.

А из окошка видно — дом 40а с густой зарослью. Я ему показываю.

— Как же там пышнота выросла?

— Там, так сказать, частный сектор.

— Частный сектор, по-твоему, против коз выстоит, а общественный нет?

Молчит. Пыхтеть опять завелся.

— Договорился, батюшка, дальше некуда. А как же тогда в доме «В», где фонтан?

Еще пуще покраснел, весь натужился — гляди, лопнет с досады.

— Там управдом работает преступными методами! Не по той статье расходует фонды. Связался со спекулянтами.

— Непохоже...

Не захотелось мне с ним дальше разговаривать.

Пособили мы с Васенкой посадить саженцы, и взялась у нас новая забота — охранять и выхаживать. Хоть и три тычка в три листка, а жалко!

С утра коз угоняют на поле, а к вечеру они возвращаются, тут и начинается козья атака!

Сидим с Васенкой в полном вооружении — в руках и палки и хворостины. Дожидаемся натиска.

Вечера ясные.

По соседству цветут сады, люди смеются, бегают домовые спортсмены, а мы вдвоем посередь пустыря под тычками. Ветер пыль гонит. В соседнем саду за купинами его и не слышно. А тут сверху небо, снизу земля, с боков ничего нет, оно и продувает. Саженцы гнет до земли. До того эти саженцы жалостны, что от них пустырь еще злее.

Васенка глядит вокруг и спрашивает тоненьким своим голоском:

— Бабушка! Земля одинакова, небо одинаково, облака одинаковы, почему три двора разные?

— В доме, где удавы, весь сад разделили, и каждый сказал «мое». «Мое» — слово звериное! Этому слову мильон лет! Силу оно набрало великую. Видела, какие цветы они повырастили? По отдельности есть на что поглядеть, а как все вместе охватишь — жить-то по-людски и негде. Так или не так?

Васенка со мной соглашается:

— Так, бабушка.

— Во втором доме «мое» отрубили. Сказали: «наше»! Это слово справедливое, человечье. Тут без души нельзя! Тут надо вместе: и точный расчет, и душевный размах. И большой ум нужен, чтоб определить средь «общего» справедливое место каждому! Люди в том доме живут с умом, и верховодит там душа-человек. К каждому приглядывается: где, мол, в тебе золотое зерно? Зерно по зерну — ворох! Цветок по цветку — сад! Вот и растят сад, где все для человеческой жизни. Или я не так говорю?

Она опять соглашается:

— Так, бабушка.

— А в третьем доме «мое» отрубили, а «нашего» растить не умеют... Ни звериного «мое», ни человечьего «наше». Пустота! От пустоты пустырь и родится! Вот и вырос тут пустырь-пустырище. И дует на нем ветер-ветрище. И летит над ним пыль-пылища...

V

Дворничиха Катерина, убравшись, садилась на скамейку плесть кружева.

Подсела я к ней.

Женщина она немолодая, аккуратная, седая коса на голове венцом. Сама солидная, а руки худые, быстрые. Кружева из-под них так и льются.

Сидим мы с ней, а перед нами три тычка в три листка пригибаются. Тоненькие прутики вздрагивают, прижухлые листья дрожат мелкой дрожью. Тревожно, потужно, а все живут! Все не гола, заскорузла земля. Еще сад не сад, да уже и пустырь не пустырь.

Катерина шепотом считает петли: «Раз, два, три, четыре, пять...» По двенадцать отсчитывает. Я ее спрашиваю:

— Разрастутся тычки или посохнут?

— Посохнут...— И опять шепчет: — Раз, два, три, четыре... У нас все сохнет.

— Как же все?! Соседний сад под носом! Или ты слепая?

— Бывает людям счастье...— говорит так, будто сад не рядом, а за тридевять чужедальних земель,— у них дворникам и мести нечего — одни газоны... А у нас метешь-метешь... пыль на зубах хрустит. Мне ни в чем счастья нету!

— А ты как счастье понимаешь? Растопырил пальцы — глядь, счастье увязло!.. Разинул рот — а оно и туда!..

— А что я могу? Жильцы прищурившись ходят. А управдом у нас такой — на что ни зинет, то и сгинет!

— Пошла бы да и сказала кому следует про него.

— С работы сгонит да выселит. Где еще я найду в таком доме да такую комнату, как моя?

— Из-за комнаты молчишь?

— Из-за разума. Не только молчу, а еще и нахваливаю его при необходимости!.. Раз, два, три, четыре...— Лицо равнодушное, а пальцы движутся быстро да мелко, и ползет из-под них кружево рыбьей чешуей.— Что ты меня разглядываешь? Одна я, что ли? Я из-за своей комнаты щурюсь да молчу о мелких надворных беспорядках. А бывало, начальники и не на то щурились и не о том молчали из-за чинов да из-за тысяч. Все мы по пояс люди! Все по правде тужим, по кривде живем.

— Не все! — кричу ей.— Не все! Слепы твои очи...

— Значит, не все дошли до ума. Я тоже глупа была. Мужа слушала. Все за правду ратовал. Помер... Раз, два, три, четыре... Сварливы да драчливы веку не доживают. Вздумаю о нем — другу-недругу закажу: молчи да щурься! Не тужи по правде, обживайся с кривдой!

Кружевную нанизь не перебивает, равнодушно ведет обыденную беседу.

Вот она, та застарелая корнееда, которой обернулся прошлый обман, которая и Ваню подточила. И в коммунизм с ней не войдешь, и залечить ее, землю не перекопав, не залечишь...

— Сидишь ты на пустыре,— говорю,— а внутри у тебя того пуще пустырь. Хоть три тычка в три листка шевелятся?

— Отшевелились... И эти, что во дворе, скоро отшевелятся. И соседнему саду посохнуть не миновать. Наш управдом соседнего донял... Пошел будто для обученья опыта. Выглядел, высмотрел, нашел зацепку. Вон он топает.

Вышел он из-за угла и встал. Стоит, пыхтит — не помрет, так родит. Увидел меня и сразу обернулся «изотопом». Лицо улыбчиво, голова поклончива, руки подносчивы.

— Отдохнуть вышли, Василиса Власьевна?

Катерина говорит ему:

— Поздравить вас не пора ли? Разрастается ваша вотчина — будете принимать соседнее хозяйство?

— Нет, нет, не стремлюсь! Начальство настаивает, а я не хочу! Отказываюсь! Там безобразий много... Документы оформляют незаконно. Рассаду закупили у спекулянтов. Я в это дело вник и разоблачил!

Удалось червяку на веку зелен лист подъесть...

Он поплыл дальше, гордо нос кверху, а Катерина свою чешую нижет:

— Раз, два, три, четыре... Слопает он соседа вместе с его садом. У него наверху рука.

У меня от досады голос дребезжит:

— Летит жук, жужжит: «Убью, убью». Гусак длинношеий от страха затрясся: «Го-го-го, кого?!» Баран рогатый от испуга замекал: «Мм-ме-ме-меня?!» А курочка рябенька подошла да и клюнула. И нету жука!

Катерина подняла глаза, а они на обветренном лице белесые, пустые, как слепые.

— Ты сама-то хоть веришь в этакие чудеса? Или только другим рассказываешь?

— По мне, не верить — жизни лишиться!

— Значит, веришь под страхом смерти? Сама себя приговорила: «Либо верь, либо помирай!»

— Нет, не от смерти вера... От самой жизни!.. Век доживаю — все видела. И неправду, и обиду, и смерть, и войну. И самое великое горе знаю: любимую дочь видела хуже чем мертвой — изувеченной... Через все прошла... А вот оглянусь: еще бы мне десять таких жизней!.. Дорого мне видеть воочию, как добро над худом берет верх! И нет дороже, как способствовать этому «своею собственной»!

— Не бывает этого ничего. Слушать тебя скучно.

— Да как же не бывает? Вот она я. Может, и меня тоже нету?

Губы ужала Катерина, подобрала чешую и уползла, уволокла свою корнееду.

Кликнула я Васену, и отправились мы домой.

Я еще с порога поторопилась сказать:

— Управдома изводят!

Да на том и осеклась: у нас в доме «журнальный день»!

По десятым числам приносят Гере из института новые технические журналы, наши и заграничные, и вся семья зарывается в них по уши — слышать-видеть перестают.

Гера сидит в углу на диване, рассматривает чертежи в журнале, щурит один глаз и шепчет про себя: «Кэ-пэ-дэ... коэффициент... тянущая сила...»

«Гибриды» улеглись на стол животами и жужжат. Ляля помогает им переводить с английского.

Нам с Васенкой тоже охота приютиться в семейном сборище. Топчемся, топчемся — на нас никто не глядит.

Я улучила минуту, когда жужжанье поутихло, и опять говорю:

— Гера! Ты меня слышишь? Управдома изводят.

Он взглянул на меня очумелыми от своих «кэ-пэ-дэ» зрачками:

— Управдом? Какой управдом? При чем я?

— Так ведь ты депутат! А управдом соседний.

— Соседний не по моему округу...

И опять нос в книгу.

— Может, и коммунизм,— говорю,— не по твоему округу?

Гера меня и не услышал. А Витька укорил:

— Экая ты у нас, бабка, некондиционная! «Коммунизм, коммунизм»! Увела бы внучку в свою комнату да рассказала бы ей: «Жил-был у бабушки серенький козлик...»

Ушли мы с Васеной в свою комнату. Васена спрашивает:

— А почему ты «некондиционная бабка»? А это про какого козлика сказка? Про «моего» козлика или про «нашего»?

— Козлики больше ходят индивидуальные. Овечек, тех обобществляют.

— А почему нельзя, чтоб и козлики были тоже «наши»? — Посмотрела в окно и вздохнула: — Объясняла ты мне про «мое» и про «наше», а я все равно не понимаю. Почему козликов нельзя? И почему все дворы нельзя? Вот три дома одинаковые, земля под ними одинаковая, небо над ними одинаковое, а дворы разные? Разве нельзя, чтобы у нас везде было «наше»?

— Пустырь,— говорю,— сам разрастается, а сад растить надо. Так и «мое» да «наше»! «Мое» само растет, а

«наше» надо вкоренять да взращивать. А прежде того почву под него подвести — интерес, справедливую выгоду! Без этого не вкоренишь, сколько ни бейся! Для начала надо к «нашему» примешивать и малость «моего».

— Как его примешивать?

— Видела, ходит по соседству управдом, зерноклев-воробей? В каждом человеке высмотрит золотое зерно да найдет подходящую для того зерна почву! С чего я, квашню побросав, в один миг сорвалась ехать за мебелью? Об тебе думала! Не было б тебя, я б тоже поехала, да была бы во мне та шустрость? Врать не хочу! Небось бы сперва тесто вымесила, пироги б спекла! Зерноклев интерес-выгоду переплетает с душевным интересом! Чуток «моего» подбавляет к «нашему», умно подбавляет, не нарушая справедливости, обдумчиво, постепенно.

— А мне хочется сразу.

— То-то и беда, что не одной тебе этого хочется. Небось тебе хотелось взять скрипку да с первого дня разыгрывать не упражнения, а концерты? А что б тогда было?.. Ни скрипки, ни музыки!.. Кругом пустырь...

...К полночи оторвался Гера от своих журналов, нацелился спать. Пошла я к нему.

— С утра ты уйдешь, а дело насчет управдома неотложное.

Он махнул рукой:

— Узнаю свою старую... Приехала... Я слыхал, он незаконно действовал.

— Разберись, кто слух пустил! Наш управдом заложился за соседним, что собака за зайцем.

— А зачем ему «закладываться»?

— Тьма света не любит, худой хорошего не терпит, бесталанный таланного изводит! У нашего три тычка по три листка, а у соседнего целый сад! Этот сад нашему облыжнику каждый день глаза колет. Как же ему жить без наговора?

Гера устал за день и от «кэ-пэ-дэ» очумел, зевает с присвистом:

— У-ы-ых! Да зачем...— И опять зевает: — У-ы-их!.. Зачем ему наговоры?

— Да ведь если б по соседству такие же тычки, уж как бы ему хорошо! Тогда он не стал бы клепать! Он бы еще эти тычки сдогадался хвалить, что есть силы! Нынче, мол, я соседские тычки возвеличу, а завтра и мои три тычка в три листка войдут в славу!

Ляля подоспела, и пошли мы в два голоса.

Ляля говорит:

— Человека видно по делам. Посмотри на соседний сад.

Я подхватываю:

— Не верь ты чужим речам, верь своим очам! Ведь тебе только в окно глянуть!

Вмешался Герасим, и вскоре всем на радость пришло указание — поставить «зерноклева» управдомом над обоими домами.

Вот оно, и чудо на пороге, много ли для него и надо? Разумных людей, добрую волю да открытый взгляд...

VI

Васенке двух лет не хватало до приемного возраста, но сам профессор обещал просить, чтоб приняли ее в музыкальную школу до срока, как редкий талант.

Уехали мы к себе, а в августе возвращаемся. Подходим к дому.

Пустырь пустырем, тычки и те зачахли... Смотрим на соседний двор — что такое? Клумбы потоптаны, а сирень пообломана. Вместо пышных кустов те же три тычка в три листка.

...Ляля с дочкой гостила у матери, а «гибриды» и Гера пришли домой к вечеру.

Васена сразу к Гере:

— Дядя Гера, как же сад? Где же тот управдом? Ты же обещал!..

Гера глазами хлопает. А мне и говорить с ним горько:

— Склевали зерноклева... Наш «изотоп» по обоим дворам топает.

Гера кается:

— Закрутился... Не проследил... Забыл!

Стала я его укорять:

— Об чем ты забыл?! Может, об самом коммунизме забыл?

«Гибриды» вмешались. Витька говорит:

— Опять ты о коммунизме, некондиционная наша бабка! Были б машины, а коммунизм приложится!

Костька добавляет:

— Родились — «социализм, коммунизм». В детсад пошли — «социализм, коммунизм». В школе и в институте — «социализм, коммунизм».

Витька итог подбил:

— А чего о нем говорить? Обыкновенный социализм! Вот ракетный двигатель — это да!

Что с них, с пересмешников, взять? Я к Гере:

— Ленин ради твоих двигателей положил жизнь?! Да и

тебя самого взять. Скажи ты мне: ради чего ты двигатель свой обмозговываешь, параметры гонишь, ночей не спишь?

— Чтоб не обогнали нас поджигатели войны.

— Значит, не двигатель для двигателя тебе нужен! Нужна тебе машина, чтоб обезопасить мир социалистический. А что такое социализм, если сказать попросту? Коренная справедливость! «Мое» неправдой живо, а «наше» держится справедливостью!.. Гляди, под окошками-то пустырь.

— При чем тут пустырь, мать?

— А как раз при ней!.. При справедливости... Если колышутся возле нас три тычка, всегда одна тому причина — забыли о социализме, отступили где-то от главного закона его — от коренной справедливости! Ты глаз на это не прищуривай! Ты ищи, где, в чем отступили?! Рук-ног не щади — поправляй ошибку! Если каждому по труду — так уж по труду. Если от каждого по способности — так уж по всей твоей способности, Гера, без позевоты, без потяготы, ото всей души, а не «исполу»! А ты... «забыл»... Об чем забываешь?!

* * *

К Первому мая принесли мне приглашение на трибуну. Спрашиваю у Геры:

— С чего мне, старухе, такой почет! По сыновьим заслугам или по мужниной памяти?

Гера посмеивается:

— Секрет...

Стою на площади, на трибуне. Краснопогодье. Тополя окинулись первой листвой, люди улыбаются, трубы гремят, и так хорошо вокруг, что любо с два!

Прошли у самой трибуны трубачи. Серебряные трубы солнце дробят, поднимают небо. Из дальней улицы выплывает на грузовиках двухметровая ракета, а на ней космонавт в скафандре. Гера протягивает мне бинокль и говорит:

— Вот он, секрет... Смотри!

Глянула я в бинокль, и ушла земля из-под ног.

Несусь неведомо куда — в то, что давно миновало, или в то, что вовеки не будет?

Граня!.. Да не та, что теперь! Нет! Прежняя. Безбедная. Беспечальная. Девочка, что всех доверчивей выходила навстречу судьбе. Я хватаюсь за перила. «Портрет, думаю, портрет».

А она как повернет голову да как поведет на меня смеющимися живыми глазами с самого синего неба!..

И кивает оттуда, будто говорит: вот, мол, я тут, тут перед тобою, не мучена, не калечена! И нельзя меня ни измучить, ни искалечить. Не подвластная я никакому злодейству.

И ее, и моя, и Тимошина молодость пронеслась близ меня в секунду. Долог миг — короток век. Я зажмурилась. Одной рукой держусь за бинокль, другой — за перила.

Разжала веки, взглянула второй раз — подбородок не Гранин, твердый — Степин. Не Граня! Сын ее Тимоша посредь площади в скафандре на серебряной остроносой ракете.

В первую минуту очертило биноклем на синем небе его голову, да так, что подбородок укрылся за скафандром, а лоб да глаза у Тимоши в точности Гранины.

Опустила бинокль, отираю с лица испарину и слышу, по радио объявляют:

— Колонну юных спортсменов возглавляет пионер Тимоша Бережков!..

Растолковали, что посадили его на ракету не случайно, а за то, что тверже других идет к своей цели — стать космонавтом. И учится на пятерки, и спортивные показатели отличные, и занимается в кружках авиамоделистов и юных астрономов.

Так вот, значит, по кому мне честь! Не по мужу, не по сынам — по внуку!

С четырех лет повадился он у нас лазить на крышу. Мы с Граней топчемся, как две клуши, а он сидит себе, дожидается вечера, желает разглядеть луну с высоты.

Однажды я попросила соседа стянуть его оттуда да отлупила — он покряхтел маленько, говорит как ни в чем не бывало:

— Ты раньше была мамина мама. А сейчас ты только моя бабушка? Или ты все равно и сейчас мамина мама?

— Я тебе, озорнику, и бабушкой не хочу приходиться. А материнская должность безвременная — до конца веку.

— Тогда пусть мама тебя слушается. Ты вели ей, чтоб она не мешала — я все равно буду лазить на крышу.

Посоветовалась Граня с мужем и сделала на крышу лестницу с перилами, с широкими ступенями, а на конце — беседку. Тимошка бежит на крышу, и Граня карабкается. Вечерами всей семьей сидим там, слушаем Гранины рассказы про галактику.

Стал Тимошка подрастать. Граня ему говорит: хочешь быть космонавтом — закаляйся. Шершавые рукавицы купила себе, массирует его после зарядки.

Парнишке десять лет, а он про луну говорит, как я про

соседнее Заречье: «По Заречью грузди растут хороши. Так надо бы съездить!»

Все были шутки. А тут вдруг ясно и точно поняла я: сбудется!

Так же твердо, как нынче на ракету, ступит внук мой Тимоша на лунную твердь, пройдет по лунной пыли меж лунными кратерами.

Дожить бы, дожить!

Читала я, что есть теперь врачи-мудрецы, ухитряются отпускать по два века на человека...

Прийти к ним да сказать: «Если внук прилунится на луну, почему бы и бабке не прожить на земле два века?» Убедить бы их: «Не все жизнью дорожат. Бывает, жизнь человеку надокучала, да к смерти не привык,—только потому и живет. И жить-то не живет—только проживает.

А ведь я каждого дня жду, как чуда, и каждому дню, как чуду, радуюсь! Зачем бы мне помирать?»

Подумала так, да и спохватилась.

Род уходит, род приходит, а земля пребывает вовеки, и вовеки пребывают на ней следы человеческие.

Какие следы на земле от моего веку? Где мое право перед людьми на две жизни, где мое право перед ними на два счастья? Где мое право перед людьми, если есть среди них такие, что хоть по капле, да прибавят покоя и счастья для всего человеческого племени?!

А я, нахальная старуха, вздумала на внуке спекулировать: у меня, мол, внук на луну улетает, так давайте мне через внука два века жизни.

Скажи, старая, спасибо, что на трибуне постояла, охватила своим взглядом людскую радость... И хоть на секунду, да повстречалась еще раз и с Граниным минувшим, неомраченным отрочеством, и с будущим мужеством внука моего Тимоши.

В единый миг в потоке увидела и страну и людей.

А страна это такая: один город испепелят—десять поднимутся.

А народ это такой: на руки-ноги его посягни—он крылья вырастит!

1962

Сказки

I

СКАЗКА ПРО СОРОКУ

(Почему сорока ни на одну птицу не похожа)

В роще, на краю деревни, жили вороны. Летали они всегда вместе, и если одна находила корм, то кричала:

— Кар-р... У меня кор-рм...

Все вороны садились и вместе закусывали.

Хорошие, дружные были вороны, но поселилась с ними одна сорока. Была она такая же черно-серая, как вороны, только хвост у нее был длинный. Вечно она этим хвостом гордилась. Целые дни она любовалась своим хвостом. Ела то, что находили вороны, и даже на яйцах сидела плохо — все время вертелась.

Когда соседки ее ругали за это, она говорила:

— Ах, я особенная! У меня хвост длинный... Я не могу на яйцах сидеть, от этого хвост портится.

Больше всего она любила разные блестящие предметы, в которые можно было свой хвост рассматривать.

Однажды стащила она в кухне серебряную ложку. Вертелась, вертелась перед ней и уронила на землю. Это увидел поваренок и закричал:

— Вороны-воровки ложку украли!

Пришли люди, взяли палку и стали разорять вороньи гнезда. Вороны летали рядом и кричали:

— Не вор-роны воровки, сорока — воровка!

Но люди не понимают по-вороньи. Люди разрушили вороньи гнезда. Черной тучей полетели вороны к Умному Медведю, главному правителю лесов и полей.

— Живем мы честно и дружно,— сказали они Медведю.— Но поселилась с нами Сорока-воровка. Она похожа на нас, и люди думают, что мы тоже воры, и разоряют наши гнезда.

— Хорошо,— сказал Умный Медведь.— Я сделаю сороку белой, чтобы никто не мог ее спутать с вами.

Тогда заволновались белые голуби.

— Не хотим, чтобы Сорока-воровка на нас походила.

— Хорошо,— сказал Умный Медведь.— Пусть она будет пестрая, черная с белым.

С тех пор стала сорока ни на одну птицу не похожа. И где бы она ни сидела, на белом снегу или на черной земле, все издали видят ее и кричат:

— Прочь от нас, Сорока-воровка.

ПРО ВОР-ВОРОБЬЯ И МЫШКУ-ВОРИШКУ

Повстречала Мышка-воришка Вор-воробья и спрашивает:

— Каково, Вор-воробей, промышляешь?

— Так промышляю, что всего не съедаю,— похвастался Вор-воробей.— У меня зерна хватит для слона, а другой снеди не съесть и медведю.

— Если так, Вор-воробей, так давай дружиться,— сказала Мышка-воришка.

— А какой мне толк с тобой дружиться?— спросил Вор-воробей.

— У меня в норе гора на горе,— ответила Мышка-воришка.— На горе сухарей гора сахару.

— Если не врешь, то приходи ко мне в гости,— сказал Вор-воробей.

Пришла Мышка-воришка домой и думает: «Зачем мне с Вор-воробьем дружиться? Мал да сер, ни красы в нем, ни радости. Лучше заберусь я в его гнездо и потихонечку перетаскаю все его запасы к себе в нору».

А Вор-воробей пришел к себе, сидит и думает: «Для чего мне с Мышкой-воришкой дружиться? Мала да сера, ни красы в ней, ни радости. Лучше заберусь я к ней в нору и перетаскаю все ее запасы к себе в гнездо».

Дождался Вор-воробей, когда Мышка-воришка из норы своей ушла, и полез в ее нору.

Нора узкая, длинная, а Воробей — толстый. Залез в нору, посмотрел, видит — ничего в норе нет.

«Обманула меня Мышка-воришка,— подумал Воробей,— дай-ка посмотрю еще поглубже». И полез Воробей дальше.

Залез Воробей в самую глубину норы, а вылезти не может. И задохнулся Вор-воробей в мышкиной норе.

Тем временем Мышка-воришка полезла по стене на крышу в воробьиное гнездо. Посмотрела в гнездо, а оно пустое. «Обманул меня Вор-воробей»,— подумала Мышка-

воришка, рассердилась, расстроилась, оступилась, упала с крыши на землю и разбилась.

Тем и кончилась дружба между Вор-воробьем и Мышкой-воришкой.

ПРО ЯКАЛО-МОЕКАЛО

Жило-было на свете ужасное существо Якало-Моекало. Рот у него был до ушей, живот огромный, раздутый, как пузырь, а ножки тоненькие и коротенькие. Говорило Якало мало, а больше блеяло: «Мне-е-е! Мне-е-е!»

Тяжело стало Якалу носить большой живот на тоненьких ножках и думает Якало: «Залезу-ка я в человека. Пускай меня носит».

Жила на свете девочка Дуня-нюня. «Вот,— думает Якало,— подходящая девочка».

Собралась Дуня-нюня зареветь, раскрыла рот, а Якало прыгнуло в рот, забралось внутрь и заблеяло: «Мне-е-е! Мне-е-е!» А за ним и Дуня-нюня потянула: «Мне-е-е! Мне-е-е!»

Вышла Дуня на улицу, видит — идет доктор, несет чемоданчик с лекарствами и затянула: «Мне-е-е!»

— Зачем тебе, глупая девочка, лекарства? — удивился доктор.

— Мне-е-е! — тянула Дуня-нюня...

— Ну что ж с тобой делать?! — сказал доктор.— Бери, раз уж тебе так хочется.

Взяла Дуня-нюня лекарства, пузырьки перебила, порошки рассыпала и пошла дальше.

Идет и видит: высоко в небе самолет летит. Посмотрела Дуня на самолет и затянула: «Мне-е-е!» — да так громко, что летчик услышал, посадил самолет и спрашивает:

— Зачем тебе, глупая девочка, самолет? Ведь ты не летчик!

— Мне-е-е! Мне-е-е! — тянула Дуня.

— Ну что ж с тобой делать? — сказал летчик.— Полезай в самолет, раз уж тебе так хочется.

Залезла Дуня-нюня в самолет, испортила мотор, вылезла и пошла дальше. Идет и видит — мороженщик везет тачку с мороженым. Тут Дуня-нюня совсем с ума сошла. Она так громко закричала: «Мне-е-е! Мне-е-е!», что мороженщик испугался, бросил мороженое и убежал.

Принялась Дуня-нюня мороженое есть. Съела все мороженое и захворала. Испугалась Дунина мама и побежала за доктором. Доктор говорит:

— Я бы рад вылечить Дуню-нюню, да она у меня все лекарства перепортила. Надо за лекарствами в другой город на самолете лететь.

Побежала Дунина мама к летчику, а летчик говорит:

— Я бы рад полететь за лекарствами, да у меня Дуня-нюня самолет испортила. Надо самолет чинить.

Стал летчик самолет чинить, а Дуне-нюне все хуже да хуже. А вместе с Дуней-нюней и Якало-Моекало захворало.

Говорит Якало-Моекало Дуне-нюне:

— Ох, плохо мне! Захворало я от твоего мороженого! Это ты виновата — зачем ты сразу все мороженое съела?!

Отвечает Дуня-нюня Якалу:

— Нет, Якало-Моекало, это ты виновато. Зачем ты в меня влезло? Вылези из меня, пожалуйста!

— Куда же я вылезу? — захныкало Якало-Моекало.— Я теперь больное стало, мне поправляться надо.

Мимо лягушка скакала.

— Полезай в лягушку,— сказала Дуня-нюня.— Поправляйся в ней.

— Не полезу я в лягушку,— сказало Якало.— Лягушка холодная, а я и без нее от твоего мороженого насквозь промерзло.

Мимо еж шел.

— Полезай в ежа,— сказала Дуня-нюня.— Поправляйся в нем.

— Не полезу я в ежа,— отвечало Якало.— Еж колючий, а у меня и без него все тело колет.

Мимо баран шел.

— Полезай в барана,— сказала Дуня-нюня.— Поправляйся в нем, он теплый и мягкий.

— Ну в барана, так и быть, полезу,— согласилось Якало-Моекало.

Вылезло из Дуни-нюни и влезло в барана. Баран заблеял: «Мне-е-е! Мне-е-е!» И пошел носить Якало-Моекало по всему свету.

Вскоре летчик починил самолет, привез доктору лекарства. Доктор вылечил Дуню-нюню. Дуня стала здоровой, а нюней быть перестала. Дуня больше не ревела — боялась, как бы Якало-Моекало снова в нее не залезло.

ВОЛЧИЩЕ — ЗАВИДУЩИЕ ГЛАЗИЩА

Ночью бежал Волчище, тащил теленка в зубищах. Вдруг слышит, где-то спросонок крикнул поросенок. Думает Волчище:

«Телок не малый, да нет на нем поросячьего сала. Не хочу теленка, хочу поросенка».

Бросил теленка, с собаками подрался, в свинарню забрался, поймал поросенка.

Бежит по дороге к себе в берлогу. Вдруг слышит, где-то спросонок пискнул цыпленок. Думает Волк:

«Поросенок вкусный, да нет у него цыплячьей гузки. Не хочу поросенка, хочу цыпленка».

Бросил поросенка, с собаками подрался, в курятник забрался, поймал цыпленка.

Бежит по дороге к себе в берлогу. Вдруг видит — густо растет капуста. Думает Волк:

«Цыпленок вкусный, да заяц хвалит капусту. Не хочу я цыплячьей гузки, хочу капустки».

Бросил цыпленка, схватил капустки, добежал по дороге до берлоги. Куснул раз — невкусно, куснул два — немило, куснул три — стошнило. Сидит Волк грустный. Пришла в берлогу Волчица и спрашивает:

— Какова, Волк, была добыча?

Отвечает Волк с досадой:

— Добыча была что надо. Поймал я теленка, поймал поросенка, поймал цыпленка.

Усмехнулась Волчица, повела ухом.

— Почему ж у тебя, Волк, худое брюхо?

— Поймал я теленка,— захотел свиного сала. Бросил теленка — поймал поросенка,— захотел цыплячьей гузки. Бросил поросенка, поймал цыпленка. Поймал я цыпленка, захотел капустки. Бросил цыпленка... Да что болтать, нет ли у тебя косточки поглодать?

СКАЗКА ПРО НЕНАСЫТНОЕ ЧУДИЩЕ

Жило-было на свете Ненасытное Чудище, у которого не было ни глаз, чтобы видеть, ни ушей, чтобы слышать, ни ног, чтобы ходить, а было одно ползучее пузо, да пасть с железными зубищами. Чем больше Чудище ело, тем больше оно есть хотело. Сожрало Чудище все вокруг себя и поползло дальше. Доползло оно до большой горы, и говорят тут ему прислужники:

— Не ползи ты, Чудище, дальше! Живет за горой особое племя. У того племени, где кровь капнет, там войско встанет, где слеза упадет, там богатырь встанет.

Не послушалось Чудище прислужников, переползло гору и видит: за горой мать с ребенком на лужке играет. Слопало Чудище ребенка, ахнула мать, заплакала, полились слезы на землю, где слеза упадет, там богатырь встает.

Набралось богатырей видимо-невидимо с автоматами, с

пулеметами, с минометами. Пошли богатыри на Чудище. Хотело Чудище проглотить богатыря, да накололось на штык, не проглотило, а только ранило. Полилась на землю богатырская кровь, где капля капнет, там войско встанет. Набралось войска видимо-невидимо. Разъярилось Чудище, бросилось на богатырей, давай их бить — и полилась ручьем богатырская кровь, и чем больше крови течет, тем больше войска встает.

Испугалось Чудище, поползло в с ою берлогу и захныкало.

— Я доброе! Я хорошее! Я нечаянно! Давайте мириться!

Не согласились богатыри мириться, распороли Чудищу брюхо, и захлебнулось Чудище в своей берлоге своей поганой кровью.

ПРО НЮШКУ ГРЯЗНУШКУ

Поймала Нюша ящерицу и говорит ей:

— Какая ты безобразная.

А ящерица отвечает:

— Нет, я красивая. Я добрая, я зеленая, у меня хвостик длинный, у меня глазки черные.

— А вот я тебе хвостик оторву и глазки выколю,— сказала Нюша и оторвала ящерице хвостик. Заплакала ящерица и позвала на помощь лягушку-подружку. Прискакала к ящерице на помощь лягушка-подружка, хвостик ящерице приклеила, рассердилась на Нюшу и говорит:

— У тебя сердце черное, так пусть и лицо у тебя тоже будет черное, и будешь ты не Нюша, а Нюшка Грязнушка.

Ударила лягушка лапками по болотцу и залепила грязью Нюшино лицо. Стала Нюша лицо мыть, а грязь не отмывается. Чем больше Нюша лицо моет, тем больше грязь размазывает. И стала Нюша ходить грязная-прегрязная, и стали все ее звать Нюшкой Грязнушкой. Пришла Нюшка Грязнушка к ящерице и говорит:

— Милая ящерица, прости меня, я больше никогда не буду тебя обижать. Научи меня, чем мне лицо отмыть?

— Хорошо,— сказала ящерица,— я прощу тебя и научу, чем мыть лицо. Отмыть лицо можно только водой из Дружья-озера. Но дойти до этого озера очень трудно. Если ты сумеешь до него дойти, то перестанешь быть Нюшкой Грязнушкой.

Пошла Нюша к Дружью-озеру. Долго шла она и видит ледяной дом, а в доме Горная Хозяйка, Морозова Товарка сидит, на прялке вьюгу прядет. Вся она голубая, волосы у нее серебряные, а изо рта пурга летит.

— Что тебе надо, Нюшка Грязнушка?—спросила Нюшу Горная Хозяйка.

— Я иду к Дружью-озеру,—ответила Нюша.

— Ну что ж, иди,—усмехнулась Горная Хозяйка,— только за моим домом такие горы, через которые ни один человек не может пройти.

— А я смогу,—сказала Нюша и пошла дальше.

Идет и слышит, кто-то шепчет: «Выручи нас!»

Посмотрела Нюша вокруг и видит—яма, а в яме что-то голубеет.

— А вы кто?—спросила Нюша.

— Мы Речушки по горам попрыгушки.

— Что же вы из ямы не выпрыгнете?

— Мы бы выпрыгнули, да нас Горная Хозяйка заморозила, чтобы мы по горам не прыгали.

Легла Нюша на землю и стала в яму дышать. Дышала, дышала, согрела яму, выпрыгнули из ямы Речушки по горам попрыгушки и говорят:

— Садись на нас. Мы тебя из гор вынесем.

Села Нюша на Речушку по горам попрыгушку, и вынесла ее Речушка из гор в долину.

Пошла Нюша дальше. Идет и видит огненный дом, а в доме Песочная Хозяйка, Суховеева Товарка, через решето песок просеивает, в печке сушит. Вся она желтая, волосы у нее золотые, а изо рта пламя пышет.

— Что тебе надо?—спросила она Нюшу.

— Я иду к Дружью-озеру,—ответила Нюша.

— Ну что ж, иди,—усмехнулась Песочная Хозяйка,— только за моим домом такая пустыня, через которую ни один человек не может пройти.

— А я смогу,—сказала Нюша и пошла дальше.

Идет и слышит, кто-то шепчет: «Выручай нас!» Смотрит Нюша, в стене решетка, а за решеткой что-то белеет.

— А вы кто?—спросила Нюша.

— Мы Тучки-летучки. Нас Песочная Хозяйка за решетку посадила, чтобы мы пустыню не портили.

— Что же вы сквозь решетку не пролезете?

— Мы бы пролезли, да она горячая.

Стала Нюша на решетку дуть. Дула, дула, остудила решетку.

Вылетели сквозь решетку Тучки-летучки и говорят:

— Садись на нас. Мы тебя через пустыню перенесем.

Перелетела Нюша через пустыню и пошла дальше. Идет и видит дом, а в доме Ночная Хозяйка, Сна Дремыча Товарка, совком звезды собирает, в угольнице тушит. Вся она синяя, волосы у нее черные, а дыханья нет—сидит и не дышит.

— Что тебе надо, Нюшка Грязнушка?—спросила Ночная Хозяйка.

— Я иду к Дружью-озеру.

— Ну что ж, иди,—усмехнулась Ночная Хозяйка,— только за моим домом такая тьма, что ни один человек не может увидеть Дружья-озера.

— А я смогу,—сказала Нюша и пошла дальше.

Идет и слышит, кто-то шепчет: «Выручай нас, Нюшка Грязнушка».

Посмотрела Нюша и видит камни, а в камнях что-то поблескивает.

— А вы кто?—спросила Нюша.

— Мы лучи да искры. Нас Ночная Хозяйка в камни замуровала, чтобы мы озера не освещали.

Стала Нюша камень о камень тереть. Терла, терла, протерла в камнях дырку. Выскочили из камней лучи да искры и осветили Дружье-озеро, а посредине озера сидит лягушка, ящерицына подружка.

Сидит она на купавках, а на голове у нее корона.

— Что тебе надо, Нюшка Грязнушка?

— Лягушка-царица, дай мне озерной водицей умыться!

— Сперва расскажи мне, что ты по дороге сюда сделала.

— По дороге сюда я Речушкам по горам попрыгушкам яму отогрела, Тучкам-летучкам решетку остудила, лучам да искрам дырку в камнях протерла.

— Ну если так, то возьми озерной водицы умыться.

Умылась Нюшка Грязнушка озерной водицей и стала чистая, и никто не звал ее больше Нюшкой Грязнушкой.

СКАЗКА ПРО СОСНУ

Жили-были два брата—Иван да Иванушка. Иван целый день ел да спал, а Иванушка ухаживал за цветами и деревьями и кормил Ивана. У Иванушки было три друга—пальма, роза и виноград.

Иван обижал и бил Иванушку, и решил Иванушка уйти в далекие земли, накопить там силы и уменья, чтобы вернуться и покорить Ивана.

— Ты был нашим другом, и мы не оставим тебя в беде,—сказали ему виноград, роза и пальма и пошли вместе с ним в далекие страны. Долго шли они и пришли в страну, где земля черная, небо серое, а между небом и землей течет вода.

— Я устал и не могу идти дальше,—сказал виноград. Он остановился на месте и превратился в обыкновенный хмель, у которого нет вкусных ягод.

Иванушка, роза и пальма пошли дальше. Долго шли они и пришли в страну, где земля белая, вода твердая, а между небом и землей сыплется белый песок.

— Я устала и не пойду дальше,— сказала роза. Она остановилась и превратилась в обыкновенный шиповник, у которого много острых колючек и мало красивых лепестков.

Иванушка и пальма пошли дальше. Долго шли они и пришли в страну, в которой жили только волки да вьюга.

Увидели волки Иванушку и пальму и завыли:

Мы голодные волчищи,
У нас острые зубищи,
Мы непрошеных гостей
Обглодаем до костей.

Иванушка испугался, но пальма сказала:

— Не бойся, Иванушка, я с тобой!

Она понатужилась немного, и на стволе у нее выросли сверху донизу ветви удобные, как лестница. Иванушка взобрался по ветвям на верхушку и сделал из ветвей лук и стрелы и перестрелял всех волков.

Тогда прилетела вьюга, сорвала с пальмы ее листья и запела:

Уж я вьюга, вьюга, вьюга,
Злому Северу подруга,
Я непрошеных гостей
Проберу до костей!

Иванушка испугался, но пальма сказала ему:

— Не бойся, Иванушка, я с тобой!

Она понатужилась немного, и на ветках выросли иголки, вьюга укололась об иголки, завыла от боли и улетела. А пальма превратилась в сосну, ствол у нее золотистый, он суживается кверху, как солнечный луч, воткнутый в землю, ветви у нее удобные, как лестница, а на ветвях растет хвоя пушистая, как мех.

И стали Иванушка да сосна жить да поживать в суровой стране. Иванушка накопил силы и уменья, вернулся домой и покорил Ивана. И сейчас еще далеко, в самой чаще леса, стоит та самая сосна, которая раньше была пальмою.

II

СКАЗКА ПРО АРТЕК, ФЕЮ И ВОЛШЕБНУЮ ПАЛОЧКУ

Я расскажу сказку о той самой фее, которая имела волшебную палочку, жила в тюльпане и качалась на паутинках.

Она жила на свете с давних пор, переходила из сказки

в сказку, из века в век, из страны в страну, и таким образом в 1946 году дошла до пионерского лагеря Артека.

Она увидела веселых, дружных и умелых пионеров, услышала смех и песни и подумала: «Как их много, и как им хорошо вместе. А я всю жизнь живу одна. Попрошу, чтобы меня приняли в Артек».

Она пошла в контору к секретарю и спросила:

— Нельзя ли мне поселиться у вас в Артеке?

Секретарь был большой, усатый и очкастый. Он посмотрел на фею сквозь очки и ответил ей:

— Посмотрим! Сперва я заполню на тебя анкету, а там видно будет.

— Хорошо. Только, пожалуйста, посадите меня на край чернильницы, чтобы нам удобнее было разговаривать!

Секретарь посадил фею на край чернильницы, взял бумагу, перо и чернила и стал задавать фее вопросы:

— Как тебя зовут?

— Фея.

— Как твоя фамилия?

— Волшебная.

— Откуда ты приехала?

— Из сказки.

— Сколько тебе лет?

Фея задумалась.

— Я появилась на свет одновременно с людьми. Я прожила столько же лет, сколько люди.

— Какие люди?

— Все люди. Вообще люди.

— Не морочь мне голову! — рассердился секретарь.— Отвечай на вопросы коротко и точно. Сколько тебе лет?

— На этот вопрос невозможно ответить точно! Раньше никто не вел точного счета годам. Так прошло много сотен лет. Наконец люди сговорились и стали вести точный счет дням, месяцам и годам. И с тех пор прошло тысяча девятьсот сорок шесть лет.

— Тебе тысяча девятьсот сорок шесть лет! — удивился секретарь.— Но ведь это совсем не пионерский возраст! Мы не можем принять тебя в Артек! Тебе надо обратиться в санаторий для престарелых.

— Но я совсем не престарелая,— обиделась фея.— Глаза у меня блестящие, зубы целые, морщин у меня нет. Бегаю я быстро, голос у меня звонкий. Разве я похожа на престарелую?

— Да, ты права. Ты не похожа на престарелую. В таком случае обратись в обыкновенный санаторий для взрослых.

— Но там живут большие, а я совсем маленькая. Меня туда не примут,—сказала фея и заплакала.

— Фу-ты ну-ты, такой тяжелый случай!—вздохнул секретарь.—Ума не приложу, что с тобой делать! Десять лет я проработал в Артеке и ни разу не видел ничего подобного! Подожди плакать, я схожу посоветуюсь со старшим вожатым.

Старший вожатый спросил секретаря:

— Почему у тебя такой озадаченный вид?

— Да вот представь себе такой тяжелый случай! Приехала откуда-то из Сказки Фея Волшебная, тысяча девятьсот сорока шести лет от роду, сидит на чернильнице, плачет, в Артек просится. Не знаю, что с ней делать!

— Отправь в санаторий для престарелых,— посоветовал вожатый.

— Она не престарелая!

— Отправь в санаторий для взрослых!

— Она совсем крохотная!

— Да, действительно положение!.. —сказал старший вожатый.—Надо мне самому поговорить с этой феей.

Фея вожатому понравилась, и он сказал ей:

— Хорошо, Фея! Я сделаю для тебя исключение, я приму тебя в лагерь, несмотря на твои тысяча девятьсот сорок шесть лет. Но у нас в Артеке живут только отличники! Каждый из наших пионеров умеет делать отлично что-нибудь полезное. Одни умеют отлично учиться, другие умеют отлично воевать, третьи умеют отлично выращивать хлеб в поле. Что ты умеешь?

— Я умею делать ковры-самолеты, скатерти-самобранки и шапки-невидимки.

— Хорошо, завтра ты покажешь нам свою работу. И если ты работаешь отлично, то мы тебя примем.

На другой день все пионеры уселись в круг на большой лужайке. Фея встала посредине, стукнула три раза волшебной палочкой, и в небе показался ковер-самолет. Он спустился и приземлился на лужайке. Пионеры рассмотрели его.

— Кто хочет высказаться?—спросил старший вожатый.

Пионер из авиакружка вышел вперед.

— Это не просто ковер, а ковер-самолет, и поэтому я прошу слова,—сказал он.—Я не могу дать этому ковру ни отличной, ни хорошей, ни даже удовлетворительной оценки. Ну посуди сама,—сказал он фее.—Скорость у него маленькая, маневренность плохая, брони никакой, радиоаппаратуры никакой, для стратосферы он не оборудован. За что же тут ставить отлично? Это совсем плохой ковер-самолет!

— Фея, пионеры забраковали твой ковер-самолет,— сказал вожатый.— Что еще ты умеешь делать?

Тогда фея стукнула три раза волшебной палочкой, и на лужайке появилась скатерть-самобранка. На ней лежали фрукты и стояли блюда с кушаньями. Пионеры попробовали фрукты и кушанья.

— Кто хочет высказаться?— спросил вожатый.

Пионер-мичуринец вышел вперед:

— По-моему, эта скатерть-самобранка не заслуживает ни отличной, ни хорошей, ни даже удовлетворительной оценки. Посуди сама,— сказал он фее.— Фрукты кислые, водянистые, с малой сахаристостью. Мы умеем выращивать фрукты, которые гораздо вкуснее. А что касается кушаний, то каждому ясно, что наш повар в Артеке готовит лучше.

— Фея,— сказал вожатый,— пионеры забраковали твою скатерть-самобранку. Что еще ты умеешь делать?

Фея стукнула три раза волшебной палочкой, и с неба упала шапка-невидимка. Один из пионеров надел шапку-невидимку и сразу же стал невидимым. Только его тень отчетливо виднелась на лужайке. Да слышно было, как шуршала трава, когда он ходил.

— Кто хочет высказаться?— спросил вожатый.

Пионер-разведчик вышел вперед; на груди у него блестела медаль «За боевые заслуги».

— По-моему, эта шапка-невидимка не заслуживает отличной оценки. Посуди сама,— обратился он к фее.— Ну можно ли в такой шапке-невидимке идти в разведку? Ведь эта шапка не скрывает тени, и по тени можно видеть каждое движение. Ну какая же это маскировка! Нет! Наши разведчики умели так маскироваться, что не было ни тени, ни пятнышка, ни духа, ни слуха!

— Фея,— сказал старший вожатый,— ты имела волшебную палочку, но ты ленилась и плохо пользовалась своей палочкой! Ты ничего не умеешь делать отлично. Я не могу принять тебя в Артек!

Фея заплакала и сказала:

— Но разве у вас в Артеке нет пионеров, которые так же, как и я, плохо пользуются своими волшебными палочками? Вон стоит пионер, который играет на пианино. У него в руках десять волшебных палочек — у него в каждом пальце спрятана волшебная палочка. Он хорошо играет на пианино, но десятью волшебными палочками можно играть в десять раз лучше! Здесь много других пионеров, которые имеют волшебные палочки, но плохо пользуются ими. Вы приняли их в Артек. А вот почему же вы не хотите принять меня?

— Я прошу слова,— сказал пионер из литературного

кружка.— Я предлагаю принять Фею в Артек. Ведь все-таки она Фея Волшебная из Сказки! Много сотен лет она помогала жить детям всех народов. Разве можно забывать об этом? За последние годы она стала ленивой, ее ковры-самолеты, скатерти-самобранки и шапки-невидимки давно устарели, а она не научилась делать ничего нового. Но она научится! Пусть Фея Волшебная живет в Артеке, учится у пионеров уму-разуму и рассказывает пионерам волшебные истории о своей Родине, о стране Сказок. А волшебную палочку надо передать в общее пользование.

С тех пор Фея Волшебная стала жить да поживать в пионерском лагере.

Что же сделалось с ее волшебной палочкой?

Это совсем особая история!

Волшебную палочку пионеры-мичуринцы посадили на высокой горе на берегу моря и вырастили из нее волшебное дерево, которое назвали Феиным деревом.

Когда Феино дерево окрепло, вожатый решил проверить его волшебную силу. Однажды вожатый увидел печального пионера.

— Почему ты так печален? — спросил вожатый.

— Мне хочется сочинить хорошую песню ко Дню Победы, а песня не получается.

— А тебе очень хочется сочинить хорошую песню? — спросил вожатый.

— Очень хочется!

— Тогда загадай это желание и пойди посиди до вечера под волшебным Феиным деревом. Оно тебе поможет.

Вечером вожатый спросил пионера:

— Ну как, сочинил ты хорошую песню? Помогло ли тебе Феино дерево?

— Нет,— ответил пионер.

— Значит, ты плохо сидел под Феиным деревом. Ты или дремал, или думал о чем придется. Ты написал мало черновиков! Под Феиным деревом надо сидеть хорошенько! Завтра с утра снова пойди туда, не думай ни о чем постороннем, собери все мысли, напряги все силы. Если ты хорошенько посидишь под Феиным деревом в течение трех дней, то оно тебе поможет.

Пионер исполнил приказание вожатого, и Феино дерево помогло ему: он написал хорошую песню ко Дню Победы.

С тех пор, когда у пионеров не ладилось какое-нибудь трудное дело, вожатый посылал их посидеть хорошенько под Феиным деревом, и волшебное Феино дерево всегда помогало в таких случаях.

СКАЗКА О ТОМ, КАК ФЕЯ ПОДРУЖИЛАСЬ С ПИОНЕРАМИ

После того, как Фею приняли в Артек, пионеры окружили ее и стали спрашивать:

— Почему ты такая маленькая?

— Потому, что я Фея.

— А что такое Фея?

— Это вроде кошки,— сказал Вася, которого все звали Всезнайка-зазнайка.

— Ничего подобного,— сказал Ваня-разведчик.— Она совсем не похожа на кошку. Она незаметно приходит из сказки, все видит и все слышит. Фея — маленькая разведчица.

— Нет,— сказал Володя из авиакружка.— Она летает на паутинках по ветру, она авиатор.

— Нет,— сказал Костя-садовод.— Она живет в тюльпане и умеет выращивать цветы и травы. Она — садовод.

— Фея — это есть Фея,— сказал старший вожатый.— Не приставайте к ней с пустыми вопросами, а будьте хорошими товарищами и помогите ей устроиться на новом месте.

Пионеры принесли в спальню тюльпан, поставили его в бокал с водой, а вместо лестницы подвесили к нему паутинку. Тюльпан стал Феиной кроватью. Из сосновых веток сделали Фее маленький стол и стулья, а вместо тарелок достали на берегу маленькие раковины. Пионеры учили Фею всему, что они умели сами делать. Фея оказалась очень способной ученицей. Она учила пионеров разговаривать с деревьями, цветами, птицами, животными и с насекомыми.

— Фея,— спрашивали пионеры,— о чем жужжит пчела?

— Она говорит, что была на гречихином поле и принесла много меду.

— Фея, о чем шумит сосна?

— Она говорит, чтобы мы не ходили далеко в лес, потому что скоро будет дождик. Она беспокоится о нас, она очень заботливая.

— Фея, о чем шелестят травинки?

— Они говорят, что под ними есть грибная паутина и после дождя здесь вырастет много маслят.

Так Фея помогла пионерам подружиться с травами, деревьями, насекомыми, птицами и животными.

НАШ САД

1961—1962

3 марта

ЛУЧИ-ЛАПЫ

Яркий день с первой капелью.

Припекало на солнце, а от снегов тянуло холодком. И две струи сливались в воздухе.

Открытая солнцу снежная полянка в лесу (как песок на взморье) вся в мелкой зыби, но не волнистой, а в круглых луночках, словно часто-часто переступали здесь мелкие звериные лапки. Но это не зверьки, это солнце наследило лучами-лапами, это лунки от лучей, следы лучей, частые, как соты, округлые, остались на снежной полянке.

Так начал таять и оседать снег.

Весь день был ярок, лучист.

Приходил Максим[1] с подвязанной рукой. Так сорвался отдых, не осуществилась жданная радость. Кроток, терпелив, мягок и все ухитряется чему-то радоваться, улыбаться, ждать хорошего.

Но как не быть суеверным! Словно предупредила судьба, когда ехали в санаторий.

Оба сидели сегодня тихонькие, хворенькие, любили очень друг друга, и я его до скрипа в душе жалела: за переломанную руку, за такое разочарование и неудачу с отдыхом.

Он принес мне первые тюльпаны — красные и снежно-белые.

Белые особенно хороши.

Потом он ушел, а я сидела на террасе, следила за течением дня. Вечером — час белого неба. Голубизна с

---

[1] М. В. Сагалович — муж писательницы, драматург.

него ушла. Может быть, пала на снега? Небо блекло и таяло, а белизна снегов стала отдавать твердой просинью.

На светлеющем небе все отчетливее и гуще чернели кроны сосен и все яснее вырисовывалась тончайшая ретушь оголенных березовых ветвей. И над черными соснами небо было светлей и бледней, прозрачней твердой просини чистых снегов.

Низко пролетели к западу большие черные птицы, тяжело махая крыльями.

На таком светлом небе, запутавшись меж черными ветвями двух сосен, зажглась первая большая звезда.

Загорелись ранние фонари, и от этого небо стало еще прозрачнее, снег еще синее, и отсветы от фонарей на просини снега еще казались розоватыми, как свет зари.

И тогда опять низко пролетели большие черные птицы, тяжело махая крыльями, пролетели к западу на гнездовья и слились с угольной чернотой леса.

Снег делался все синее, круги от фонарей на нем наливались желтизной, лес загустел.

4 марта

СОТЫ

Яркий день с легкими, прозрачными, резкими облаками на лучистой голубизне неба.

Рябь на полянке стала глубже, грани резче. Уже не мягкие лапы зверей, а соты. И уже ощутима их слюдянистая хрупкость.

Краски леса чисты, легки — от яркости неба и белизны снега всюду чуть белесый отблеск, смягчающий все другие краски.

Стволы берез не так ярки, как снег. Днем были темнее, чуть серее. Но к вечеру голубизна неба опять пала на снега, померкло белое сияние, и березы стали тянуться, как руки снега, и стволы их у начала сливались с осевшими сугробами. И как хороши они были на снегу, как он, голубовато-белые, снегом рожденные!

Небо, уронив голубизну на снега, стало легче, невесомее, прозрачней. И в вечерний час белого неба снова деловито с востока на запад летели большие черные птицы и терялись в гнездовьях, в черной гущине сосен.

Максима нет. Полдня нам тяжело по отдельности...

Отчего мы не понимали очевидного в годы культа Сталина?

Две причины: слепота и страх. Подсознательный страх разочарований...

Слепота и страх усугубляли друг друга.

Один писательский девиз отныне и навеки: «Ни слепоты, ни страха!!!»

6 марта

Теплый и облачный день. Плюс 5°.

Ростепель. Снег раскисает. Лепня и дождь. Впервые оттаяла кора сосен, и влажные стволы стали почти угольно-черные до середины.

День угольно-черных стволов.

9 марта

Блистательный день.

Эмалевое, без единого облачка небо.

Солнце, морозец, шелушение сосен. Солнце уже теплое, а ветер не сильный, но северный, крепит мороз. С крыш первая капель, а снега еще чисты и пышны. И тени деревьев на них почти трехмерной четкости.

Подует ветер, и полетят с ветвей остатки снежных шапок, рассыплются на лету в сухом и морозном воздухе в серебристо-белую пыль.

Полетели первые желтые чешуйки с обсыхающих стволов.

Оттаявшие было стволы снова сухи, но омоложены — странно светлы и нежны. И тот же светлый тон хвои, который бывает лишь в марте. Светло-зеленый, как бы даже чуть желтоватого оттенка. Но это желтизна цыплячьего пуха, желтизна новорожденности.

Так же чуть в желтизну впадает зелень только что проклюнувшихся листьев.

Умытые и обсохшие, помолодевшие сосны.

Сухие, просветленные, праздничные сосны на нетронутых снегах, и тени на снегу от этих сосен, от летящих птиц отчетливы.

Снежный блеск, нежность осветленной хвои, сухость светло-песчаных стволов, шелушение сосен и четкие, трехгранные тени на белом нетронутом снегу.

10 марта

ДЕНЬ СВЕТЛЫХ СОСЕН

Отчего появляется перед весной этот чудесный осветленный тон сосен?

Светло-песчаные золотистые стволы и дивный осветленный тон хвои — та юная зелень со сквозною прозолотью, какая бывает у тонкой золотой пластинки.

То ли это по-зимнему низкое, но по-весеннему летящее солнце дает всему золотистую легкость? То ли именно оттого, что оно, хоть и яркое, но низкое — не белизна в его лучах, а нежнейшая, первая вечерняя золотистость, что ложится на все окружающее?

И эта нежная, первовечерняя золотистость в свете летящего дня, под безоблачным летящим небом, под сиянием снегов дает соснам нежность, свет и легкость?

То ли это сами сосны оттаяли и просохли, омолодились... меняя кожу, сбрасывая зяблинку...

Сугробы не те. Чуть заслюдяневшие сверху, с оспинками и рябинками, с чешуйками сосен и хвоинками, с «зяблинкой», с первой весенней опалью.

Стройная, светлая, легкая, вся вызолоченная, стояла сосна над домом и, казалось, не может не быть под нею счастья.

День светлых и золотых сосен.

Если березы царят в октябре, то сейчас подлинное и светлое царство сосен.

Вызолоченные нежнейшим золотом, высветленные с юности, одетые в зелень хвои, царят они над снегами.

12 марта

ДЕНЬ СЕРЕБРЯНОЙ ПЫЛИ

Два дня снегопад, а сегодня морозец и лазурь.

На синеве серебром сияет богатая кухта, куржевина. Снежная опока тяжело свисает и вдруг падает, рассыпаясь на лету, задевая нижние ветви.

Впервые в снегу то лапчатые, как кленовые листья, подушки на ветвях, то снежные валики. Они оползают, свисают зубчатыми гирляндами. Липкий со вчерашней оттепели снег держит эти гирлянды на весу. Но с утра под солнцем морозец, и валик, обвалившись, падает, рассыпаясь на лету, падая, задевает за ветки, и с каждой ветки летит, сверкая на солнце, серебряная тончайшая пыль.

Подержавшись мгновение в воздухе, серебряная дымка ложится на свежие сугробы.

Весь лес в серебре, в белизне, в бесшумной серебряной осыпи, такой удивительной под солнцем и синевой. Ветки живут своей особой жизнью — то одна, то другая ветка дрогнет, опылит, обдаст снежной россыпью.

Я устала и переволновалась, стала нервничать. А Максим так терпелив ко мне.

13 марта

ТУМАННЫЙ ДЕНЬ

Тяжелый сон! Чужой конь, предательская веревочка. Сама себе наделала тревогу! В последний раз...

Так или иначе, в последний раз. Сама или судьба[1].

Белело.

В туман и снег вдруг у меня в комнате появилась красавица бабочка. Большая, красно-коричневая, с желто-лиловыми, как анютины глазки, глазками на крыльях.

И бьется, бьется о стекло вестница весны, обивает, глупая, крылышки.

21 марта

ДЕНЬ-ПОВОРОТЕНЬ, МАРТ-КАПЕЛЬНИК

Пришла весна.

Первый торжествующий день ранней весны.

С утра еще пышная снежная оторочка на ветвях, снежная куржевина на поветьях, тихие сугробы под пасмурным небом.

А в полдень высокое солнце глянуло из слепящей голубизны, и дружно ударила с веток и крыш капель-водоклев.

Синь воздуха насквозь прострочена алмазной нанизью. Звон в воздухе...

Первые рябины от водоклева на пышных сугробах редки и глубоки. На слепящей глади снежного наста тени от деревьев были синими и резкими, как ледовые трещины.

Блеск тончайшего слюдяного наста, синие тени на нем, алмазная нанизь и звон в воздухе — таков этот первый день весны!

---

[1] Запись сделана после длительного сердечного приступа.

22 марта

Заслюдяневшие, слепящие сугробы под деревьями еще в крупных рябинах от капели, но ветви и стволы уже свободны от снега. Только с крыш еще каплет, и, дробясь, падает сосулька.

В мелких поветьях внутренняя влажность, бархатистая весенняя чернота, а в стволах и ветвях уже чувствуется на солнце сухость.

Стволы сосен под солнцем вызолочены, а зелень их — умытая, какая-то вся обрадованная и высветленная.

И все это под весенним слюдяным сиянием сугробов.

В аллеях начинает подтаивать, а у калитки пробилась к солнцу рыжая земля, и наша собака Мегги с большим интересом ее вынюхивала.

Весь день капель с крыш.

Над сиянием тронутых наледью сугробов зеркальная голубизна неба, сухость полей. По-летнему суховатое золото стволов и резкая голубизна граненых теней на этом примятом, кое-где заслюдяневшем снегу. Днем на солнце первые лужи, по утрам — первые сверкающие на солнце наледи на их месте.

25 марта

ДЕНЬ СЕРЕБРА С ЧЕРНЬЮ

Снова день ослепительной весны.

Март-капельник на исходе. Начинается март-протальник. Уже нет алмазной нанизи и нет звона в воздухе.

Зернистой стала поверхность чуть осевших сугробов. Блестят они не меньше, но по-иному, словно присыпали их жемчугом-крупенью.

Весна сугробов, рябых от капели; сугробов, хрупких и заслюдяневших, окаймленных чернью; сугробов, по хрупкому насту отмеченных синими, четкими извилистыми тенями безлистных деревьев.

Непередаваемая голубизна воздуха и прозрачность неба, его алмазный блеск и алмазная твердость.

Еще нет ручьев, но есть разводья, сверкающие на солнце, есть первые проталины на солнцепеке.

Всюду на дорожках голубые ростепели, и всюду сверкающее в них солнце, и всюду — под ногами, в мочажинах, в стеклах — небо!

К вечеру водостоины застывают и превращаются в скользкие леденицы.

Заслюдянели, охрупли, осели сугробы, и сотни невидимых прежде тычинок проглянули на полянке.

Тычинки, хвоинки, чешуйки... Опадает зимняя зяблинка, облетает морозобой.

...Проступает влажная чернота земли, словно вставленная в слюдянистый блеск сугробов...

...Всюду серебро с чернью...

День щедрился бабочками. Коричнево-рыжие, в цвет сосен и первых проталин, вились они над сугробами.

Все больше разводьев и ростепели. В полдень они слепят сотнями отраженных солнц, а к сумеркам застывают сплошными леденицами.

Кое-где сочатся ручьи тонко и робко. На солнечном взлобке обнажились кромки земли и корзина над розами.

Потрясающий закат — черные силуэты сосен на небе — прозрачном, рубиново-алом...

А когда закат погас и наступил час светлого неба — черные силуэты сосен на чуть зеленоватом, прозрачном, непередаваемом небе.

«Ни слепоты, ни страха». Надо писать железно.
А где его взять — железо?
Надорваны силы — физически, психически...

27 марта

МАРТ-ПРОТАЛЬНИК НАБИРАЕТ СИЛУ

Продолжается весна света, весна сугробов, но еще не пришла весна ручьев.

Капели уже нет. Сухи и ярко-зелены сосны, бесснежны бархатно-черные ветви лиственных деревьев. Та же кристальная синева воздуха, но уже не те сугробы. Темные, осевшие, зернистые из самой глуби снегов. Первые узкие проталины на солнцепеках влажны. Кое-где на прочищенных тропках, где мало снегу, в полдень тихо, стоит такая еще не ожившая, не заговорившая вода, превращаясь в бугристую наледь к вечеру.

Праздник ранней весны, праздник света и голубых граненых теней ушел.

Нет ни заслюдяневшей, ослепительной глади тронутых первым солнцем сугробов, ни синих, отчетливых, как трещины на слепящей глади, теней деревьев. Вместо черни на серебре — грязь.

Ушла и весна капелей. Сухи крыши и ветви.

На исходе весна сугробов. Мятые, грузные, охрупнувшие, влажные и зернистые до самых глубин своих — сугробы еще обильны, но слабы и непраздничны.

Нешироки еще первые проталины, тихи, неговорливы первые мелкие водостоины, но разливаются они все шире и лишь поздно вечером превращаются в наледь.

С реки стаял снег, и проступил льдистый водный цвет.

Близится весна ручьев, близится бурливое ярополье. И в предчувствии его собака Мегги, объятая весенним безумием, вдруг заметалась по всему саду, то припадая на мокрое черное брюхо, то делая бесцельные и немыслимые прыжки, перевертываясь в воздухе, визжа и лая от безумного восторга.

Поразительно весеннее небо.

Оно так ощутимо, исполнено такой лучистой силы, что хочется сказать о нем: «Твердь небесная».

А вечером... Ну, как описать? Брусвяный, чистый, густой цвет чащи, выточенной из цельного рубина небывалой прозрачности. А на нем, как вырезанные, черные силуэты рудовых сосен.

А когда погас последний брезг зари, проглянул за точеными, черными соснами небосвод прозрачного, драгоценного и невиданного каменья, чуть зеленоватого. Если бы бирюза была бледной и если бы обладала она светозарной прозрачностью топаза, то получился бы бесценный камень, как осколок этого небосвода. Но нет такого камня; и нельзя тронуть его руками! Можно только смотреть на небосвод меж стволами и, глаз не отрывая, дивиться.

А потом пришла ночь, и звезды брызнули ясно, рясно...

От чего — от безмерного ли свечения или от влаги весенней — так ощутима, близка и прекрасна небесная твердь весной?

30 марта

ВЕСНА РУЧЬЕВ НА ПОДХОДЕ

Та же кристальная синева воздуха. Те же сосны со стволами сухого светло-песчаного, призолоченного цвета с зеленой хвоей,— высветленные, обрадованные. Эти прекрасные сухие, желтые чешуйки на стволах первые говорят о летнем зное, о сухом песчанике.

Но уже не те сугробы.

Грязные, осевшие, влажно-зернистые, до самой глуби снега все еще обильные, но слабые. Вместо царственной пышности — вмятины. И всюду рыжие хвоинки, чешуйки,

опавшие веточки сосны. Почему опадают они? Обновится ли к весне наряд сосен? Или опадает зимний морозобой, зимние зяблинки?

Проталины все больше. На солнечном взлобке отступили снега, все шире делается кромка земли, и уже не одна, а четыре корзины с розами вышли из-под снега и высохли на солнцегреве.

...Оживают и начинают струиться водостои. Ручьи повсюду. Они сперва робко сочатся, потом, осмелев, струятся все быстрее, шумнее. И в них теперь блеск, и свет, и тишина — все то, что принадлежало снегам.

Вороны стали хлопотливы, летают низко, что-то тянут в невидимые гнездовья, а к вечеру ватажатся.

И весь день серебристо пела какая-то птичка (не овсянка ли?) свою весеннюю песенку: «Бросай сено, возьми воз...»

Каковы ручьи на первое апреля, таковы и поймы. Гусаки по воду...

1 апреля

СОСНЫ В АПРЕЛЕ

Удивительны сосны!

Над влажными сугробами и ростепелями стоят они рудовые, и в стволах, вызолоченных солнцем, уже чувствуется летняя сухость прогретого зноем песчаника. Зелень хвои обрадованная, умытая, а на ней тоже отсвет солнца — вызолота. Откуда? Присмотришься — этот солнечный отсвет на хвое от рыжеватой подпалинки, от пожелтевших за зиму и еще не опавших хвоинок.

Хвоинки опадают, щедро усыпая охрупнувшие, грязные сугробы.

Дивен песчано-золотой, сухой, теплый тон сосновых стволов в апреле.

5 апреля

Весна. Голубая лучистая твердь в зените, под ней хрупкие снега, робкие ручьи, первые проталины, заслюдянела поляна, охрупли, осели снега. Проглянули сотни тычинок, невидимые прежде, отсвечиваясь в каждой луночке. Всюду проталины, они сохнут скоро. Охруплые снега и сверкают и темнеют — как серебро с чернью. Это лес, просыхая, очищается от зимнего,— тихо опадают

хвоинки, то и дело медленно слетают с сосен желтоватые чешуйки. Один безветренный день щедрился бабочками. Коричнево-рыжие, в цвет сосен и проталин, и лимонно-желтые — они оживленно вились над проталинами и над снегом.

С реки стаял снег, и проступил льдистый, водный цвет под истончившимся серебром. Ручьи всюду, но робки, необильны, быстро сохнут, сочатся тонко и робко.

14 мая

ДНИ БАРХАТНО-ЧЕРНОЙ ВЛАЖНОЙ ЗЕМЛИ, РОСТКОВ, БУТОНОВ И МОЛОДОЙ ЛИСТВЫ

Первые белые бутоны на вишнях. Зародились кисти сирени, зеленые, с мизинец величиной.

Набухают бутоны на тюльпанах и «пальмах»[1].

Развернулись в листья красные ростки пионов. Листья еще с красновидными жилками и красноватым оттенком, блестящие, клейкие.

Неповторимость дней.

У каждого — свое лицо, и, сколько бы их ни было, нет двух одинаковых дней.

26 мая

Дни белого дерева над черной землей, вишневых бутонов, черемухи, желтой акации и липовых листьев, маленьких, клейких, но наполняющих весь сад пронзительным запахом весны.

Зацветают вишни.

Все в белой пене неизвестное дерево у забора.

Лезут острые ножи гладиолусов.

Разгар весны. Дни вишен и тюльпанов... Белопенные дни...

Под высоким белопенным цветением вишен — зоревые желто-алые большие тюльпаны.

Белые бутоны над черной землей.

Дни липовых листьев, маленьких, клейких, но наполняющих весь сад запахом весны.

Окинулись листьями чешские цветы[2]. Пионы-великаны набирают бутоны.

---

[1] Особый вид махрового мака, напоминающего весной маленькие пальмочки.

[2] Чешские рододендроны, подаренные писательнице.

На каштане большая, но еще зеленая свечка.

Все думаю — если бы мы встретились раньше, когда был запас неистраченных сил, что бы мы сделали из нашей жизни?!

Она была бы живой песней о человеческой доброте и о человеческом счастье.

Если бы вот такое теплое, светлое, всепонимающее и всепроникающее пришло с юности или хотя бы с войны!

Одна я знаю, как надорвана. Без слез не могу думать, что, когда пришла любовь, я уже не в силах быть такой подругой, какую я хотела бы моему любимому.

Что в музыке заставляет так дрожать сердце, что зовет к высоте, к благородству?

Что необъяснимое есть в стихах Пастернака:

Рослый стрелок, осторожный охотник,
Призрак с ружьем на разливе души!
Не добирай меня сотым до сотни,
Чувству на корм по частям не кроши.

Что такое искусство? Это оно в музыке, в этих стихах. А что «оно»? Разложить луч на спектр — значит ли объяснить?

И все же хочется хотя бы разложить на спектр, не для того, чтобы объяснить,— для того, чтобы повторить, суметь сделать, создать этот луч.

27 мая

ДЕНЬ ВИШЕН И ТЮЛЬПАНОВ

Блистательный день.

Знойный на солнце, прохладный в полутени. Буйное вишневое цветение, с первой опалью под нежным живительным ветром.

Земля еще полна влагой, и редкие белые лепестки ярко белеют на влажной черноте.

Сильно цветет старая омоложенная яблоня в розоватых бутонах. Молодая китайская яблонька в цвету от ствола до вершины.

Начинают распускаться гроздья сирени.

Горят огненно-красные высокие дивные тюльпаны. Доцветают желтые нарциссы. В цвету белые. В бутонах пионы. Розы развертывают лепестки.

Много цветов на смородине. В цвету желтая акация.

Горит гербера. Теплятся анютины глазки.

Блистательный царственный день поздней весны!

Над землей белое вишневое облако, а на земле уже лето — огневые солнечные тюльпаны. Точно столкнулись ушедшая зима с наступающим летом в этом дивном весеннем цветении.

Разгар весны! Белопенный весенний разлив!

Зачем и кому это надо — анонимные письма, зависть, злость?

Или это судьба? Надо платить за счастье с любимым, за счастье творчества, за счастье этих чудных сосен, этого неба?

Или те физические страдания, что щедро отпущены мне, еще недостаточная плата за все?

Надо еще терпеть и сплетни, зависть и собственные горькие ошибки,— что может быть тяжелее?

Как жить среди всего этого?

28 мая

На влажной черной земле белые лепестки. Начал опадать вишневый цвет и на прощание заполнил все: и небо, и воздух, и землю. Куда ни взгляни — на ветви или под ноги — всюду нежное белое кружение.

День белой вишневой осыпи, тюльпанов и яблонь.

Вишни еще в белопенном цвету, но побелела земля под ними от осыпи. На смену им заспешили яблони — крупноцветные, розово-белые.

Царственно цветут тюльпаны! Тигровые, зоревые, желто-красные, как огонь, пробившийся из земли.

Когда человек так щедро, так неоглядно отдает себя другому, как он, когда все на таком душевном взлете, что же останется, когда меня не будет?..

Дважды в жизни подняться на такую душевную высоту, раствориться в такой самоотдаче нельзя.

30 мая

ВИШНЕВАЯ МЕТЕЛЬ

Осыпается весна. Дни весенней осыпи.

...Весь сад в солнце, в белой вишневой метели, в тополевом, орешниковом пуху...

Весь день под солнцем, на легком ветре кружилось, летало легкое, белое... наполняло воздух, ложилось на

руки и волосы, покрывало ступени крыльца, садовые скамейки, выстилало сочную землю перламутровыми разводьями, оседало на ней после полива...

Не помню, уходила ли весна когда-нибудь еще так метельно и ласково?

Тигровые, зоревые тюльпаны в зените — раскрыты пышно, широко.

И в этом щедром раскрытии чувствуется приближение осыпи.

В белой осыпи, в солнце, в зное, в пунцовом глянцевом цветении маков, в щедрости тюльпанов, в первом золоте лилий — уже конец весны, начало пролетья.

31 мая

Позади чудесный, полный солнца, первой весенней осыпи день. Отгорела, отцвела весна! Выстлала землю белыми лепестками.

Началось пролетье.

С утра дождь-ситничек — теплый, мелкий, глубоко пропитывающий землю, с туманцем, с воздухом, настоянным на свежей зелени.

Он спорит весь день, изредка прерываясь.

Не буйно, но крупно и сильно цветут яблони.

Зацветает сирень, рябина, боярышник.

Вишни почти все отцвели, и бела темная, влажная земля под ними от только что опавших, еще не потемневших лепестков. Это весна, отпраздновав свой срок, легла на землю, выстлала ее белым, нежным.

Впервые за все годы затеплилась единственная белая свеча на каштане — событие сада!

Раскрылось много ландышей.

Цветут желтые лилии, прячась от дождя, чешский рододендрон выпустил первые розовые цветы — прижился на русской земле.

По-весеннему свежа, но уже по-летнему могуча зелень.

Как жить среди всех сплетен, чьих-то неуловимых, но сознательных козней?

Терпеть, зная, что это плата за славу, за счастье любви, за собственные мои ошибки?

Терпеть. Не думать об этом. Работать и идти от цветка к цветку. Ждать, пока расцветет сирень и раскроются тюльпаны. И гадать о том, какой будет тюльпан на средине грядки.

И думать о том, что за тюльпанами расцветут пионы, которые мы так выхаживали с осени.

Любить, работать и идти по жизни от цветка к цветку, отмеряя время тюльпанами, пионами, розами...

Возможно ли это?

Вряд ли...

2 июня

Набрал странные, невиданные оранжевые бутоны чешский гость. В ирисах на стыке зубчатого и обычного листьев появляется овальная тень, отчетливая на сквозном свете. Она вздувается и постепенно отделяется от листьев. Это бутоны!

Дни сирени, тюльпанов и ландышей.

Пышные, нежные гроздья сирени царят над садом.

Привяли первые тюльпаны, но остальные еще держатся, распахнув махровые лепестки с последней щедростью самоотдачи.

> Не добирай меня сотым до сотни.
> Чувству на корм по частям не кроши...

Эти строки, а не последующие. Почему эти лучшие?..

Что такое искусство? Предельная обнаженная искренность высоких порывов человеческой души?

То, что делает человека, людей — людьми?

Искусство начинается там, где сердце жаждет: миру совершенства, хорошим людям счастья, человечеству справедливости, где сердце бьется за все это и зовет к этому прекраснейшими из людских слов — словами горячими, горькими, радостными, гневными, кипящими.

5 июня

ДНИ СИРЕНИ И ЛАНДЫШЕЙ. ПРОЛЕТЬЕ

Сирень царит над садом.

Пышные и нежные гроздья цвета теплых весенних сумерек.

Тех непередаваемых сиреневых оттенков, что живут на рассвете яркого дня над морем... Цвета теней на предвесеннем мартовском снегу...

Непередаваемый цвет!

Цветут сосны. Золотистые шишечки на ветвях замохнатились.

Как праздничен этот неброский наряд мохнатых ветвей! Словно золотые пчелы сели среди хвои!

Чтобы идти по жизни «от цветка к цветку» — хватает цветов!..

Чего не хватает?

Как ни билась, ничего не могла сделать для Дусиного колхоза.

Бессильна помочь. Бесхозяйственность, командование, бесчеловечность...

Не помогли письма и звонки в обком.

Привычка к командованию там, где все должно строиться на свободе и на сознании трудящихся, в колхозе въелась глубоко, не понимают, что это пагубно. И пока это есть, не спасет ни кукуруза, ни совнархозы, ничто иное!

Не могу ничем помочь и... не могу отгородиться забором из сирени и ландышей...

Цветы не спасают.

Писать об этом — и только об этом — в прозе, в стихах, в тезисах выступлений, в письмах к тому, кто в силах помочь.

Не добирай меня сотым до сотни...

В эти дни я твержу эти слова.

Талантливые люди часто несчастны и трагичны в силу слишком большой остроты чувств, не позволяющей фальшивить в искусстве, слишком большой потребности в справедливости.

Я не талантлива, только способна. И когда руками анонимов, сплетников, бездарей, злопыхателей меня касается веяние этого трагизма — это не по праву! Я не в этом высоком ряду талантов — Стендаля и Бальзака, Пушкина и Лермонтова, Маяковского и Фадеева... Меня лишь добирает кто-то «сотой до сотни».

Кто «добирает»? Судьба? Она несправедлива, не дав мне ни таланта, ни силы и дав столько трагичного.

Тем печальнее неизбежность, вызванная злою завистью и моим надрывом.

6 июня

ДНИ СИРЕНИ И ЛАНДЫШЕЙ

Сирень приняла эстафету весны от вишен и передает ее дальше, через лилии — пролетью.

Еще скупо, редко, но тем жарче, нежданней то там, то тут вспыхивают солнечно-золотые лилии. Как всплески летнего зноя.

Великолепен ровный розоватый ковер чешского цветка. Одна за другой раскрываются желтые лилии.

Весь сад в цветочной пыльце — она ложится тончайшим слоем на землю, на садовые скамьи, на ступени, белыми разводьями оседает в местах полива.

Белые сережки орешника, как мохнатые гусеницы, выстлали всю землю.

Как они охраняют нас, милые, с раннего детства самые любимые сосны!

В их кругу нам так отлично вдвоем! Но совсем защитить и они бессильны...

Пришел старик колхозник. Его не отпустили из плохого колхоза, не дали документа.

Давно знаю, понимаю, молчу, но проникло сюда, под сосны, новое напоминание об известном, и схожу с ума!!!

Писатель должен писать правду! Не пишу. А психический надрыв, след пережитого, мешает справиться психике. Теряю контроль и власть над собой[1].

10 июня

ЛЕТО

Доцветает сирень. Все щедрее знойные лилии над высокими травами.

По старому исчислению вчера началось лето.

Сад зелен и тих. Только скромная кайма анютиных глазок да золото лилий — словно мостик, брошенный из пышного, высокого весеннего цвета к нарядному летнему; от вишен, яблонь, тюльпанов, сирени — от весны к лету, к розам и пионам — передают эстафету эти желтые лилии и скромные виолы.

Кончаются дни сирени и ландышей, текут дни желтых лилий и чешского костра, и в их красках — золотых и оранжевых — само лето.

Зелень еще по-весеннему сочна и свежа. Но сильна уже летней, зрелой силой.

«Роман — зеркало, с которым идешь по большой дороге... В нем отражается то лазурное небо, то грязь, лужи, ухабы... Зеркало отражает грязь, и вы обвиняете зеркало! Обвините лучше дорогу или дорожную инспекцию...» (Стендаль)

---

[1] Вскоре, незадолго до смерти, Г. Николаева напишет об элементах антидемократии в колхозах в письме к Н. С. Хрущеву (копия хранится в архиве М. В. Сагаловича).

Часто цитируют эти слова, не понимая. Роман — это зеркало, но зеркало на большаке, по которому движется вперед народ.

И вот во весь рост становится вопрос о дороге писателя. Идешь ли ты вместе с народом большаком или тащишься переулками, закоулками?! Ведь только в первом случае твое зеркало — роман — нужно народу.

11 июня

ГРЯНУЛИ ЖЕЛТЫЕ ЛИЛИИ

До этого раскрывались то там, то здесь по одному золотому цветку в травных зарослях, и вдруг, в одно утро, обильно, щедро, крупно, высоко грянули по всей полосе от дома до калитки по десять лилий на каждом кусте.

Как молнией, пронзили весь сад. Едва пригаснет одна, на смену ей вспыхивают две другие, еще крупнее, еще золотистее.

В щедрости, силе и стремительности цветения этих золотых сибирячек весь нрав сибирского лета — знойного, сухого, короткого.

Цветут белые парковые розы, зацветают алые.

Сразу много больших ирисов. Ни с того ни с сего расцвела одна маленькая космея. Подрастают крохотные лепестки возродившейся азалии. Еще невелика, но уже желтовата свеча на каштане.

Почему боль тоже входит в большое искусство? Потому что оно входит в жизнь? Просто описать желтую лилию — только пол-искусства, полслова.

Левитановские деревья и реки становятся искусством потому, что зовут! Музыка — зовет.

«Сикстинская мадонна» — слияние огромного счастья с не менее огромным горем, и преодоление, и готовность, и жизнелюбие; при всем этом летящая поступь, светлое чело, нежная полуулыбка...

«Не ворошен жар под пеплом лежит», — говорит моя бабка Василиса. Ворошить жар под пеплом — это и есть искусство?

14 июня

ДНИ ЖЕЛТЫХ ЛИЛИЙ, ДНИ ЗНОЯ И ГРОЗ

Молодость лета.

Приходят и уходят грозы. Солнце сменяется молниями, молнии — солнцем, а лилии цветут все так же стремительно, умирая и тут же обновляясь, то в одну, то в другую сторону поворачивая пронзительно-золотые, острые, лучистые соцветья.

И солнце и молния — весь огонь молодого лета — живет в этих острых, высоких огненных соцветиях, пронзающих зелень.

Мягко горит костер из чешских рододендронов.

Что такое искусство? Самое прекрасное в мире?

Нет. Наш сад и любовь всегда прекрасней, по-своему.

В нем иная прелесть — прелесть лучшего в людях. Высокая прелесть человеческого благородства.

Вот почему я совсем равнодушна к Рубенсу. Краски простой космеи всегда прелестнее расцветок любой картины. А души, благородства у Рубенса нет.

Вот почему мне горько, когда обижают — крутой поворот миллионов к духовности — Византию. Но он до многих не доходит. Полемический крен слишком велик, слишком много аскетизма. «Сикстинская мадонна» пленяет всех — в ней и благородство, и чистота Византии, и жизнелюбие искусства.

15 июня

ДНИ ТРАВ И ЖЕЛТЫХ ЛИЛИЙ

Вот-вот лопнут набухшие, липкие от сладкого сока земли бутоны пионов. Муравьи лакомятся этим соком.

Золотые ведреные дни, полетные облака в синеве и зелень, зелень...

Только лилии, первенцы знойного лета, пронзили сад.

... А слова горестно умирают.

Я так наслаждалась Граней[1]*. Так пела в сердце эта фраза: «...Ищи на орле, на правом крыле...»*

И этот душистый знойный полдень, когда она одна с

---

[1] Героиня рассказа «Ищи на орле, на правом крыле» («Рассказы бабки Василисы про чудеса»).

ребенком под яблоней и боится слово шепнуть, чтоб не спугнуть счастье...

А прочла — и не то... Ох, не то!.. Неужели в прозе невозможно добиться того, что в музыке, в стихах, этого дрожания сердца?

Или у прозы и задачи другие?

Нет. В лучших страницах Шолохова, Фадеева, Паустовского это есть. У С. Антонова — есть.

Я понимаю, что это надо, но не умею. А многие и не понимают. Как суметь, как этому научиться?

23—25 июня

ДЕНЬ ИВАНА КУПАЛЫ

По утрам весь сад в сиянии и блеске.

Сверкает, играет, лучится каждый листок. И в зеленом сверкании махровые, с тарелку величиной, отяжелевшие от собственной пышноты пионы — белые, розоватые, розовые, темно-вишневые. Роскошь пионов. Особенно хороши белые с чуть розоватой сердцевиной.

Эстафету молодого лета от лилий к розам несут пышноцветные пионы.

Тугие, еще не раскрытые бутоны источают сладкий сок, и муравьи лакомятся им.

Пионы приняли у лилии эстафету молодого лета, чтобы передать ее цветам летней зрелости — розам. И уже раскрылась первая сизо-алая, почти черная роза Гадлей.

В синеве разъединое полетное облако. Солнце льется на травы, как мед-самотек.

Ветер-«летень» колышет зеленые ножи гладиолусов, вьется над травными прогалинами, сквозит в купах пионов, перебирает узорным полистьем.

В эти дни травы и листья таят и несут в себе все цветение лета и осени.

Еще где-то в сердцевине зеленых бутонов живут ярчайшие розы.

Еще где-то в глуби ножевидных листьев таятся соцветия гладиолусов, едва намеченные легкой зыбью листа, руслом сгустившихся прожилок. Скоро по этому руслу потечет само лето, отделит стебель, зажжет высокие соцветья.

Летнее цветение — как пружина, еще скрытая зеленью, сжатая до отказа и готовая вот-вот развернуться,— оттого так упруга каждая травинка!

В эти дни собирают лечебные травы и наговорные знахарские коренья.

В эту ночь ищут папоротник и верят, что он открывает клады.

В эти дни и ночи в самом папоротнике и в других травах клад еще не открытый, сила во многом тайная — праздник трав!

Красное лето — зеленый луг.

Колдовской день Ивана Купалы...

Как безумно я люблю весь этот мир трав, и цветов, и любви.

Но еще надо вот такое же напруженное, готовое дивно развернуться — везде: в жизни, в стране, в таланте...

Ведь оно есть в стране, вернее, все есть для него... Делать все, чтобы оно скорее стало...

Просто?

Звать волшебство, открывать клад без папоротника...

Я гублю единственно любимого. Он превратился в сиделку и няньку. И живет в непрерывном напряжении, дрожа за мою жизнь, боясь отойти, просыпаясь ночами...

Единственно правильно — уехать! Жизнь без него в нашем, созданном им раю — немыслима. Мне куда-нибудь на Ангару... Мне скоро умирать. Так делать это — забывшись и не мучая любимого, единственного, кому хочу счастья.

При одном намеке бледнеет и кричит. А я вижу — гублю его. Моя судьба — скорая смерть. Я как труп, который он любовью своей непрерывно гальванизирует. Гальванизированный труп, я заедаю милую, живую жизнь ненаглядного человека.

Дни и ночи полны чуда...

Придешь ли ты ко мне, ночь Ивана Купалы?

28 июня

БУЙНЫЕ ПИОНЫ — ГРИВАСТЫЕ КОНИ

Пышные, тяжелые, с тарелку величиной, пионы клонятся, сильные стебли валятся на тучную землю, не выдерживая собственной силы и красы!

Обуздали, держим, как коней, на привязи, за тыном, за изгородью, а они рвутся сквозь тын, клонят гривастые головы, выгибают шеи.

Обнимешь охапкой — рвутся из рук, буйствуют.

Махровые, гривастые, алые, розовые и белые, с дивно краснеющей сердцевиной, стыдливо спрятанной в глубине.

Воздух в саду пропитан их влажным и нежным запахом, а чуть выйдешь за калитку — и обдаст лицо хвойной, песчаной, смолистой сушью...

...В саду еще живет запах весны, а за калиткой — чистокровное лето, лето без примесей...

Как я люблю щедрость земную, и как все связано с нашей любовью!..

Почему я пишу с наибольшим наслаждением, когда пишу «для себя»? Верно ли это? Высшая радость должна быть в том, чтобы вести за собой других.

Почему же я счастливее, когда, ни о ком не думая, сама для себя ищу слова прекрасные, удивительные?

Разве в тех страницах, где пишу и для других, я в чем-то фальшивлю? Иногда — да! Иногда я говорю вполголоса о том, о чем надо греметь. Но две трети, нет, четыре пятых написанного мною абсолютно искренне!

Радость больше от беглых строк блокнотов, которые не увидит никто, никогда.

Что же ты, искусство? «Самовыражение»? Самое слово мне противно. Что-то вроде онанизма.

Что же ты, искусство?

«...когда же мы находим в романе удачными только типы негодяев и неудачными типы порядочных людей, это явный знак, что автор... вышел из пределов своего таланта и, следовательно, погрешил против основных законов искусства...» (Белинский).

Явный знак и того, что автор или малодушен, или горько болен — душевно слеп на один глаз.

29 июня

БЛАГОСЛОВЕННОЕ ЛЕТО

Шишечки на соснах потемнели, нет прежней золотой пушистости, когда казалось, что пчелы сидят меж хвоинок.

За калиткой запах смолистой суши — терпкий, густой.

Тишина, сушь и смола за калиткой.

А в саду тяжелая роскошь пионов, их влажное и свежее дыхание.

...Благословенное лето...

Читаю восторженное описание Парижа туристами. Скучным и некрасивым мне кажется «ваш» Париж...

Россия моя, Россия,
Зачем так ярко горишь?

М. Цветаева

ЗАМЕТКИ О ФРАНЦИИ[1]

Канны — красная земля, синеватое море и нагромождение чуждого, как кому вздумается, не радующего глаз богатства.

Эта красноватая земля, и это море, и это золото апельсинов в темной зелени листвы — как бы все это могло зажить в человеческом, мудром, высоком преломлении, оснащении и осмыслении?

Леже[2] возникает нежданно, именно как это выхваченное из другой, будущей эпохи человеческое оснащение природы. Он возник для меня не как старик с крестьянски мудрым и упрямым лицом, а как обогащение этой и без того богатой природы. Искристая игра красок, которая хочет сказать окружающему: «Ты прекрасно, но я еще лучше. Человек может делать еще прекраснее».

Фреска на белом камне вписывается в природу естественно, как ее продолжение, как поле цветов, как скала драгоценного камня. Хорошо!..

Домик в розах волшебных оттенков. Подарки, русские по широте, по русскому принципу: дарить так дарить, любить так любить!

Проехать всю Францию и еще три страны, чтобы встретить квинтэссенцию русского! Широкодушье! Но его источник в характере еще не ясен мне. Здесь немало русских!

Засыпаю в сказке.

Утром Максим прямо с постели потащил меня смотреть из дверей Альпы. Мимоза цветет у дома, герань — за окном.

Витраж (музея) необходим в этом многоцветье — он на месте. Нужен он и ничто другое.

---

[1] «Заметки о Франции» лежали в дневнике после цитаты из М. Цветаевой. Они относятся ко времени поездки Г. Николаевой во Францию в декабре 1960 — январе 1961 года, датированы 20—22 декабря.

[2] Леже Фернан (1881—1955) — известный французский художник-коммунист. Имеется в виду музей Леже в Биоте.

Детский уголок не покоряет меня так, как витраж и фреска, но и он увязывается с будущим.

Надя...[1] просто-напросто крепко талантлива — от «пупка», не от изощрений разума. Это второстепенно. Талант нутряной, мужской хватки. Талант не только кисти, но всей натуры — отсюда и размах и широта во многом. Понять ее вне ее работы нельзя, так же как вне моих работ не существую я. Именно в них наиболее полное раскрытие истинной натуры. Ее Горький, Маяковский, ее Леже живут во мне. Леже только таким я и вижу[2].

Французский крестьянин с упрямым стариковским лицом, что ты умел, что ты мог?.. Ни о чем, кроме его Джиоконды, писать не могу, хотя день наполнен прекрасным.

Придавленная четким, неумолимым железом, отодвинутая темным кругом, за железной обыденностью, за темным, замкнутым, вырвавшимся вперед, ты встаешь из пламени, и в тебе вся нежность человечества, в лунных красках, нетленная в пламени, не задвинутая всею резкостью железа, ты вся так впереди всего, нетленнее всего, первее всего...

Каким-то отзвуком боли живет в памяти весь день этот образ нежности, вставшей меж огнем и железом, меж давящей обыденностью сардин и ключей и дальним непонятным пламенем задних планов. Не хотела бы фотографии. Только такую — лунную, возникающую, как мечта о нежности, и все же больше чем живую — нетленную, все отодвигающую.

Фрески прекрасны! Люди местами оскорбляют уродливостью, а фрески и витраж так и просятся в метро, на стадионы, но не о них писать. Джиоконда, звездная меж обыденностью ключей, сардин, железа и темного круга, горящая в пламени и все же живая, нетленная, отзывается болью. Что ты мог, крестьянин с упрямым лицом?

Улыбающиеся лица французских друзей на Северном вокзале, букеты темно-красных роз на непривычно длинных стеблях, рябь огненных реклам, сотни небольших магазинов и кафе, назойливо выбегающих на тротуары узких и многолюдных улиц,— таков был Париж с первого взгляда.

То мясные прилавки, на которых куски обыкновенной говядины в прозрачной и виртуозной обертке доведены до изящества букетов, то великолепие цветочных магазинов,

[1] Вдова Ф. Леже, художница.
[2] Портреты, выполненные Надеждой Леже.

где в декабре цветы всех сезонов и континентов, от родной подмосковной сирени до налитых солнцем роз, то витрины ювелирных изделий, где подделка так искусна, что стекло соперничает с бриллиантами.

На улицах машины идут тесно, «впритирку», и поток их подчас медлительнее, чем движение пешеходов.

Первый вечер. Торопливые разговоры с друзьями, тревожные слова об Алжире, Де Голле, референдуме, радостные вопросы о Москве.

Ранним утром мы, полные нетерпения, снова вышли на улицы.

Париж был иным. Погасла суета реклам. Запертые и потемневшие магазинчики отступили, и на первый план выступило другое, невидимое в ночной темноте, скрываемое мусором реклам и мельтешением огней.

Спокойно и величаво раскинулись дворцы и площади в хороводе вековых аллей.

Захватывает перспективность архитектурных ансамблей. От Лувра через Тюильрийский сад раскрывается великолепная площадь Согласия. От нее — аллеи Елисейских полей и площадь Звезды к Триумфальной арке с неугасающим пламенем над могилой Неизвестного солдата.

Утренний Париж нам понравился больше ночного. Словно смыли с лица суетную косметику, и проступили черты величавые.

Никакое богатство и никакая власть не смогли бы создать такой гармонии и простоты. Это могло быть создано лишь руками и талантом народа, сильного и свободолюбивого. И, глядя на творения его рук, мы понимали, что именно этот народ мог первым поднять знамя Коммуны, что именно он в своем героизме мог, по словам Маркса, «штурмовать небо».

Утренний Париж смотрел на нас глазами большого и давнего друга. Откуда шло это ощущение? Может быть, оно шло от того, что каменные кружева Нотр-Дам для нас были неразрывно связаны со словами великого гуманиста Гюго, близкими нам с детства? Может быть, это Бальзак, Флобер, Стендаль, Мопассан нарисовали Париж с такой отчетливостью, что каждая аллея Булонского леса кажется знакомой? Нет. Это ощущение глубже. Оно не от литературы. Оно от самой жизни. И, всматриваясь, мы узнали в Париже родные черты Ленинграда. Тот же размах, та же гармоничная, полная сил перспективность, которая словно предсказывает городу большое будущее.

Ленинград, перенесенный в мягкий климат Средней Европы, где в декабре ярко зеленеют газоны и бегают дети в носках и коротких штанишках, с голыми коленями.

Хотелось понять как можно глубже и город и народ, его создавший.

Но многое ли доступно туристу?.. На помощь приходит искусство.

Гулко отдаются шаги в высоких, пустынных залах Лувра. Рубенс с его пышной и холодноватой символикой, полотна Рембрандта, знакомого по Ленинграду. А вдалеке совсем небольшое и неброское — единственное полотно, перед которым теснятся люди. Это — «Джиоконда». Мы знаем ее по репродукциям издавна, и все же все в ней неожиданно.

Бывает ли такое зеленоватое таинственное небо? Может быть, в предвечерний и предгрозовой час?

В этом свете тонкое лицо женщины. Губы ее плотно сжаты, и все же они улыбаются. Скользящая, неуловимая улыбка таится в одном уголке губ.

Уловлено само движение, и улыбка бесконечно изменчива. В каждом новом ракурсе она приобретает новое выражение. То насмешливое, то нежное, то скорбное, то горьковатое... и все-таки преобладающее — выражение какого-то глубокого и тайного знания. Женщина на картине знает о вечности, о законах жизни, о глубинах человеческих сердец много-много. Знает и молчит. Хочется, чтоб разомкнулись сомкнутые губы, и невозможно отойти от полотна.

Второй раз мы испытали ту же невозможность отвести взгляд возле Венеры Милосской.

Пожелтевший тяжелый мрамор, но сходное впечатление изменчивости, исполненности многих выражений, таящихся в углах твердых губ. Та тайна таланта и мастерства, которую невозможно передать в копии.

...Первые дни мы бродили по Парижу как зачарованные, но рядом с восторгом с первых же дней возникла тревога.

Величественный Нотр-Дам... Но чем ближе подходишь к нему, тем отчетливее въевшаяся в камень вековая пыль, щербины и выбоины. Прекрасен Версальский дворец, окруженный старинным парком... Но каким запустением веет от него!.. Друзья устроили нам торжественный обед в Версале, в том зале, в котором, к слову сказать, подписывался Версальский договор. Теперь здесь отель для привилегированных. За длинным столом шумной компанией собрались мы, писатели, журналисты, художники. А рядом за столиком чинно восседали исполненные самоуважения пары. Старая дама с волосами, выкрашенными в седой голубовато-серебряный цвет, с целым состоянием на каждом разукрашенном бриллиантами пальце. Рядом с ней пес в нарядной попоне. Официант галантно подал псу

на пол кушанье в такой же серебряной вазе, на такой же фарфоровой тарелке, с которых ели мы. В историческом Версальском зале — пес, жрущий из серебра и фарфора!

Это обычное зрелище не привлекло ничьего внимания. Только мы, два москвича, почувствовали нестерпимый зуд в мозгах. Нам хотелось хохотать, швыряться тарелками, драться...

Чувство тревоги у нас достигло своего зенита в новогодний день в Ницце и в Каннах. Знать Франции, Италии, Америки съехалась на Лазурный берег, чтобы здесь под ослепительным солнцем отпраздновать Новый год. В шезлонгах на набережной беспечные девицы в узких брючках с волосами, свободными прямыми космами свисающими ниже пояса, выкрашенными в противоестественные лиловато-рыжие тона, набриллиантиненные старухи с собаками...

А рядом в лазурном море отчетливые черные, ощетинившиеся жерлами американские военные корабли.

Беспечное фланирование и похмелье под жерлами чужеземных пушек.

Мы уезжали с тем же зудом в мозгах, который охватил нас еще в Версальском дворце. Мы пытались развлечься, читая вывески и надписи по дороге. Мы едва владеем французским языком, но нам хотелось понять, что говорит Франция языком дорожных плакатов, указателей, отыскивали в словаре слова, пестревшие вдоль дорог среди изумительных по красоте рощ, обширных полей: «Частное имение. Останавливаться запрещено», «Владение такого-то. Переходить за обочину дороги не разрешается!».

Тьфу! Ради такого словесного мусора не стоило копаться в словаре. Зуд в мозгах не проходил, все усиливался. И, возвратившись с побережья, мы снова бродили по парижским площадям с одним и тем же вопросом в умах: мы видим величие твоего прошлого. Но где величие настоящего? В чем твое будущее?

Не в этих же побрякушках, столь искусно сделанных из стекла и позолоты?! Не в скопищах же роз и фиалок, что цветут здесь и в декабре?!

Все это прелестно, спору нет.

Но все же... Когда женщина молода, прекрасна, исполнена сил и дарований, она и в простом спортивном джемпере будет первая среди других, но если приходит старость, исчезают красота и сила, иссякают дары и таланты, тогда приходят на помощь спасительные побрякушки.

Прекрасны цветы Франции. И я, и многие мои друзья, мои ровесники, с увлечением растим цветы в комнатах, на террасе, на даче. Но давно ли настигло нас это увлечение?

Десять лет назад все просторы степные, казалось, лежали в наших ладонях. Мы рвали розы в городах Армении, лежали на тюльпановом разливе в тысячеверстных степях Казахстана, ломали снопы черемухи по берегам сибирских рек.

С годами приблизились грудные жабы и инфаркты, немощи сузили просторы жизни, и тогда изысканность комнатного букета вдруг приобрела значение. Такова психология человека. Но нельзя ли провести аналогию с судьбой страны?

Но может ли ответить на такие вопросы турист? Он может только их задать и ломать над ними голову.

Аналогии, сопоставления, сравнения теснились в наших умах. Удивительно отчетливо, по-новому увидели мы из Парижа Москву.

Собор Василия Блаженного, Кремлевские башни также исполнены величия прошлого. Но как обновлено все соседством с красным гранитом Мавзолея, молодостью таких заново перестроенных магистралей, как улица Горького, Охотный ряд, силуэтами высотных зданий!

Красная площадь словно перекресток двух эпох — большого прошлого и огромного настоящего.

Но даже не входя на Красную площадь, даже не въезжая в Москву, издали, с Рублевского шоссе, уже видишь университет, зеленый массив Лужников, очертания высотных зданий.

И далеко до границ старой Москвы возникает новая Москва — новые районы, целые города, выросшие за последние пять-шесть лет. Им еще недостает тщательности и красоты отделки, но какой колоссальный размах, какой рост, какой темп.

Так, еще не въезжая в Москву, видишь, как велик ее сегодняшний день, какой молодой и просторной кажется она из Парижа. И как чисты ее улицы! Человек, любящий свою страну, не плюнет на камни Красной площади.

Почему так загрязнены и замусорены прекрасные площади Парижа?

Возникают тысячи «почему», и каждое из них тревожит.

...Париж уже полюбился нам...

30 июня

ЗОЛОТЫЕ СОСНЫ

Золотые темнохвойные сосны высоко поднялись над купиной зелени. Сад буйно зеленеет, играет всеми красками, исходит влажными запахами.

А над ним сушь и тишь. В небе только сосны.

Какая тишь и радость на душе!

В круговой охране сосен я, Максим, бабушка Василиса, пара друзей да время, исчисляемое по цветам.

Бесконечные сияющие дни, полные покоя, смеха, нежности, музыки, странной надежды.

Милое, милое лето...

1 июля

ИЮЛЬ-ГРОЗНИК, ИЮЛЬ-СЕНОЗАРНИК, МАКУШКА ЛЕТА

Доцветают пионы. Вспыхивают первые розы. Раскрываются первые космеи.

Гладиолусы уже все с зыбью на листьях, с продольной резкой полосой, с перехватом прожилок, у зыби — зачатки новых стеблей и цветов.

Каждое утро торопливое «топ, топ» по лестнице, и я вижу лицо моего мужа... Для меня наибольшее счастье — это разговаривать с ним о наших задумках, когда слова льются из души в душу.

Как я могла жить без этого?

4 июля

ЦВЕТУТ РОЗЫ, ДЕНЬ ИЮЛЯ-НАЛИВА

Еще пышноцветны царственные пионы, огромные, махровые... Но мало уже зацветающих вновь, много привядших — пионы перешли свой «зенит».

Одна за другой вспыхивают краснопенные розы. И меньше их, чем пионов, и не так велики они, и не так высоки, но так сильны и чисты краски, столько нежности в лепестках, что они, а не пионы владеют садом.

Зацветает еще несильная космея. Вспыхивают грубые, ало-крапчатые яркие лилии.

Доцветает жасмин.

Бутоны роз, бутоны кудрявых высоких лилий, бутоны космей, зарумянившиеся вишни на ветках и чернеющие гроздья смородины, еще зеленые яблоки на пригнутых ветвях — все на подходе, в наливе!

День июля-налива.

12 июля

ДНИ РОЗ И КОСМЕЙ, РАЗГАР ЛЕТА. ЗНОЙ

Пышные, чуть прижухлые на солнцепеке розы... Осыпь алых, белых, розовых лепестков под кустами на черной земле...

Нежный запах, освежающий, знойный, неп торимый.

Звездный луг космеи. Над нежной и пышной зеленью разноцветные ромашки с ладонь ребенка величиной. И как ладони раскрыты, подняты к небу — пьют зной.

Грубые красно-пегие лилии также бесстрашно открылись обжигающему солнцу, а табаки сомкнули белые соцветия.

Купы деревьев пышны, сильны, темно-зелены, тенисты, и влажна земля под ветвями.

Буйно зеленеет, играет всеми красками, исходит влажными запахами сад...

А над купами яблонь и вишен, над зеленой влажной порослью сосновая сушь и тишина в высокой голубизне.

Там, в небе, только сосны.

В три, в четыре раза выше самой высокой яблони, они легко вздымают над зеленой купиной песчаные, со всех сторон омытые синевой, рудовые стволы со свободно брошенными в небо спокойными лапистыми ветвями.

В вышине они одни.

Плывут перистые полетные облака, плывет и колышется сама знойная синева, плывут и они сами, прямоствольные, корабельные...

...Сладко пахнут табаки по вечерам.

Знойные дни. Теплые звездные ночи с опьяняющим запахом цветов.

В прошлые годы мои безумные блокноты полны были голосами людей, зарисовками жестокой, захватывающей жизни. Я люблю их — измятые и запятнанные блокноты тех лет — блокноты Сталинграда и целины.

Нынче болезнь, муж, цветы и физики. И я люблю эту свою тетрадь.

Кто запомнился из тех блокнотов? Настя[1]*. Прозоров*[2]*. Лалетины*[3]*. Эти люди — как цветы.*

---

[1] Настя — А. Алексеева, председатель колхоза имени Дзержинского Орловской области.

[2] Прозоров Петр Алексеевич — председатель колхоза «Красный Октябрь» Кировской области, дважды Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР.

[3] Лалетины — колхозники «Красного Октября».

Кто из людей нынче рядом, кроме близких? Есть подловатые и тупые... Моя собака Чап много лучше, а что уж говорить о царственной розе Гадлей!

20 июля

ИЛЬИН ДЕНЬ — ГРОМОПРОВОДЕЦ

И как по поверью — средь солнечного дня короткая гроза, обильная молниями и дождем-проливнем.

Настоящая «паликопна» — гроза на первые копны зрелого хлеба.

...Илья громом лето кончает — зажин начинает...

Гроза прошла — и засверкало озерцо в каждом розовом лепестке! С каждой красной вишни свисала искристая капля. Мы снимали сад после дождя, снимали капли на вишнях, с крохотными радугами, маленькие озерки на лепестках роз, слепящие синевой лужи у крыльца. Хотелось запечатлеть все — все было прекрасно. А к вечеру похолодало...

«Олень ноги обмочил»... Первый вздох осени.

Я умру в сентябре — октябре — так почему-то мне кажется.

В этом или в следующем году — я не знаю, но в сентябре — октябре.

Какое счастье верить в бога — ведь это значит верить в возможность любить и помогать любимым «оттуда», верить в возможность встречи навсегда, верить в возможность искупить и загладить ошибки. Как я любила церковь в детстве. Я и сейчас люблю ее и волнуюсь от церковного лада хоров.

Я люблю византийское искусство. Его аскетизм и строгость, чистота и одухотворенность волнуют и зовут. Говорят, оно — упадок. По-моему, наоборот, духовный подъем.

27 июля

Знойный день, с темной летней зеленью, с прижухлыми на солнце нечастыми розами.

И вдруг снежная свежесть первого флокса — белого, как я люблю, крупноцветного, влажного.

Все флоксы в бутонах.

Нежданно и как-то сразу вытолкнули бутоны гладиолусы. Проглянул на них первый алый глазок.

...Вот мы с Максимом и дошагали прямо по цветам от раннего весеннего цвета до гладиолусов и флоксов — цветов осени.

Принесли из лесу белые грибы — колосники.

Жизнь, подаренная мне беззаветно. Как он постарел, побледнел. Мои болезни, мои тревоги душат его.

Пять последних лет — это пять лет у больничной койки больной и страдающей жены. Это не... дорога цветов.

И странно. Когда я здорова, в нем иногда мелочность, эгоизм. Но когда мне плохо — он гений преданности. А плохо мне в общей сложности 4 года и 10 месяцев из пяти лет.

И это в нем природное, как музыкальность...

Шолом-Алейхем говорил о деньгах: «Или они есть! Или их нет!» То же можно сказать о таланте: «Или он есть. Или его нет». То же можно сказать о даре любви и заботы: «Или он есть, или его нет».

И редко я видела (может быть, впервые), когда этот дар есть в такой степени.

29 июля

Пасмурный денек. Короткие, высыхающие дождички «накрапом».

Темная сильная зелень зрелого, предосеннего лета.

Собрали вишни. Редко рдеет уцелевшая ягода.

Черные гроздья смородины.

Редкие и прелестные розы — черная роза Гадлей. Розовая, нежная, чайно-гибридная. Полиантовые нежнейшие. И белые — «фрау Друшка».

Стоят космеи.

Стойко, трогательно, непоколебимо с весны до осени цветут алые сережки фуксии.

В лесу под коротким накрапистым дождичком Максим нашел дивный, словно выдуманный гриб-боровик. Это «гриб в идеале»! Бархатный, светло-каштановый, крепкий, с округлой шляпкой и сильной ножкой, великолепных пропорций и крепости. Такие я видела только на картинках да в галантерейных магазинах — «гриб для штопки».

Мы все долго ходили вокруг него, не решаясь сорвать. Вели вокруг него хоровод.

Вечера прохладны, и дивно пахнет вечерами рослый табак у окна...

Куда мы идем? Как убедить, доказать, что это ошибка — оставлять элементы насилия и антидемократии в колхозах.

...Ни за цветы, ни за грибы не могу спрятаться от этого... Думаю об этом, пишу об этом...

29 июля

НОЧЬ ДУШИСТОГО ТАБАКА

Ночью огромная луна над соснами. Зелень, светлеющая на черном бархате влажной земли.

...И белые купы душистого табака... Днем спавшие, голенастые, незаметные и некрасивые, по ночам табаки овладевают садом. Их высокая белизна и запах, волнующий душу...

На моей верхней террасе ночью сильный и теплый ветер — как на палубе с прогретого солнцем моря.

Ленивые переливы листьев под теплым ветром.

Среди ночи мы танцевали с Максимом на высокой террасе под большой белой луной...

И пахли табаки, и сосны махали нам ветвями, и нам было так хорошо!

А утро, полное блеска, встретило нас молодыми розами, полными росы и миллионов солнц. Встретило тесным кругом сосен, что словно охраняют нас от всего недоброго.

Как прелестна земля!

Как великолепна жизнь, когда любишь всем сердцем!

Чудесны цветы, но люди чудеснее! То, что происходит со мной и Максимом, чудесно!

Знала ли я, что испытаю такую всепроникающую привязанность?

Да, я знала, давно, с детства. Я знала за собой способность ерундить, даже хулиганить во второстепенном и быть самоотверженной, смелой в главном.

Любовь — чудо человеческое.

30 июля

ЗНОЙНЫЙ ПОЛДЕНЬ ЗРЕЛОГО И ЩЕДРОГО ЛЕТА

Блеск тяжелой и темной листвы.

По второму осеннему заходу зацветают поредевшие было розы.

Сизо-алая роза Гадлей. Вьющаяся бело-розовая, нежнейшая, плетистая, снежно-белая Друшка.

Раскрылся первый факел алого гладиолуса.

Колышутся любимые космеи, и под окнами — словно цветущий луг в разгаре лета.

...Но над купами летней зелени вдруг поднялась рыжеватая в гроздьях рябина... Я не знала ее, не помнила о ней, не видела ее. И вдруг сегодня она поднялась над опустелыми вишнями, над темной сиренью.

Осень?..

При каждой перегрузке, когда поднимает голову смертельная болезнь, я думаю о Максимушке. Как он останется?

Когда столько душевных сил вложено в любовь, когда все на таком душевном взлете и трепете, как у него, разлука грозит не только горем, но опустошением, равнодушием, глубоким спадом.

...Равнодушие ко всему и навсегда — это очень страшно. Я испытала это. Нет страшнее!

1 августа

АВГУСТ-ЩЕДРОТНИК, МЕСЯЦ-ПРИБЕРИХА. ГУСТАРЬ. СЕРПЕНЬ. ЗАРЕВ

Он пришел, этот завершающий месяц — венец летнего счастья.

Знойное марево. В отяжелевшей от зноя зеленой куще тяжелые, пригибающиеся стебли роз, пронзительные алые гладиолусы, пышные снежно-белые флоксы, луг космей, нежных и неприхотливых.

Надо всем этим яблони, полные яблок. А над ними, над всей купиной зрелого августовского сада, в синей вышине песчано-желтые стволы царственных сосен с зелеными ветвями, брошенными спокойно и вольно в безоблачную синеву.

Вечер первого августа. Погасло и посветлело небо.

Купина сада еще зеленеет, а ветви сосен черны и отчетливы на светлом предвечернем небе.

Яблони где-то внизу, вся купина зелени внизу.

Со мной, надо мной, вокруг меня только сосны.

Родные деревья моего детства. Встали кругом, распростерли добрые крылья. И такой покой «под крылом у сосны».

Под крыльями сосен, под их милой охраной течет это лето.

И, как всегда, вечером, дождавшись назначенного часа, выступили они из всего на белом небе. А на земле раскрылись, завладели садом и выступили из зелени купы белых высоких табаков.

Неприметные и грубоватые днем, в «свой час» они прекраснее всего.

Дивно, таинственно хорошеют они вечерами.

Над ними, над милыми соснами кружились очень высокие подоблачные птицы, и, как птицы к гнездовьям, к аэродрому один за другим пролетали самолеты.

Почему так легко и покойно на душе?

Это лето течет в кругу сосен, под их спокойными крыльями, рядом с Максимом, и рядом с нами изо дня в день идет бабушка Василиса...

Люблю ее милую душу, такую русскую в ее самоотверженной доброте и жесткой правдивости, в ее боевой ярой потребности в справедливости, в ее умении все понять, над всем усмехнуться, в сочетании наивной веры с острой прозорливостью.

Вера и прозорливость в их борьбе и слиянии.

«Во мне, старухе, и того и другого понабито... Схлестнутся друг с другом. Пока шучу над собой, а впору плакать. Шутник-покойник пошутил да помер...»

Как мило и легко писать о тебе—льется из самой души! Примут, полюбят ли тебя, бабушка Василиса? Может быть, и нет.

А я все равно люблю и радуюсь каждому твоему душевному слову. И по этому лету, под крыльями сосен, по календарю цветов я иду с тобой.

Милые сосны стали стеной вокруг меня, распростерли крылья, точно охраняют.

И такой покой исходит от них!

Сосны—деревья моей жизни.

3 августа

ЗНОЙНЫЙ И ГРОЗОВОЙ ДЕНЬ

С утра полуденное солнце, а к вечеру одна за другой прогремели подряд три грозы.

Последняя громыхала уже потемну.

И сразу похолодало.

5 августа

ДНИ ГЛАДИОЛУСОВ И ФЛОКСОВ

Гладиолусы, алые и белые, розовые, лимонные, вонзаются в воздух мечами, защищающими лето от осени.

Один за другим расцветают флоксы — белые, розовые, ситцевые.

Снова пышен и ярок наш сад в своем августовском наряде...

«Задача писателя неизменна, она всегда в том, чтоб писать правдиво и, поняв, в чем правда, выразить ее так, чтоб она вошла в сознание читателя частью его собственного опыта» (Хемингуэй).

Творчество должно стать частью опыта современного человека — тогда оно заслуживает называться литературой, поэзией, искусством.

«...чувство причастности к чему-то великому, во что поверил целиком и полностью, и ощущаешь подлинное братство со всеми, кто связан с ним так же, как ты» (Хемингуэй).

Он говорил, что писателю необходимы талант, самодисциплина, ум, бескорыстие, долголетие.

Я обладаю лишь самодисциплиной и бескорыстием... Малость успеха, крохи таланта и никакого долголетия.

Что можно сделать с такими резервами?!

7 августа

С утра уже нелетняя, холодноватая яркая эмалевая голубизна неба меж сосен.

...Прохладны утренники — «олень обмочил копыта».

Набирает силу последний осенний наряд сада — цветут гладиолусы, флоксы, грубоватые, оранжево-крапчатые курчавые лилии. Стойкая и нежная космея цветет не переставая... Розы постепенно набирают второе, нет, уже третье дыхание!

Вчера сорвала дивную желтую с розоватой окраинкой, зоревую, крупную, как пион.

Не был я учеником примерным
И не стал с годами безупречным.
Из апостолов Фома Неверный
Кажется мне самым человечным.

Жизнь он мерил собственною меркой.
Были у него свои скрижали.
Уж не потому ль, что он «неверный»,
Он молчал, когда его пытали?

Стихи И. Эренбурга. Что-то в них привлекает, что-то отталкивает. Привлекают три последние строки... «свои скрижали». А отталкивает? Не о «деянье во благо, а о сомненье как о самоцели» говорят они. И

поэтому выпирает «я», «эго». ...Я не хотела бы так писать. Его «Люди, годы, жизнь» — книга созерцаний, а не деяний, созерцателя в ней больше, чем участника борьбы, деятеля. И нравится, и что-то все же не то, совсем не то...

10 августа

На восходе утренники, а среди дня снова зной, смолистые запахи сосен.

Вдоль шоссе первая прожелть на молодых посадках.

Но это еще не осень! Это сухменное, знойное золотое лето пало на неокрепшие деревца.

А в саду зелень, зелень, сплошная купина зелени, пронзенная мечами гладиолусов.

Тишина.

...И строй сосен над тишиной — ее охрана и ее начало.

Почему пленительно интересная и смелая по своим суждениям книга Эренбурга «Люди, годы, жизнь» все же чем-то не удовлетворяет?

Созерцание созерцателей. Писатель о писателях. Любопытно. Сквозь писателей видишь мир. Среди других воспоминаний — блеск.

Но если я буду писать мемуары, я напишу о других — о Буянове[1], о Насте, о Маше Ильясовой[2].

О людях действия! Они мне интереснее.

Созерцать созерцателей, даже очень талантливых,— этого мало. А ведь он знал людей огромного действия. Где же об этом действии?

15 августа

ДНИ ГЛАДИОЛУСОВ И ФЛОКСОВ

Явственное дыхание осени. Весь день на огненные языки гладиолусов, на пышные купы флоксов сыплет и сыплет обложной, но переменный дождичек.

Под ним алеет рябина, и первый алый лист на плюще...

Бахирев зажил живой жизнью.

Не глядя на улюлюканье разной швали, прошел по разным городам и странам, сотням театральных под-

---

[1] Председатель одного из колхозов Московской области.

[2] Работница Волгоградского тракторного завода — прототип Даши из романа Г. Николаевой «Битва в пути».

мостков и шагнул наконец на экраны кино. Через головы бездарей и завистников. Так ему и полагалось!!!

Заживешь ли ты, бабушка Василиса?

Ведь ты так хороша, что у тебя даже не будет ненавистников.

Или ненависть необходима для жизни?!

Созданная одним добром, сможешь ли ты зажить среди живых?

16 августа

Пасмурный день с сильным, но теплым ветром.

Весь сад в качании и шелесте. Качаются гладиолусы, качаются флоксы, стелются космеи.

Весь день ветер словно в предгрозье, а грозы нет.

25 августа

ДОЖДИ, ДОЖДИ...

Вот и прошло это благословенное лето... Такое знойное, покойное, полное цветов и плодов.

Встречи с друзьями, песни как-то особенно сплетались с садом.

...Люди, как и эти дни, были спокойны, естественны и доброжелательны в нашем доме...

...Милое лето шло от цветов к цветам, под охраной родных сосен... рядом с бабушкой Василисой...

Если писатель хорошо знает то, о чем пишет, он может опустить многое из того, что знает, и, если он пишет правдиво, читатель почувствует упущенное так же сильно, как если бы писатель сказал об этом.

«Величавость движения айсберга в том, что он только на одну восьмую возвышается над поверхностью воды» (Хемингуэй).

29 августа

...Средь дождей поможенило слепящее утро...

Флоксы — «мокрые курицы» — начали оживать, отряхиваться. Гладиолусы и георгины — истинные цветы осени — под дождями не дрогнули, не привяли, не пожухли. Алые гладиолусы пламенели и под дождем. Нежная махровость

георгинов словно еще пышней и сочней в потоках, льющихся с неба.

Утро блеснуло ослепительно яркое и прохладное. К одиннадцати уже разгорелось по-летнему, а к часу снова обволокло небо.

...И к вечеру снова дождь, дождь...

Ездили за грибами. В лесу над крохотными маслятами замираем, как собака в стойке. И не чувствуем дождичка-просевня, неутомимого, спорого.

Прошло благословенное лето в кругу сосен, под их неусыпной охраной.

Пара противных гостей (остальные были чудесные), тревога с «Мосфильмом», борьба с Басовым — лишь наслоения, смываемые с памяти, как пыль.

Осталось главное.

Сосны, цветы, бабка Василиса. Покой и радость...

И странная вера в чудеса...

Надолго ли? Что принесет осень?

30 августа

ДНИ ДОЖДЕЙ, ГЕОРГИНОВ И ГЛАДИОЛУСОВ

Круговой строй сосен.

...Дни грибов и сосновых опушек...

До вечера лило, а ночью поредели облака, и брызнул за ними свет луны.

Сосны потемнели и тихие стоят, неизменные, как верная стража.

И в кругу их, в их круговом строю, покойней и ясней мысли. Словно все мелкое за нерушимой стеной из рудовых могучих стволов.

Ночь влажная и теплая, космос добр. В нем не дыхание атомных бомб, а добрые улыбки Гагарина и Титова.

Немного слишком многолюдное, но все же тихое и доброе лето еще дышит близко-близко.

Мы с дождями все не перестаем оплакивать минувшее лето. Все вспоминаем, как раскрылось оно белым деревом и нарциссами, прошло через вишни и тюльпаны, миновало сирень, горюя, рассталось с нею, расщедрилось пионами, грянуло желтыми лилиями, перешло к многоцветным розам и легким, как дуновение, космеям. И наконец, прощальной силой пронзило осеннюю оболочку мечами

гладиолусов, дало черед цветам осени — флоксам, георгинам, астрам.

В тиши и покое лето шло под доброй охраной сосен, над цветами, с Максимом и с бабушкой Василисой.

31 августа

Дожди, облака вперемежку с недолгим солнечным блеском.

Блеск крохотных маслят сквозь влажные травы и хвою.

Бархатистость боровиков на опушках.

Доброта сосен. Доброта песен. Доброта космоса, который улыбается по ночам губами Гагарина и Титова.

Радостная, сияющая доброта Максима, счастливого каждой моей улыбкой.

Несгибаемая доброта бабушки Василисы, что живет рядом с моим сердцем.

Лето было добрым ко мне, поэтому так жаль, что оно позади.

Какой ты будешь, осень?

За стеной рудовых сосен, в их кругу и под их охраной лето было добрым.

Иногда пробивалось извне зло, фальшь, борьба, горечь...

И уходило... Что скажет осень? Не иллюзия ли эта милая тишина?

...Тогда и бабка Василиса тоже иллюзия, потому что она рождена добротой, справедливостью, ясностью... Истинно ли все это?

Если да, то «иллюзия» станет реальнее самой действительности и бабка Василиса заживет среди людей жизнью, вложенной в нее добротой и миром этого лета.

Так искусство не только ищет и отражает истину, оно ее проверяет: есть это все (добро, справедливость, благородство) или нет его.

31 августа

НА НЕБЕ — ПАВОДОК, НА ЗЕМЛЕ — ПАСМУР

С утра бусит мокрик-снопогной. Помеженит на часок, посветлеет местами заволока туч, ждешь, вот-вот глянет небо синей прогалиной.

Нет... Снова затянет паморок, начнет дождь накрапом, раскропится сплеча обложной, неперемежный, занудливый.

А розы доверчиво набрали десятки бутонов, больше чем по весне.

Расцветут ли? Если бы солнце! Расцветшие мокры и мелковаты, с припухшими наружными листьями.

Осыпаются мокрые флоксы. Удивительно стойко держатся нежные космеи, и царят неуязвимые георгины и гладиолусы.

Стволы милых сосен потемнели от влаги, меньше в них золотистой песчаной сухости...

Что больше всего я люблю в живописи?—«Омут» Левитана. «Сикстинскую мадонну». Почему?

...«Единство противоположностей»—византийская духовность, высокая самоотверженность и вся прелесть плоти, все жизнелюбие...

В младенце этого «единства» нет, и он сам по себе слабее. Глаза провидца и подвижника на тяжелой шишковатой, сократовской голове.

Если б такие глаза на нежном лице ребенка... Младенец был бы лучше... А вся картина? Может, ей, мадонне, и надо вот такое, не по рукам тяжелое, рожденное на подвиг и муку дитя?

...Та жертва частностью во имя целого, на которую способен гений?..

1 сентября

СЕНТЯБРЬ

Сентябрь—летопроводец, ревун, осенник. Сентябрь—бабье лето.

Вдруг разведрило меж дождями, и на горячем солнце заиграли цветы—пышно, ярко.

...Последние летние часы...

Начало осени. Я боюсь этой осени. Лето было добрым, и я боюсь утраты доброты и покоя.

Что ты принесешь нам, глубокая осень?

7 сентября

Два дня назад переломилось лето.

А какое оно было золотое!..

Сразу похолодало. Повеяло в окна студеным севером. Затопили.

Все еще цветут космеи, флоксы, гладиолусы и георгины. Золотые метелки фуксии, белые астры. Десятки бутонов на розах.

А сад уже прощальный, осенний. Одна холодная ночь, и листья винограда уже в окалине. Краснота пробежала сверху донизу. Чуть зажелтел орешник.

Остатние, прощальные, печальные дни — как жаль расставаться с тобою, лето! Какое ты было великолепное, полное солнца, цветов и все пронизанное любовью.

Дожди, туманы, пасмур. А цветы цветут.

Но уже не хочется в сад. Уже приятны горячие батареи, затопленный камин, тепло и сухость в доме.

А за окном клочья тумана. Медно-красные листья винограда, потемневшие от влаги сосны.

Осень...

8 сентября

ДНИ ДОЖДЕЙ, ФЛОКСОВ, ГЕОРГИНОВ, ГЛАДИОЛУСОВ, КРАСНОКАЛЕНЫХ ЛИСТЬЕВ ВИНОГРАДА

А на розах, гладиолусах, георгинах еще столько бутонов...

Расцветут ли?

Флоксы поредели, но еще стоят. Еще крупны благословенные космеи. Такая нежная только по божьему особому благоволению может стать стойче, выносливее всех!

Прощальный, печальный сад в дожде и тумане. Хорошо затопить камин. Но как жаль тебя, лето! Какое ты было великолепное, полное солнца, цветов и все пронизанное любовью.

Он не поправился за лето, мой дорогой муж. Съели его здоровье мои болезни и разочарование с пьесой.

Как ему помочь, чем?

23 сентября

ДНИ ОСЕННЕГО ЗОЛОТА

Кристальный, божественный день с зеркальной синевой, с золотом орешника и багрянцем винограда.

Нежны розы, белы цветущие флоксы, багряны гладиолусы, великолепны обожаемые космеи.

Сажали тюльпаны. Доживу ли? Увижу ли я тебя, весенний сад?

Раскрылся невиданной красотой гладиолус — бело-розовый. Откуда он?

День неповторимой красоты — не лучше ли весенней прелести эта кристально спокойная осень в синеве и золоте?

27 сентября

ДЕНЬ ЛОСЯ И БЕЛО-РОЗОВОГО ГЛАДИОЛУСА

Блистательным днем ехали золотым лесом на машине по шоссе.

И вдруг совершенный, как ожившая бронза, легкий, округлый, спокойный, перешел шоссе лось.

Как шагал он неторопливо, уверенный, что этот золотой мир — его добрый мир! Как сливались его бронзовые отливы с золотом леса! Как царственно спокоен был он в потоке машин!

Дивный раскрылся гладиолус! Огромный, белый, едва розоватый, с алой серединой. Откуда он взялся? У нас не было такого. Мы назвали его сорт «Наша любовь».

И последняя трогательная прелесть нежнейших роз, что цветут, несмотря на заморозки.

Лес золотого царского великолепия — и лось.

Сава-пчельник пчел провожает...

За золотом леса боль и гнев.

Все еще нет судьбы у Максимушкиной пьесы. И это больно, больно обоим.

Нет «конъюнктуры», а глубина? Те, кто ее видит, так радуется этой пьесе. А счастья ей нет... Бедная Степка, бедная наша Золушка...

От этого боль, горечь.

28 сентября

Утром просыпаюсь, а в памяти царственное золото леса и возникший из него лось.

Первое, что вижу за окном,— багряные, прозрачные на свету листья винограда. Дивная осень. А с полудня дождь.

«...надо иметь ясное представление о том, что из всего этого получится, и надо иметь совесть, такую же абсолютно неизменную, как метр-эталон в Париже, для того, чтобы уберечься от подделки...» (Хэмингуэй).

Совесть, если она неподкупна, скажет одно: делай! Не ищи оправдания в равнодушии других, в клевете врагов, в изнурительной болезни, в слабости друзей.

Делай! Украшай землю и жизнь! Сей хлеб, если ты агроном, строй ракеты, если ты ракетчик, борись за большую правду, за добро и справедливость, если ты писатель!

Делай!

И ни в чем не ищи себе оправдания, если делаешь плохо.

29 сентября

ТУМАНЫ, ТУМАНЫ, ТУМАНЫ...

Еще горят и белеют гладиолусы. Несколько отважных роз еще силятся раскрыть бутоны. Еще стоят доцветающие флоксы, табаки, космеи... Еще в полную силу цветут георгины.

А над всем этим туман, туман... На столе гладиолус «Наша любовь».

Прощай, лето!

Ушло лето.

А хотелось бы сказать ему:

«Остановись! Ты так прекрасно».

Потемнели от дождя милые мои сосны, все стоят так же они в круговой охране, но вместе с летом отлетает и спокойствие...

Тревоги, тревоги, печали. И боль в сердце...

Снова на пороге болезнь с невозможностью двигаться, действовать. А как много могла бы я, и как я хочу много сделать.

1 октября

ОКТЯБРЬ. ЛИСТОПАД. ЗАЗИМЬЕ

Прохладный, кристально ясный день. Весь в живом золоте берез.

В лесу все переливы желто-багряных тонов. От орешника, жасмина, светлого золота берез до каленого багрянца вишен. Прелестнее всего молодые березки — не потеряли ни одного листа, полнолиственные и насквозь позолота. Это сквозное, трепетное живое золото оттеснило все.

Даже сосны, мои неизменно прекрасные великаны, как бы отошли в сторону.

В саду листопад... Листья золотые, багровые, багряные, с выгнутыми спинками, шуршащие...

Под ярким теплым солнцем рдеют гладиолусы, доцветают флоксы, царят махровые, полные силы георгины и вовсю цветут нежнейшие космеи.

Кое-где время от времени неторопливый полет отживших листьев.

И всюду — в высоте, в воздухе, на земле — переливы золотых, багряных, рыжих красок.

...Золотой, бронзовый, багряный мир под тихой синевой.

4 октября

ДЕНЬ ЗОЛОТЫХ БЕРЕЗ

В лесу вспыхнули березовые костры. Всегда березы сливались с зеленью леса, а сейчас вдруг выступили вперед — насквозь золотые, полнолиственные, белоствольные. Сосны, неизменно прекрасные, отступили перед их золотой красотой. Багрянец вишен, желтизна орешника — все меркнет перед их светлым-светлым, новорожденным золотом.

Молодое золото берез. Молодой день, полный бодрой, солнечной свежести, тепла, живительного кислорода.

Вьются, поблескивая в нитях, паутинки. Кружат пчелы, тяжело взлетают коричневые, лакированные божьи коровки.

6 октября

УТРО ПЕРВОГО ИНЕЯ, ПОВОРОТ НА ЗИМУ, ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЦВЕТОВ, ДЕНЬ ЛЕСНОЙ ОПАЛИ

Ночью вызвездило, а к утру лег первый иней.

В полдень снова почти горячее солнце, и тишь, и синь... а цветов уже нет.

Сразу поникли вчера еще пышные, живые, упругие, а сегодня тряпично-вялые космеи. В нераскрывшихся колосьях гладиолусов появилась мертвенная прозрачность подтаявшего льда. Сразу повяли, одрябли, сникли вчера еще царственные георгины.

За одну холодную ночь сник и отцвел наш сад.

А деревья, побитые морозом, теряют листву... Всюду

палые листья. Еще живо сквозное, светлое золото берез, еще жив каленый багрянец вишневой листвы, еще красноваты резные листья рябины. Но все гуще бурый шуршащий ковер под ногами и больше черных ветвей в высоте.

И весь день под ярким и теплым солнцем опадают, летят неторопливо, легко ложатся на землю осенние листья.

Падали сочные, зеленые, без желтизны огромные каштановые листья.

...Лесная опаль...

На столе последние розы — нежно-розовые, словно дремлющие на листе, белая и черно-красная...

В вазах хризантемы, подобно георгинам, гладиолусы, космеи...

Туманит...

На «Мосфильме» нам сказали про наш фильм[1]*: «Вы сами не знаете, что вы сделали!»*

Воображают, что это интуиция! Я знаю всю азбуку этого от «а» до «я», до твердых и мягких знаков.

Я еще плохо ее использую, но я ее знаю всю, а некоторые режиссеры не в силах отличить «а» от «б», как я не в силах отличить «до» от «ре».

Искусство правды — это искусство сперва анализа, а потом такого синтеза, чтобы в привычном открылось и прекрасное и страшное.

7 октября

ДЕНЬ ЗОЛОТОГО КРУЖЕНЬЯ

Весь день летят и летят в синеве тихие, золотые листья. Вчерашние заморозки сбили их, не дав им ни побуреть, ни съежиться.

Летят, как большие, плавные птицы, не тронутые желтизной, сочно-зеленые листья каштана.

За день навалило под каштаном целую перину — пышную, зеленую. Все гуще шуршащая опаль под ногами. Все больше обнаженных ветвей.

Солнце. Синева.

Золотой полет — листопад.

Тишина.

«Пал пан на воду, сам не потонул, воды не помутил».

---

[1] «Битва в пути», сценарий написан совместно с М. Сагаловичем.

10 октября

ГОРЯТ БЕРЕЗОВЫЕ КОСТРЫ!

Праздник берез!

День назад еще тонули в багрянце и золоте лесной купины. Сейчас облетели деревья, и среди зелени сосен лишь одни березы полнолиственны и ярко, молодо, светло-золоты. И, освещенные сквозным золотом листвы, необыкновенно белы стволы. Белее снега, белее бумаги, белее белого цвета, белее всего на свете!

Золотые и белоствольные разгорелись сигнальными кострами, разметили, украсили сосновую чащу. И как вокруг костров все меркнет, уходит в тень — так померк, отступил вокруг березовых костров весь лес!

Молодое, чистое, дивно светлое золото берез!

Что весна! Весной березы только трогательны. Сейчас царственно прекрасны.

В октябре их царственная юность — северное чудо в лесу!

11 октября

РАЗГОРАЮТСЯ БЕРЕЗОВЫЕ КОСТРЫ!

Как украсили и зажгли лес березы! Зеленые, они сливались с лесом, а сейчас горят среди сосен золотыми кострами, видные далеко, далеко!

И не гаснут, а день ото дня все чище, все ярче их золото, все белее невиданные стволы.

А день такой непередаваемой прелести, что хочется крикнуть: «Не уходи!»

Остановить, запечатлеть хотя бы словами.

Весной не то. Весной влага, тревога, зов. А сейчас — отдых. Сама природа сложила натруженные руки и улыбнулась лицо в лицо.

...Блаженный отдых, золотое успокоенье... Молодое пламя берез.

12 октября

ОБЛЕТЕЛ ПОЧТИ ВЕСЬ ЛЕС.
МЕРКНУТ БЕРЕЗОВЫЕ КОСТРЫ

Редеют березовые листья, проступают ветви и поветья, меняется, буреет цвет. Уже не молодое, густое, дивно светлое золото, а буроватая, томленая позолота.

Лоснятся странно голые ветви.

Нет цветов. Только табак держится, не сдаваясь. Да крупные желтые ромашки не признают заморозков.

А день золот, тих, полон паутинок и чуть слышного журчания осенней опали.

13 октября

ТУМАН

Как пахнет ноябрем!

Птичья стая, закрывшая все небо, кружилась над садом с гомоном и тревогой. Прощалась с нами? Потом постепенно в кружении и гаме сместилась на запад.

Птицы ватажились перед отлетом.

Березы побурели, нет той светлой красы.

Палый лист на земле. Лесная опаль...

18 октября

Солнце. Поредевшее, побуревшее полистье берез еще оживляет зелень сосен.

Остальные деревья оголены, и лоснятся на солнце нагие поветья.

...В зеленой траве не цветы — лесная опаль...

В длинной вазе на подзеркальнике последняя роза, по-октябрьски золотиста... Гаснущая, блеклого цвета.

21 октября

Кончилось наше доброе лето.

Началась злая, беспощадная осень.

Надо стерпеть еще одну боль, еще одно разочарование...

...То, чем жили зиму, то, чему... так бесконечно радовались весной, рухнуло. Ничего не осталось, кроме боли[1].

Неужели милая тетрадка этого светлого лета кончится болью?

Сколько разочарования — и как мужественно Максим переносит. Сегодня ни звука об этом. Слушая мои новеллы, говорил о них.

---

[1] Имеется в виду неудача с пьесой М. Сагаловича.

Грустно в тумане под зеленым тусклым небом.

Я боялась осени. Она пришла как раз такая, как я боялась,— жестокая!

22 октября

День туманный, холодный.

Бурые березы. Темные сосны.

Цветут желтые ромашки.

Расцветают два бутона на розах. Наливается много бутонов.

Страшный душевный спад.

Душевное отупение.

Степка не найдет своей судьбы. Сколько уже принесла она боли? То, чем жили зиму, то, чему два дурачка так бесконечно радовались весной, рухнуло. Ничего не осталось, кроме боли.

У меня то боль, то тупость, и еще не знаю, что из двух хуже. Я боялась осени. Она пришла как раз такая, как я боялась,— жестокая!

26 октября

Срезали последние розы.

Маленькие, несильные, но... розы!

В пяти вазах маленькие розы и бутоны.

11 ноября

Первая пороша!.. Первый зазимок. «С вечера пороша выпадала хороша...»

Вчера еще огромное соцветие анютиных глазок на влажной, черной земле. А утром за прихваченными сухим морозцем окнами по-зимнему холодно. Розоватое небо и... белый сад...

В саду все запорошило, все выбелило.

Все бело, свежо, принаряжено.

Неторопливо, негусто, красуясь на лету и давая собой полюбоваться, каждая сама по себе, опускаются белые мухи. Первая пороша! Первозимье! Нарядный денек!

Белая падь в воздухе.

Лежачок, первый спорый снежок на земле.

Еще не зима, первый зазимок.

Зима еще только выглянула, покрасовалась, поманила — глядите, какой я бываю красавицей!.. И что-то поет в самом сердце: «Ах, с вечера пороша выпадала хороша».

Рассталась с бабушкой Василисой — «пустила в люди...». И гаснут покой и радость... Отчего это — пойдет по редакции,— и конец радости?

Дивные слова Ленина:

«Обычное представление схватывает различие и противоречие, но не переход от одного к другому, а это самое важное.

...Мыслящий разум (ум) заостривает притупившееся различие различного, простое разнообразие представлений, до существенного различия, до противоположности. Лишь поднятые на вершину противоречия, разнообразия становятся подвижными и живыми по отношению одного к другому,— приобретают ту негативность, которая является внутренней пульсацией самодвижения и жизненности»[1].

28 ноября

Вот и взаправдашняя зима.

Снегопад. День, как гнездышко, весь пуховый, мягкий, свежий.

Серо-белое низкое небо, пушистый непримятый снег на земле, крупные снежные хлопья в воздухе.

Тихо. Мягко. Пышно. Бело.

На ветвях — везде белая оторочка. Ветви елей в пушистых и слипшихся шапках.

Ветви молоденьких сосенок так забило, что из снежных валиков смешно торчат только кончики зеленых иголок.

Липкий снег даже вдоль стволов сосен с юго-восточной стороны.

Весь мир опущен белым. Так свежо и чисто, что после прогулки во рту вкус ключевой воды...

29 ноября

Тот же свежий и пасмурный радостный день.

Та же опока, оторочка всюду на ветвях, на стволах, на заборах.

Необмятое первозимье: еще не принастило пышный снег. Те дни, когда от пороши до наста вольготно зайцам.

И все тот же вкус ключевой воды на губах, во рту, кажется, в самой крови.

...Хорошо.

---

[1] Ленин В. И. Философские тетради. М., 1947, с. 117—118.

1 декабря

ДЕКАБРЬ, СТУДЕНЬ, ЗИМНИК

Снегу много, но нет той пышности — повлажнел, потяжелел. Опока сваливается с ветвей большими влажными комьями, лишь кое-где остается, как клочья ваты. Тепло — 0—1°, а на стволах по всей длине от корня до верхушки узкие белые полосы с юго-западной стороны. Липкий снег плотно набился в надкорья и держится.

В этот день подружились зима и осень — взялись за руки. Тихо шагают рядком.

Совсем осенняя мелкая редкая мжичка в воздухе, осенняя влага, а на земле нетающий снег...

То вдруг засеверит, и посыплются крупные липкие густые хлопья, и весь мир виден сквозь густую белую сетку.

Тонкая, тонкая грань меж зимой и осенью.

В полдень особенно густо повалили крупные хлопья, особенно загустела белая сетка. Но снега на деревьях, заборах не прибавилось — он был снегом в воздухе и таял у земли. На перилах балкона, на подоконниках, на иглах сосен свисали крупные капли, крупно капало с крыш, разбрызгиваясь, как в ливень, и вскоре полуснегопад-полудождь превратился в обыкновенный дождик, и уже не белая, а серая сетка занавесила лес.

1963

1 января

Январь — проси льда. Переход зимы.

Году начало — зиме середина. Волки садятся.

24 января

Полузимица. Полухлебница. Пополам, да не поровну.

Метель на полузимицу корни подметает.

Вкус ключевой воды. Поющие снега.

17 февраля

Густо закрыто облаками небо. Розовый и тусклый молочный свет. Безветрие и густой снегопад.

Снежные хлопья падают густо и прямо, без игры, медленно, вяло, покорно.

Смирение, усталость, печаль...

20 февраля

«ПОДАРОЧНЫЙ» ДЕНЕК

После снегопада вдруг безоблачное, эмалевое голубое небо над нетронутой белизной.

Воздушная пышность снегов. Еще не принастило, не умяло, не подточило, еще каждая снежинка лежит легко, почти на весу, еще каждая живет сама по себе и ждет лишь, чтобы заиграть с близким и ярким солнцем.

И снега так воздушно легки, что их не назовешь сугробами.

Снега искрятся, блестки разбегаются при каждом повороте головы.

И при каждом повороте головы то одна, то другая снежинка играет со взглядом, искрятся и разбегаются блестки.

Черные ветви деревьев густо и сильно оторочены белым, и белая оторочка повторяет все изгибы черного пышней и объемней самих ветвей.

На перилах лестниц — вторые, более высокие, отграненные пышные перила, молочно просвечивающие на ярком солнце.

На столбах забора белые нахлобучки, высокие, как боярские шапки, и на зубцах по всему забору вторые белые зубцы.

На соседней крутой и белой крыше четкие, синеватые от солнца тени деревьев ярки, как на экране.

Сверкание солнца. Голубизна. Воздушная пышность снегов. И белая пышность оторочек на всем.

Нарядный — «подарочный» — денек.

В такие дни зорнить пряжу!

21 февраля

Неповторимость любого дня — как радостно видеть ее.

Нынче — опаловое утро!

Синее небо на юго-востоке подернуто такой тонкой облачной пеленой, что свет, смягчаясь, свободно льется сквозь нее, и вся она светится опаловым светом.

Солнечный диск на ней ярок, но расплывчат. Слиток расплавленного светлого золота.

И медленно падают в опаловом свете крупные и редкие снежинки.

Какова основная задача современной литературы?

Эта мысль владеет мной, и я нахожу много способов для доказательства одной и той же теоремы, для одного и того же ответа много формулировок.

Вот одна из них.

Ребенку достаточно сказки о злой бабе-яге и добром мальчике с пальчике.

Ребенок растет, становится школьником, и ему уже мало бабы-яги и мальчика с пальчика...

С ним надо говорить на конкретном языке его еще маленькой, но уже сложной жизни.

Он превращается во взрослого человека, живет в наше сложное, порой парадоксальное время, и не сказка, лишь разговор, основанный на глубоком и правдивом анализе наших дней, интересен и полезен ему.

Чем взрослее человечество, чем сложней жизнь, тем больше роль глубокого, острого, правдивого исследования в работе писателя.

А вот и вторая формулировка этой же мысли.

Как ни парадоксально, но именно наша глубокая вера в совершенство нашего советского строя способствовала такому его несовершенству, как культ личности.

У некоторых из нас мечты заменяли цель, иллюзия заслоняла действительность, воображение заменяло острый анализ и точный расчет. Наука о строении социализма иногда подменялась утопией.

Огромную роль сыграло смелое решение партии разоблачить перед всем миром культ личности.

По-моему, важны в этом решении не только реабилитация невинно осужденных, но отказ от элементов иллюзий, обмана, умолчания, утопии.

К строго научному построению коммунизма, основанному на глубоком познании его противоречивых движущих сил.

Нет движения без противоречий, но, познавая их, наше общество может управлять ими.

И снова я прихожу к тому же выводу — к огромной роли исследования жизни для писателя наших дней.

Вот уже шестой год тема ареста не сходит со страниц советской печати. Это большая тема, она будет еще многие годы, я сама с горечью и болью писала об этом шесть лет назад.

И все же сегодня, повторенная без углубления и нового раскрытия, она уже кажется мне топтанием на месте. Меня всегда влечет «передний край», а это уже тема вчерашнего дня.

Есть сегодняшний день с его огромными достижениями и большими трудностями, во многом связанными с тем, что упорно внедрялось в души людей в эпоху Сталина и что не так просто изжить.

Душевный опыт писателя, приобретенный за эти годы, не только в том, чтобы поднять и раскрыть всю боль противозаконностей, связанных с культом личности. Душевный опыт писателя прежде всего в том, чтобы впредь не обмануться, не ошибиться, не быть обманутым, не обмануть, не умолчать,— в том, чтобы уничтожить почву, на которой мог возникнуть культ личности или явления, ему подобные.

Вот почему литература, трактующая отвлеченно, «вообще» о плохом и хорошем (о бабе-яге и мальчике с пальчике), вообще о любви, вообще о справедливости, кажется мне «мальчиковой», «подростковой».

Вот почему мне думается, что сейчас, как никогда, нужна литература зрелого мужества, литература глубокого социального исследования. Я думаю, нужна бальзаковская сила в остроте социального исследования, проводимого через анализ человеческих душ.

В бальзаковских традициях работали многие русские классики, в его традициях работают и многие прогрессивные писатели Франции. К сожалению, я мало знаю французскую литературу. Но такие, хорошо известные и мне, и миллионам советских читателей книги, как романы Л. Арагона и цикл «Нейлоновый век» Эльзы Триоле, написаны со стремлением к широким социальным обобщениям.

Я знаю, что, несмотря на то, что со времени разоблачения культа личности прошли годы, до сих пор есть, находятся противники этого смелого шага.

Такие люди считают, что если уж нельзя повернуть историю вспять и вернуть разоблачение обратно, то необходимо хотя бы умолчать о нем.

Я не раз спрашивала себя: кто эти люди и чем продиктованы их стремления?

Иногда это мечтатели, слабые души, которым жаль своих привычных иллюзий.

Иногда это трусливые души, которых пугает смелость сделанного шага.

Иногда это чиновники, которые удобно устроились еще в те годы и которым перестройка грозит потерей удобств, тревогами.

Чаще всего это люди, которым потребность умалчивать, скрывать, недоговаривать, носить удобные розовые очки вошла в плоть и в кровь...

25 марта

Весь день перемены — то крупно, слитно валит снег, метельно кружась, то разъяснивает.

На исходе март, а еще ни капели, ни проталины.

Лишь на южной стороне сугробов местами ледяная корочка.

Ветер.

Вчера составляли план садовых работ. В небогатом, но ярком цветении азалия.

Ветви орешника в вазах еще не лиственеют.

3 апреля

Снегопад, метель.

Крупные и влажные хлопья мечутся под ветром.

5 апреля

Не снегопад — снеговал!!!

Густо падают белые хлопья, крупные, тяжелые, вихрятся на лету.

Стоит перестать снеговалу, и начинают под ветром осыпаться тяжелые снежные шапки с ветвей и крыши. Осыпаются непрерывно — то хлопьями, то густой россыпью, то снежной пылью. И все еще ветви, поветья в белых шапках и в оторочке.

Белизна. Белизна...

Весь день сад за окном — будто за густым марлевым пологом. Пышны сугробы.

В полдень, впервые за много дней, чуть проглянуло солнце. И вместе со снежной опалью за окном первая капель с сосульками.

Ветер. И снег, снег, снег...

День капели.

Первый день густой, сильной капели. С крыш даже не каплет, а течет, как в дождь,— почти непрерывные тонкие струйки за окном — так рыхл снег, так силен внезапный прогрев.

Как бесконечно радостен Максим, облегчая мои мучения, счастлив каждой моей улыбкой, каждым улучшенным биением сердца, как терпелив и кроток к моим больным капризам, и весь светится, когда я зажгусь замыслом, созревшим в его чистом мозгу, или хотя бы одобрю этот замысел!

Вспоминая годы, прожитые с ним, одно повторяю: есть божественное в сердце человека!

Я гублю его — он живет в непрестанном трепете за меня, в ежедневной томительной гонке за врачами, лекарствами, кислородными баллонами, уколами. И нет у него спокойного дня. Но когда я говорю ему, что надо хоть ненадолго разъехаться, чтобы он отдохнул от меня в Дубне, где его работа, его тема, в Москве, в Сочи, где угодно, чтобы он хоть немного отдышался от этой страшной больничной, многолетней атмосферы, он стоит у кровати и твердит: «Ни на день, ни на полдня... Только рядом...»

У меня часто не хватает сил скрыть боль, сдержать болезненную раздражительность, быть терпеливой и терпимой. Моему единственному любимому и единственной радости моей, мужу моему, я так мало могу дать! Как ни страшен, ни сложен мир, но человек бывает человеком, и тогда он бог.

24 мая

ИЮЛЬСКИЙ ЗНОЙ В МАЕ

Вчера отцвели вишни. В цвету яблони, тюльпаны, нарциссы. Темный ирис, сирень и желтые лилии. И маки-пальмочки. Пионы по пояс — бутоны с пуговицу.

Крошечный бутон на моей любимой черной розе Гадлей. В бутонах парковые розы.

Вчера сажали космею, резеду и четвертую очередь табака.

3 июля

Сентябрьский холод в июле. Небо в тучках. Мокрые, темные сосны. Ветер. Морось... Холод.

Пионы, что так пышно зацветали,— как мокрые курицы.

Подгнивают розы, такие прелестные... Жасмин держится.

Последняя желтая лилия сомкнула лепестки...

Первые бутоны на космее и маленьких георгинах.

Еще цветет красная парковая роза. Белая погнила в бутонах.

13 июля

Черный день.

Я снова еду в больницу.

А в саду... Какая радость и сколько счастья в саду!

Еще цветут (хотя и на исходе) пионы. Безумной красоты розарий.

Последние алые парковые розы. Жасмин. Первая космея. Начало табаков.

12 сентября

Осенний сад чуть пасмурит. В цвету флоксы и георгины, роскошные большие георгины, небывалые гладиолусы.

Цветут несколько роз.

Плохая космея.

Гладиолусо-георгиновый сад роскошен.

Лето прошло...

Знойное, прекрасное, полноцветное и... такое горькое.

Больница, больница... Больница.

Страданья. Боль.

Если бы не доброта Максима — лучше б смерть. Держусь его заботой и любовью.

Змеи уходят на зиму. Остаются гуси. Чтобы все они унесли мое горе.

Лето такое долгожданное, такое желанное и такое жестокое позади.

Впереди страшная серая осень и длинная зима, о которой думаю с ужасом.

1 октября

Кончился блистательный сентябрь, с летним теплом, с голубизной неба и яркой синевой реки, с блеском пролетающих паутинок, хвоинок, с первой краснотой винограда, с первой прозолотью листьев, такой нежной, что она возникает из зелени, и явственно родство зеленого и золотого.

Буйно цвели георгины с дерево ростом, и всех дивили сказочные гладиолусы.

Дождь.

Но еще много георгинов и еще в цвету гладиолусы.

Явственно рыжеет мокрый лес.

Октябрь!

4 октября

ПАСМУР. «ДНИ ВИНОГРАДА»

В саду все переливы красно-желтых тонов. Дивный багрянец винограда!

Окалина орешника, нежная желтизна берез.

Вчера еще был солнечный день, прелестный.

Посадили тюльпаны.

Виноград, поднявшись по стволам сосен высоко, высоко, багрян и царит над садом.

7 октября

Последние розы.

Маленькие тугие бутоны.

Густо цветут лишь маленькие, морщинистые. Цветут гладиолусы.

Еще есть нерасцветшие колосья. В цвету георгины.

День весь в переливах от зелени к золоту и багрянцу.

10 октября

ТУМАНЬЕ

Туман. Вчера еще день кристально ясный, а сегодня с утра густой туман и осенний холодок — плюс 3°.

Отгорел, вянет, никнет виноград.

В лесу уже не зелень с золотой подпалиной, а переливы буро-рыжих тонов с остатками зеленой купины.

Только темная зелень сосен...

Еще зелен каштан.

Листья парковых роз наполовину зелены, наполовину чисто-желтого цвета. Побурел орешник, буреет вишня и яблоня. Еще чисто-зелена сирень.

В розарии зеленая сильная листва и полно бутонов. Роскошно (как никогда) цветут гладиолусы и георгины.

Беда — лезут нарциссы!

11 октября

ОСЕННИЙ ДЕНЬ

Зелены только сосны, сирень да жасмин.

Облетают бурый орешник и багряные листья винограда, рябина цвета темной окалины, золотые березы, бурые вишни и яблони.

Березы дивного светлого золота.

Еще цветут белые и алые гладиолусы, георгины, космея. Пасмурно, тихо, прохладно. Все сухумские розы — в бутонах. Много бутонов в розарии.

Все еще стоят флоксы — слабые, редкие, но все еще стоят.

14 октября

Бурый лес под пасмурным небом. Ветер.

До 1/IV 64 года — до весны — $5^1/_2$ месяцев.

Всего $5^1/_2$... Как мало... Но это целая зима! И как это бесконечно много!

Прошагаю ли я эти $5^1/_2$? Дошагаю ли до нарциссов, тюльпанов, сирени, которые с осени так заботливо и старательно готовила к весне?

Облетел виноград, буреют деревья, и все ярче светлое золото берез.

Но все же нет того, как в год «березовых костров», когда все деревья облетели и одни березы почему-то были полнолиственны и долго одни горели кострами, царили над темной зеленью леса...

Максим ведет меня от цветка к цветку, от месяца к месяцу. (Кислород, уколы, вливания, диета, покой, и масса радости, и ласка, которые помогают мне выносить страдания нескончаемые.) Дойду ли я, держась за его милую руку, еще до одной весны?

Каждую запись мне хочется кончить одним — благословением ему.

16 октября

Вот и похолодало.

Впервые ночью 0—2°, и с неба крупа — снег не снег, а что-то белое, тающее на лету.

А утром дождь...

Вчера вырыли гладиолусы, сегодня — георгины.

Бурый, сильно поредевший сад.

Печаль.

Лето, такое долгожданное, было горьким... Такое прекрасное, было мучительным.

Больница, больница, мученья всякие.

Жива только мужеством, добротой, светом Максима.

Что делать? Как поступить?..

Господи, научи![1]

---

[1] Последняя запись, сделанная Галиной Николаевой: 18 октября 1963 года ее не стало.

ПОЭЗИЯ

1937—1940

РУЧЕЙ

Мне не быть океаном-громадой,
В мире много судеб и путей.
Есть во мне чистота и прохлада,
Запах хвои у влажных корней.

Вдоль меня городов не построят,
Не поднимут ни арок, ни труб,
Но моею водою умоет
Потный лоб молодой лесоруб.

Он умоет и вдруг улыбнется,
И топор заиграет в руках,
И, как в детстве, ему запоется
На невидных моих берегах.

ГЕОЛОГИ

Ветер, спутник мой, в сердце стучится мне.
Нестерпимо следить мне опять
За тревожными, легкими птицами,
Караван облаков провожать.

Нам пора наши сборы заканчивать,
Душен стал кабинетный уют,
И дорог бездорожье заманчиво,
И капели мне жить не дают.

Нам пора, как заведено исстари,
Нам по вёснам в пути хорошо,
Нам найти, что никем не отыскано,
Нам пройти, где никто не прошел.

Нам обжитое бросить без жалости,
В сизых зарослях встать на ночлег,
Исхудать нам от страсти, от жадности
К молодой необъятной земле.

А к зиме нам в руках исцарапанных
Донести до родных городов
Серый камень в сверкающих крапинах,
Камень с дальних таежных хребтов.

* * *

Над рекой Устол тайга дремучая.
Древний скит, где старый полоз спит,
У горы, под глинистою кучею
Злая топь, да камень на топи.
    Никому судьба его не ведома.
    Серый мох растет на нем, как мех.
    Он лежит в чащобе заповеданной,
    Старше всех и молчаливей всех.
Он лежит, ничем не потревоженный,
Лишь в густой предутренней тиши
Прохромает заяц, как стреноженный,
И, споткнувшись, ляжет у сосны.
Ни одна тропа здесь не проторена,
И не дрогнет ветка ни одна.
Все слова давно переговорены,
И порука темная дана.
    Лишь вода бежит нетерпеливая,
    И журчит, и точит берега.
    И бурлит то серая, то синяя,
    То, как лист, зеленая река.

О МАЯКОВСКОМ

Телефон в апрельские сумерки,
Тишину будя, позвонил.
Подошла. «Маяковский умер.
Он сам себя убил».

Почему-то сразу поверила
И застыла, трубку держа.
После окна открыла, двери,
Чтоб легче было дышать.

Не легчало. На улицу вышла.
Незнакомый солидных лет
Мне сказал вполголоса: «Слышали?
Умер поэт».

«Факт?» — «По радио из Москвы».
Тогда я пошла наугад бродить,
Все искала печали выхода
И нигде не могла найти.

И куда ее ни несла бы я,
Все в тоску вырастала грусть.
Возвратилась, от горя слабая.
Как мне бодрость свою вернуть?

Я взяла и открыла книжку,
Ту, что куплена год назад.
Я открыла ее и вижу:
Вдаль упорно смотрят глаза.

Я открыла ее и услышала
Миллион родных голосов.
Стало так, точно я на лыжах шла,
Точно ветер мне бил в лицо.

Стало так, точно шел физкультурный парад,
Когда тысячи как семья,
Когда знаешь, что каждый, кто рядом, брат
И стеной за спиной у тебя стоят,
Неизменны навек, друзья.

И мой угол пустой — он не стал пустым,
Ты вошел ко мне шагом твердым.
Я услышала ясно, как дышишь ты,
Тот, кого мы считали мертвым.

* * *

Мгла за стеной. Тревожный сад.
И дрожь и бред ветвей.
Осенний звездолистопад
Над пустошью полей.

Рвет ветер сетку проводов.
Он бьется в ней давно.
Железный север дышит вновь
В открытое окно.

С работы поздно ты пришел,
Ты запах смол принес.
Подарки выложил на стол,
Опилки смыл с волос.

Ты пел, с дочуркою шутил,
Меня на вечер звал,
Но только голову склонил,
Как сон тебя сковал.

И ты уснул, не погасив
Улыбки на губах,
Моей руки не отпустив
И слов не досказав.

Весь день в работе на ветру,
Рука твоя жестка.
Твою рубашку я беру
И яркие шелка.

Игла летает над канвой,
И песня с ней летит.
Сухой осеннею травой
Глухая ночь шуршит.

Как рыбы в неводе, кусты
Трепещут, рвутся врозь,
Как осыпь зерен золотых
Ночная осыпь звезд.

Спи, свет мой, спи, моя любовь.
Давным-давно темно.
Железный север дышит вновь
В открытое окно.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Пусть тяжелы твои ресницы
И легок сон,
Усни, мой мальчик смуглолицый,
Под хвойный звон.

Звенят ветра в тайге дремучей,
Тайга поет:
— Расти большой, как я, могучий,
Мой лесовод.

Поет, плеща о берег влажный,
Твой океан:
— Расти, моряк, расти, отважный,
Для дальних стран.

И ветер, мчась от моря в горы,
Тебе поет:
— Расти, пилот, как ветер скорый,
Расти, пилот.

И, над ручьем склонившись низко,
Шуршит камыш:
— Как ручеек, простой и чистый,
Расти, малыш.

Пою, склонившись над работой:
— Расти, боец!
Расти героем-патриотом,
Как твой отец.

На страже счастья у границы
Бессменно он.
Спи. Тяжелы твои ресницы
И легок сон.

Я ЖДУ ТЕБЯ

Из часа в час, из года в год
Растет тоска. Я жду тебя
В цеху три смены напролет.
И у станка я жду тебя.
Сижу всю ночь я за шитьем,
И над иглой я жду тебя.
Мы рождены, чтоб жить вдвоем,
Любимый мой, я жду тебя.
С друзьями на берег пойду,
На камень сев, я жду тебя,
Про Волгу песню заведу
И под напев я жду тебя.
Ночной порой тайга звенит,
Под хвойный звон я жду тебя.
Под хвойный звон наш мальчик спит,
А я сквозь сон все жду тебя.

* * *

Третий год, с любых путей-дорог
Возвращаясь к вечеру домой,
Все я жду — ты выйдешь на порог,
Смуглолицый, радостный, родной.

Все смотрю я, не мелькнет ли свет
В переплете нашего окна?
На столе твой маленький портрет,
А вокруг такая тишина.

Тишина. Но ты не любишь слез.
За окошком догорает день.
Дед Мороз на стекла мне принес
Тропиков серебряную тень.

РЫЖИКИ

В первый иней в сентябре,
На студеной на заре,
Выросли, напыжились
Рыжики, рыжики.

Крепкие, ядреные,
Холодком каленные.

В каждой шляпке — луночка,
В каждой лунке — лужица,
В каждой лужице — весь свет,
И чего в ней только нет!

Небо отражается,
Облако качается,
Паутинки вьются,
Ветви сосен гнутся.

В глубине, на донце,
Светит само солнце.

1940

СОСНЫ

Детство ль вновь? Опаленные просеки,
Запах хвои, смолы, земляники,
Неустанных кузнечиков россыпи,
В высоте журавлиные крики.
Дрема змей, их покой и мерцание.
Над ручьями кукушкины кудри.
Затаенное древнее знание —
Опыт сосен, вечерних и мудрых.
Испытали? Смеялись и плакали?
И ни тайн, ни тревог больше нет?
Лишь ручными, медвежьими лапами
Сосны добрые машут в ответ.
И гудят великаны хорошие.
Речь их милая мне не ясна.
Желтоватая тонкая кожица
На стволах шелковисто нежна.

ЗИМА

Снег отливает радугой,
Сверкает белизной.
И что ни шаг — наряд другой
У тропки снеговой.

Кусты в махровом инее,
Снежинки там и тут,
То красные, то синие,
Блеснут и пропадут.

Иду, иду и выйду-ка
По тропке в край чудес,
А там растет, как выдумка,
Засахаренный лес.

1940

АЛЛЕЯ

Сквозит озаренная зелень,
То зонтом затянет газон,
То взглянет глазами газели
Сквозь зыбкий газон горизонт.

Внезапно и зорко он взглянет,
Мелькнет, лиловат и лучист,
Сквозь лиственный шелест и глянец,
И кажется, что ни случись,

Приди только в эту аллею —
И с жизнью сдружишься тотчас,
Живей изживешь сожаленья,
Участию в счастье учась.

ЖЕНСКИЕ ПИСЬМА

I

РАЗВОД

«Прощай.
            Взял все?
                        Тот коврик ты привез.
Ты удивлен — не плачу, не тоскую.
Ошибся ты. Мне жаль почти до слез
Часов и чувств, растраченных впустую».
    У зеркала помедлил, как всегда.
    И вот галантно подошел прощаться.
    Как глубоко, как больно иногда,
    Как слепо можно в людях ошибаться!
И вот одна. Все те же дом и сад.
Но так тоскливо опустели стены.
Но я твержу десятый раз подряд,
Что только нож спасает от гангрены.
    Вот щелкнул ключ.
                            Все стихло.
                                    Ты ушел.
    Я широко окно свое открою.
    Как хорошо, как все же хорошо,
    Когда уже отрезано больное!

II

ЛОЖЬ

Зачем ты лгал? Я все забыть могла —
Измену, боль. Я в памяти хранила б
Лишь прошлое, когда любовь цвела.
Но эта ложь и прошлое убила.

Зачем ты лгал? Ведь только трусы лгут,
Как только гады ползают! Рыданий
Моих боялся? Думал, что могу
Скандалить, мстить, молить о сострадании?

О если б ложью ты не оскорбил,
В разлуке я по-прежнему любила б
Тебя таким, каким ты в прошлом был.
Но ложь твоя и прошлое убила.

* * *

Что ты бродишь неприкаянный,
На окно глядишь вприщур?
Я недобрая, такая вот:
Не забуду, не прощу.

Про тебя, про ясна сокола,
Весть поведал кот-ведун.
Я сойду с крыльца высокого,
Только бровью поведу.

Я отважу труса надолго
Называться храбрецом,
Чтоб и тень твоя не падала
Мне на мытое крыльцо.

* * *

Не тому портрет дарила,
Не тому кольцо дала.
Понапрасну говорила,
Что любила и ждала.

Над холмами вьется буря,
Разметает порошу!
Что ты бродишь, брови хмуря,—
Я прощенья не прошу.

Сторонишься в закоулках,
Хоронишься стороной.
Не тебя я обманула,
Обманулась я тобой.

* * *

Снова сердце в тисках. Рвется в окна взволнованный
ветер.
И на тучи луна положила сквозную кайму.
И таинственны вновь тополя в электрическом свете.
Снова сердце в тисках. Отчего, я сама не пойму.

Я огня не зажгу. Я сегодня не буду ложиться.
Но дверей не открою, дверей не открою тебе.
Как кричала в лесу одинокая темная птица...
Как тянулись к нам ветви, моля, каменея в мольбе.

Наберу на балконе я полные пригоршни ветра.
Как свежо... Я одна, потому что мне лучше одной.
Ночь стоит, как стена. До тебя только полкилометра.
Дверь закрыта на ключ. Только песня побудет со мной.

ПРОЩАНЬЕ С МОЛОДОСТЬЮ

Ох, и что это за проводы
Без разлуки у ворот?
Или доводы — не доводы,
Или все — наоборот?

Что же это получается,
Бередит мою тоску?
Третий год с тобой прощаюсь я,
Все проститься не могу.

Возвращеньями измучена,
Дашь покой мне или нет?
Знать, везучей-невезучею
Появилась я на свет.

Знают юные, пригожие
Одиночество и грусть.
Я с моей судьбой тревожною
На один не остаюсь.

Как не видно, что завьюжена,
Смята молодость моя,
Вы, прохожие, ненужные,
Почему нужна вам я?

Мы простились, юность, что же вновь
Ты стучишься, не таясь?
Иль к тебе я приворожена,
Неуемная моя?

Для чего и чем отмечена,
По земле я прохожу,
Одиноким, тихим вечером
Тишины не нахожу?

ПОЭТЫ

Не для унылых и усталых,
Не из корысти иль игры
Мы ловим жизнь, как луч кристаллом,
В бесцветье радужность раскрыв.

Мы в обыденном, в незаметном
Все семь чудес раскрыть должны.
И вспыхнет спектр семицветный
На белой извести стены.

ДОЖДЬ

Был дымный зной, и побледневшим небом,
Пылая, солнце медленное шло.
Горела рожь.
Томился каждый стебель.
Лилась река расплавленным стеклом.

Как рот больного, схваченного жаром,
Потрескались и ссохлись берега.
Но к вечеру кудрявою отарой
К нам с дальних гор спустились облака.

Они пришли с тех снежных, с тех суровых,
С тех дальних гор, что так знакомы мне,
Там эдельвейс, пушистый и махровый,
Растет один в прозрачной вышине.

Там тишина таит в себе бураны,
Журчанье рек таит в себе снега,
Там по утрам, от солнца и тумана
Рождаясь, ввысь уходят облака.

И вот идут над нами. И высоко
Ветвями ветер прошумел и стих.
И в комнату повеяло из окон
Дыханьем гор, далеких и родных.

Смолк птичий гам, и тени загустели,
И ветер пыль дорожную метет,
И дождевые капли полетели,
Наискосок штрихуя небосвод.

ЧЕЧКИ

(Поэма)

Что же, песня моя — недотрога,
Ты стоишь в темноте за окном?
Боль и радость, покой и тревога
Приготовлены в сердце давно.
Звезды встали к окну полукругом.
Мышь в углу терпеливо скребет.
Нет ни мужа, ни брата, ни друга,
Ожидание в доме живет.
Ты войдешь ко мне, песня, неслышно,
В полусонном дыханье ребят,
В тихом шелесте листьев под крышей,
В дальнем гуле глухих канонад.

1

«Чечки, чечки,
Чеки-чеки-чечки
Чеки-чеки-чечки
На моем крылечке».

Золотой кружочек,
Розовый кусочек,
Ножка от японца,
Уголок от солнца!
Посмотрю в граненое —
Улица зеленая!
Посмотрю я в синее —
Улица красивая!
Посмотрю я в красное —
Улица прекрасная!

«Чеки-чеки-чечки,
Чеки-чеки-чечки
На моем крылечке».

Сидят на грязной лестнице
И распевают звонко
Ребята шестилетние,
Мальчишки и девчонки,
А перед ними радугой
Горят, блестят, лучатся
И звоном сердце радуют
Несметные богатства.
В трудах, в походах с битвами,
Ценой шлепков и порок,
В помойках раздобытые,
На свалках, на задворках,
Отрытые повсюду,
Отмытые на речке,
Осколки от посуды —
Чечки.

«Чеки-чеки-чечки
На моем крылечке».

Ползет арба скрипучая,
Ползет, скрипит, пылит.
Дым труб фабричных тучею
Над лестницей стоит.
Мушиный рой назойливый
Кружит, жужжит, звенит,
А в небе солнце знойное
Горит, печет, палит.

«Чеки-чеки-чечки
На моем крылечке».

Вдруг вдалеке протяжный и знобящий
Раздался крик. И снова тишь да зной.
Бежать туда. Забор в шипах блестящих
С колючками, высокий и большой.
Ворота отперты. Цветы на кочках круглых
И тень ветвей. И у цветущих роз
Стоят большие умершие куклы,
Сплошь белые, без платьев и волос.
А рядом женщина, страшнее всех и выше.
Бела, как кукла. Белые глаза.
Уснула, стоя? Дышит? Нет, не дышит.
Вдруг шаг и вскрик: «Грабители! Назад!»
Мужик с ружьем в простой косоворотке —
Одна рука и страшные усы.
За женщиной мальчишка длинноротый,
За мужиком груженые возы.

И здесь, в саду, так близко, так внезапно
У лошадиных узловатых ног,
Вся синяя и золотые пятна...
Вся целая, отбит лишь уголок...
И девочка скользнула, как в ловушку,
Готовая принять любой удар.
Усы ощерились: «Что, дочка, черепушку?
Бери скорей да к матке шагом марш!»
Они малы, но цену счастью знают,
Такой удачи случаи редки.
Какая чашка, легкая, сквозная!
Какие золотые васильки!
Они растут на поле синем, синем,
Их много, много, трудно сосчитать.
Почти цела, почти как в магазине,
Где для нее коробочку достать?
Но было счастье их до поворота —
И вот осколки на земле лежат.
А за углом мальчишка длинноротый
Бежит, бежит в свой страшный мертвый сад.
Наш парень был немножко тяжкодумом,
Не мог все сразу взвесить и понять.
Он подышал, он посопел, подумал
И лишь тогда рванулся догонять.
Но девочка поймала за рубашку:
«Ведь чечки интереснее, чем чашка!
Она одна, а чечей стало много.
Давай играть. Пусть он бежит, не трогай.

Мы по полу раскинем васильки —
Будет поле с васильками у реки!
Мы сорвем их, мы положим их в кружок —
Это будет василечковый венок!
Мы сорвем их, мы подержим их в руке.
Это будет василечковый букет!»

«Чеки-чеки-чечки
На моем крылечке!»

II

Сегодня на даче уныло и пусто —
Ушли пионеры в поход на байдарках.
Одни октябрята в расстроенных чувствах
Грибы разбирают для сушки и варки.
Не взяли... Одни... Митя с Машей в конторе.
Одни у грибной нескончаемой кучи.

С досады и горя взялись они спорить,
Какой звеньевой интересней и лучше.
«А Маша нам сумочки сшила с узором».
«А Митя дубинки ольховые сделал».
«А Маша нам мельницу выстроит скоро».
«А Митя нам сделает луки и стрелы».
«А Маша нырнет — как с утра, так до ночи».
«А Митя нырнет, если хочешь, на месяц».
«А в нашем звене есть яичко сорочье».
«А в нашем звене воробьиных штук десять».
Тут с дачи пришла толстощекая Ната,
С таинственным видом, с улыбкой довольной,
Макушку свою показала ребятам:
«Лишай... Не заразный...
Нисколько не больно!»
«Лишай!» — «Покажи!» — «Очень маленький!»
Все же
Какие-то корочки есть на макушке.
Сегодня на сладкое Маша пирожных
Две порции даст этой Натке-толстушке,
Пахучею мазью макушку помажет,
Захватит кататься на велосипеде,
И сказку по выбору Натке расскажет,
И на ночь закутает клетчатым пледом.
Удался денек. Не придумаешь хуже:
Одни на байдарках. Другие в жарище.
Одним вот лишай, на макушке к тому же,
Другим хоть на пятку бы маленький прыщик!
Но вот они, Маша и Митя. Вприпрыжку
С пригорка бегут по песчаной дороге.
И Маша, как Митя, совсем как мальчишка,
В трусах, в безрукавке и в шляпе широкой.
«Ну, что вы раскисли? На солнышке жарко?
Усядемся здесь вот под дубом под этим.
Ну, пусть себе едут они на байдарках,
На будущий год мы и сами поедем.
С грибами покончим и планер раскрасим,
Лужайку расчистим вон там, за кустами,
А к вечеру сделаем авиапраздник,
Запустим и планер, и змеев с хвостами».

Все стихло. Темно. Под окошками говор:
«Маруся, а в клубе сегодня картины».
«А как ребятишки?» — «Здесь няня и повар».
«Проснутся, заплачут. Иди уж один ты».
«Один не пойду. Мы уйдем осторожно,
Они не заметят, не станут бояться».
«Нет, этот народ обмануть невозможно,

И раз обещали, так надо держаться.
Давай посидим здесь». Луна выплывает,
И лунные блики дробятся на речке,
Мерцают и блещут, скользят и ныряют.
«Похоже на бусы».— «На рыбу».— «На чечки».
«Ты помнишь?» — «Еще бы!»
«Как скудно все было».
«Каким стал большим и нарядным поселок».
«Смотри, видно, щука сюда заходила,
Большие круги распустила за молом».

Под лучами в стеклянном кристалле
Семицветные краски горят.
Может, Машу мою воспитали
Голоса и глаза октябрят?

«Чеки-чеки-чечки,
Чеки-чеки-чечки
На моем крылечке».

ЛЮБОВЬ

(Поэма)

I

Я слов замешиваю глину,
Чтоб все слепить, чем дорожу.
Пусть только профиль исполина
Невнятно я отображу,
Пусть все не то и не такое
И неумело я леплю,
Но так прекрасно то живое,
Что я так преданно люблю,
Что даже в сходстве отдаленном
Блеснут волшебные черты...
И, красотой их удивленный,
Вдруг облик свой узнаешь ты.

Есть час глубины у истока ночей,
Когда тишина хороша...
Ты спишь на моем обнаженном плече,
Младенчески мерно дыша.
Плавучая полночь покоя полна,
Открыты все подступы к сну,
И рыбы к поверхности с гулкого дна
Всплывают ловить тишину.
И замер в безмолвии строй тополей,
В бесплотном сиянье луны.
И звезды спускаются ближе к земле
В часы вот такой тишины.
Но вслушайся в тьму...
Металлический скрип...
Под теплыми гнездами птиц.
Железом ощерились в ночь пустыри
У наших и вражьих границ.
В лесах пулеметы по-птичьи чутки.
И пушки не дремлют в полях,
И горбятся доты у сонной реки,
И воздух железом пропах.

А сосны охвачены миром и сном.
Кустам шевельнуться невмочь...
Как странно тиха за открытым окном,
Тиха орудийная ночь!..
Ты спишь... И на танковой мятой броне
Нам спать приходилось не раз.
Но ты не спокоен. Ты шепчешь во сне:
«Фундамент. Железный каркас...»
Тебя обступают дневные дела,
Ты в вихре начал и побед.
А ночь оседает по сизым углам.
В окно заплывает рассвет...

II

Круг звонких встреч, немых разлук
Сплошная ворожба!
Разлук и встреч чудесный круг
Сплела для нас судьба.
Рассвет плывет, как молоко,
И ветер свеж с утра.
Твержу тебе: «Недалеко!
Лишь дней на шесть... Пора!
До выходного, дорогой,
Дотянем как-нибудь.
Теперь не год, не два, не в бой
И не в далекий путь!»
Я у окна. Я с высоты
Смотрю, как ты идешь,
Как жадно, полной грудью ты
Рассветный воздух пьешь.
Какой ты легкий на ходу,
Веселый и большой,
Как все вокруг с тобой в ладу,
Как дружит жизнь с тобой!
С морей и суши торопясь,
Ветра к тебе летят.
Все переулки, расступясь,
Принять тебя хотят.
Все окна настежь и дома
Зовут и просят: «К нам!»
Дорога быстрая сама
Бежит к твоим ногам.
Улыбка. Рук и кепки взлет.
И улица пуста.
Тебя уводит поворот,
Увозят поезда.

А я одна и не одна.
Стакан. Письмо. Портрет.
Тобою комната полна —
Разлуки словно нет.
О этот розовый налет!
Заря. Встаю, встаю!
Уже на улице народ,
Уже гудки поют.
Я вышла. Яблоко в руке.
Сандальи так легки!
На влажном утреннем песке
Следы не глубоки.
Под легким платьем ветер льнет,
И на ногах роса.
И кто-то там вдали поет,
Поставив паруса.
Летит напев. Певец далек.
Заря встает со дна.
Качает солнца поплавок
Бегучая волна.
Все встречи. Шуток, слов каскад.
А в мыслях: «Нынче срок
Культуру ставить в термостат
И сеять стрептококк».
Но между мыслей, шуток, встреч
Все смуглая рука,
Открытый взгляд, раскачка плеч,
Походка моряка.
Чутьем неведомым, шестым
Слежу я каждый миг:
Вот из вагона вышел ты,
Вот цех вдали возник.
Идешь. Чем ближе, тем скорей.
Соскучился, да как!
Вот сторож дремлет у дверей.
Что ты бежишь, чудак?!
И я пришла. Спокойный дом.
Колонны и паркет.
В прихожей сумрак. Пахнет льдом.
Из комнат льется свет.
Халат хрустит от чистоты.
Прозрачность. Холодок.
Здесь мир отточенной мечты.
Здесь даже ветерок
Учтен. Проверен. Здесь в тиши,
За этим вот столом,
Над тайным миром ворожит
Волшебное стекло.

Деленье клеток — тайна тайн.
Оно исток всему.
Нет, не просить природу «дай»,
Я все сама возьму.
Какая сила знак дала,
Какая хочет власть,
Чтоб назло смерти жизнь цвела,
Дробясь, двоясь, лучась?
Как этой силой овладеть?
Как этот знак открыть?
Искать, исследовать, хотеть,
А это значит — жить.
Такой уж дали мы зарок
И так нам суждено:
У рек всегда искать исток,
У океанов — дно.
Над микроскопом день-деньской,
Не отойти, не встать...
И вдруг за далью городской
Встает, встает опять
Сплетенье легких арок, рам
И кружево лесов.
И ругань с шуткой пополам
На сотни голосов.
Крик «Берегись!», лебедок взлет,
Железа скрип и лязг,
И тот напев, что сам идет:
«Эй, взяли! Е-ще раз!»
Здесь в шуме ты. Лишь знаю я
И этот взмах руки,
И складку синей от бритья
Обветренной щеки.
Твоих насмешек соль и яд,
Лукавство и азарт,
И дружбу, что, построив в ряд,
Ведет друзей на старт.
Из этой дружбы мы росли.
В ней встретились в упор —
Борьба и помощь, в ней слились
И нежность и задор.
Ты ею высвечен до дна.
Как я тебя люблю!..
Но клетка делится. Она
Двугорба, как верблюд...
А время плещет, как прибой.
Заря зовет зарю.
Вдруг телефон звонит. С тобой
Я снова говорю.

«Родная, ты? Ты занята?
Я оторвал от дел?
Я занят сам, но, как всегда,
Соскучиться успел.
Как опыт твой? Как ты живешь?
Отлично?.. Так и знал.
А у меня как цех хорош,
Каким он чудом стал.
Взглянуть приедешь в выходной?
Я третий день подряд
Брожу по цеху, как хмельной,—
Не знаю, рад — не рад?
Судьба строителей, ей-ей,
Трагична. Посуди:
Ты строишь, ты не спишь ночей,
А выстроил — уйди!
Бывай здоров! Ты стал чужим!
Что Гамлет! Что Шекспир!
Да нам вот эти этажи
Родней родных квартир!
Шучу! А знаешь, в корпусах
По вечерам огни.
Поют ребята на лесах.
Как праздник эти дни.
А я смешон. Тебя ищу
По всем углам. Все мысль,
Что ты стоишь плечом к плечу,
Что только оглянись...
Все поздравляют, но одну
Мне надо в час такой!..»
Забывшись, к трубке крепко льну
Горячею щекой.
А дни идут, и в каждом дне
Весь мир как будто вновь,
Как в первый раз. О, жизнь вдвойне,
О, жизнь встократ — любовь!
Круг звонких встреч, немых разлук
Сплошная ворожба!
Разлук и встреч чудесный круг
Сплела для нас судьба.

III

Любовь начинают смятенье, да случай,
Да шепот влюбленный в аллее из кленов.
А мы начинали усмешкой колючей,
Да фразой холодной, да шуткой каленой.

Да той прямотой обнаженной и смелой,
Да тем пониманием с первого взгляда,
Да той откровенностью сердца и тела,
Которым неведом ни страх, ни пощада.

К нам первая нежность пришла с запозданьем.
Покорны порывам, послушны желаньям,
Друг друга мы полно и точно узнали.
Узнали совсем не по ласковым фразам,
Узнали совсем не по чувствам туманным,
Узнали, как плес узнают капитаны,
Узнали, как дно узнают водолазы.

Я часто в полночном раздумье тревожном,
Воюя с подушкой, твердила с досадой:
«Упрямый. Скупой. Ядовитый. Дотошный.
Вреднючий... Но мне ведь такого и надо!
Хороший. Умелый. С крутыми плечами.
Открытый. Хитрющий. Чудесный. Ужасный!
Зачем о тебе вспоминаю ночами,
А днями ругаюсь с тобой ежечасно?
Дал бог мне характер... Самой нестерпимо...
Не то что других, и меня-то замучил».
И вдруг ты назвал меня самой любимой.
И вдруг ты назвал меня лучшей из лучших.
И так посмотрел, словно вымолвил: «Весь я
В ладони твои предаюсь покоренный».
И поднял меня высоко в поднебесье.
Понес меня так, как проносят знамена.
И душу твою я увидела ясно.
И я замерла как врасплох, как с разбега,
И я поразилась тому, как прекрасна
Открытая настежь душа человека.
Концы и начала смешали беспечно.
Так счастье приходит, когда мы не чаем,
Начав на минутку, кончаем навечно,
Начав с пересмешки, любовью кончаем.

IV

И когда вдруг нахлынула нежность,
Тебе показалось, что я,
Словно счастье твое, неизбежна
И ясна, словно юность твоя.
Без сучка, без задоринки малой,
С легким шагом и верной рукой...
...Я такой никогда не бывала...

Дорогой мой! Я стану такой!
По-ребячески стал ты покорным,
И не вел моим прихотям счет,
И берег меня так же упорно,
Как полярник огонь бережет.
Называл меня самой хорошей.
Самой сильной. Ты выдумал. Пусть!
Но любую тяжелую ношу
До конца донести я клянусь.
Я начну все дороги сначала.
Я найду всем запорам ключи.
Ты хотел, чтоб далеко звучало
Мое имя,— оно прозвучит!
Будет все, как ты думал и чаял,
Как могу я тебя обмануть?
Ты поверил, и необычаен
Будет мой неугаданный путь.
Только дай мне без меры и счета
Эту веру в меня и в мечту,
Как разгон для отрыва и взлета,
Как трамплин для прыжка в высоту!
И за эту за щедрую веру,
За весеннюю радость в крови,
Дам я полную, полную меру
Завершений, исканий, любви.

V

Не тайком и не украдкой
Полюбила с давних пор
За рисковую повадку,
За каленый разговор.
Все в тебе взяла на веру —
Чем хорош и нехорош,
Что ни в чем не знаешь меры,
Середин не признаешь.
Если любишь — так навечно,
Ненавидишь — сгоряча,
Коль обнимешь — так сердечно,
Коль ударишь — так сплеча.
Слово дашь — так верен слову,
Бьешь врага — так наповал.
Дело делаешь рисково:
«Либо пан, либо пропал».
Что оглядчив, да находчив,
Да на выдумки мастак.
Хоть горячий — да отходчив,

Хоть простой — да не простак.
И о ком тебе ни скажешь,
И к кому ни подведешь —
На лугу всех перепляшешь,
На заводе — обойдешь.
Помню ночью серебристой
На притоптанном лугу
Заводского гармониста
В разнаряженном кругу.
Чуть прищуривши ресницы,
И знаком и незнаком,
То взлетал ты, словно птица,
То вертелся ты волчком.
С перебором, да с пригорка,
Да на лунную межу,
Да с уральской приговоркой:
«Эх, собой не дорожу!
Дорожу своей винтовкой,
Дорожу родной страной,
Да фабричною сноровкой,
Да повадкой разбитной!
Дорожу зеленым садом,
Дорожу тобою я,
Моя люба, моя лада,
Привередушка моя!
Для того, кем дорожу,
Ничего я не щажу!
Не жалею ничего,
Даже сердца своего!
Чаще! Чище!
Где таких сыщешь?
Взяли позабористей! Взяли враз!
Где такие водятся, как у нас?!»
...Вышел слепок мой неточным...
В длинном ряде дел и дней
Да в беседах полуночных
Ты до дна открылся мне.
Открывался ты мне новый,
Не угаданный вперед.
За повадкою рисковой —
Безошибочный расчет.
За старинной прибауткой —
Маяковского строфа.
За случайной, легкой шуткой —
Полновесные слова.
Да за песенным раздольем,
Тем, что рвется из груди,—
Твердокаменная воля,

Предрешенные пути.
Я смотрела виновато —
Не узнала с первых раз —
За прищуром узковатым
Дальновидных, зорких глаз.

VI

Обовьюсь, повьюсь, словно хмель прильну,
Все запутаю, закружу.
От весны к весне протяну весну,
Все пути зиме закажу!
Ведь не в первый раз, в неурочный час,
Не смыкая глаз, жду, грущу,
Вкруг тебя не раз, словно хмель, вилась.
Как дождусь, повьюсь, не пущу.
Заплетусь, храня от воды-огня,
Всю беду твою отведу,
Чтоб не жить тебе без меня и дня,
Как написано на роду!
По моей тропе чтоб тебе идти.
Ушибешься — вмиг залечу.
Пошатнешься ты — не прощу, не жди.
Все слова скажу, не смолчу.
Будешь ты меня видеть всякою,
Что «со всячинкой» — не таюсь.
Не гневись, когда оцарапаю.
Улыбнись, когда уколюсь.
Может, час-другой и помучимся,
Может, раз-другой поклянем.
Посулю одно — не соскучимся,
Хоть сто лет вдвоем проживем.
И плестись плетнем не поленится
Возле сада вьюн, зелен хмель.
И с невестою, с Повесенницей,
Выйдет с песнями в поле Лель.

VII

Говорят, что я неверная,
Что недобрая порой,
Что была кому-то скверною,
Привередливой женой.

Я не знаю, так ли, было ли,
И плохой ли я была,

Но любила, не любила ли —
Никому не солгала.

Кто и что там ни рассказывай,
Я в судьбе своей вольна,
Для тебя, для сероглазого
По заказу создана.

Я тебя искала издавна,
Отыскала и с тобой
Перестала быть капризною,
Стала тихой и простой.

Не захочешь — век не брошу я,
Век не вспомню о другом.
И плохая, и хорошая,
С пересмешкой, с коготком.

С разговором тихим к вечеру,
С детской песней поутру,
Даже боль приму доверчиво
Из твоих из милых рук.

Не приветлива, не молода
И давно не хороша,
Жить хочу, спокойным холодом,
Ясной мыслью дорожа.

Надо мною друг подшучивал,
Что таких и без улик
В старину когда-то мучили,
На кострах когда-то жгли.

Самый лучший, самый родный мой,
Тот, что крепче всех любил,
Про ведьмячью приворотную,
Про судьбу мне говорил.

VIII

Все в любви моей неотделимо.
Шумных улиц разгон и разлив,
Знобкий взгляд твой, неопалимый
Синий купол над купами ив.

И уют полуночной квартиры,
И припевы ночного дождя.
И летящие в мир по эфиру
Сокровенные думы вождя.

Неразрывно в душе моей слиты,
Слиты так, что границ не найти,
Мавзолея священные плиты
И рубцы у тебя на груди.

И не там ли, скажи, не у той ли,
Словно врезанной в сердце, стены
Началась твоя вера и воля
Вместе с верой и волей страны?

И скажи, не у гор ли Урала,
Не у шахт ли Донбасса берет
Твоя смелость исток и начало,
Твоя сила залог и оплот?

И, быть может, размах пятилеток
Отражен в этом взгляде бровей,
В этой поступи легкой и в этой
Полновластной повадке твоей?

Я люблю в тебе этот незримый,
Всей страною оставленный след.
Я люблю в тебе все, что любимо
Мной на милой советской земле.

Ты не русский иль русский по крови —
Мне не важен анкетный ответ.
Мне косые монгольские брови
Не помеха в любви и родстве.

Но проси не проси у тебя я,
Все равно ты не сможешь сказать,
Как сложилась в тебе вот такая,
Дорогая мне русская стать.

Не расскажешь, проси не проси я,
Как случилось и как началось,
Что бессмертное слово «Россия»
В наши смертные души вплелось.

1943—1945

* * *

Для вас, закрывших Родину телами,
Смотревших в смерть, не опуская глаз,
Правдивыми, горячими словами
Учусь писать. Хочу писать для вас.

В час отступленья, боли и печали
Ряды редели, падали друзья.
Погибшие мне голос завещали,
Чтоб с вами им заговорила я.

ПОТОМКУ

Ты прочтешь пожелтевшие строки
В тихий час у электрокамина.
Не жалей нас, потомок далекий,
За суровую нашу судьбину.

Не жалей нас за все упущенья:
Полземли под картечью изъездя,
Знали мы вдохновение мщенья
И высокую радость возмездья.

ПЕРЕД АТАКОЙ

Забирай, моя трехрядная утешная,
Разговоры с перебором говори!
Ночка темная, да вьюжная, да снежная
Притаилась у затворенной двери.
Вьюга окна пеленою занавесила.
Теснота, и теплота, и полумрак.
Будет дело, будет лихо, будет весело,
Будет нынче, будет дело до утра.
Жутковато нам немного и не терпится.
Наши лица освещает камелек.
И плясун посередине вьется-вертится,
С переступом ходит с пятки на носок.
Нынче фрицам будет так, не поздоровится.
Ровно в три, да по кремлевским по часам,
Просигналят нам: «К атаке приготовиться!»
И пойдем мы по назначенным местам.
И за каждым станут строем те, чьи косточки
Под снегами средь могил и без могил,
Кто на каждом захудалом перекресточке
Каплю крови или пота уронил.
Все в атаку мы выходим командармами.
Наше время, наша сила, наша власть.
За горючими дымами, за пожарами
Росным светом заряница занялась.

О ДВУХ БРАТЬЯХ

Я сперва научилась плакать,
А потом разучилась снова.
В первый раз в осеннюю слякоть
Мне сказали страшное слово.

Мне сказали: «Убит, не встанет,
Не пойдет по тропе навстречу».
Я тогда изошла слезами.
Я кричала. Мне было легче.

А когда у Днепра черешни
Зацвели и поднялись травы,
Мне сказали: «Твой брат повешен
По ту сторону переправы».

И друзья окружили кругом,
Встали возле меня стеною,
Но казался мне лучшим другом
Автомат за моей спиною.

Словно после ночей бессонных,
Веки сделались жгуче сухи.
Бил копытом и ржал смятенный
Рослый конь его остроухий.

О ЖЕНЩИНЕ

Я, слава богу, женщиной родилась,
Мне злой азарт и чужд, и не знаком.
Бокс не терплю. Не похваляюсь силой.
Не разрешаю споров кулаком.

Я женскую заслугу вижу в этом,
Высокое призвание мое.
Мы нежности и жертвы эстафету
Из плоти в плоть в веках передаем.

Вино, табак и прочие изъяны...
О, право же, совсем не без причин
Одной ступенью ближе к обезьянам,
Как правило, считала я мужчин.

Пусть молодость мне будет оправданьем,
И многие разумные дела,
И то, что часто терпеливой няней
Больших детей невольно я была.

Я вот теперь учусь у них прилежно
Вести в атаку, в ураган огня.
Бить. Не прощать. Учусь тому, что прежде,
Казалось мне, унизило б меня.

ЛЕТЧИК

Он в бой вылетает с мотором вдвоем,
И рвутся с зениток огни.
Качается мир под широким крылом
И хочет укрыться под ним.
И может случиться, что пламя войдет
В мотор самолета и в грудь,
Окончит пилот свой последний полет,
Последний стремительный путь.
И вспомнив, как с лёта сражают врага,
Прощаясь, он скажет одно:
«Прекраснее счастья, чем это, пока
Земному познать не дано».

* * *

Мы перешли тяжелый перевал.
Передохнем, товарищ мой, немного
В тени высоких перейденных скал
И снова в путь. И далека дорога.

Пускай из ран еще сочится кровь,
Но соловей в узорной тени сада
Для нас поет бессмертную любовь,
И по ночам для нас звенят цикады.

Пускай рубцы не сгладятся вовек —
Они за нами утвердили право
На гордое званье «Человек»,
Они — печать неугасимой славы.

На судьбы всех принцесс и королей
Не сменим мы высокой доли нашей.
Любовь и бой. Металл и соловей.
Мы знали всё. Мы пили полной чашей.

Мы люди дальних каменных дорог.
Чем круче склон, тем сердцу веселее!
Пусть говорят: путь труден и далек.
Я улыбнусь: мы всё преодолеем!

* * *

Порой твердят, тоскуя о потере:
«Как мало жил! Как рано он исчез!»
Не ситец жизнь. Ее длиной не мерят,
Ее берут, как золото — на вес.

* * *

Друг, прости этих строк торопливых тоску:
Я иначе писать не могу.
Это хриплым и трудным дыханьем войны
Были песни мои рождены.
Это радость и боль через край пролились,
И слова, не догнавшие мысль,
Опустев, позабыты на смятом листке,
Словно гильзы на взрытом песке.

ДЕВУШКА

Прощальных писем дописали строки,
Друг другу повторили адреса...
Изрытым снегом, топким и глубоким,
Пошли в цепи, поверив в чудеса.

И шли живой передвижной мишенью
Для вражеских, для скрытых батарей,
И хоть бы куст укрыл их веткой, тенью
От амбразур за полем на горе.

И началось. Над ними воздух треснул.
Пошло, пошло строчить и грохотать.
Шла девушка с повязкой краснокрестной
В цепи, в ряду, стараясь не отстать.

Забавная девчурка-коротышка,
В большой дубленке, в каске со звездой,
Казалась просто ряженым мальчишкой,
Захваченным воинственной игрой.

Но падали... И к раненым спешила.
Перевязав, ободрив, дав попить,
Сурово санитаров торопила
И, запыхавшись, снова шла в цепи.

Редела цепь. А в поле стало тесно.
Хлестал огонь, как хлещет ураган.
«Зачем в цепи? Здесь медикам не место!
Иди назад»,—сказал ей лейтенант.

Она ему негромко отвечала,
Смотря вперед, не глянув на него:
«Мы на виду. А нас в цепи так мало.
Пусть будет больше хоть на одного».

ВОЛГА

Ты огорченным был и колким,
Когда, поднявшись на откос,
С тобой мы спорили о Волге
Полушутя, полувсерьез.

Она волной не серебрилась,
Как реки милых сердцу гор,
Неудержимо не стремилась
Ветрам и камням вперекор,

Прыжком отважным не бросалась
С обрыва вдруг на камни вниз,
Разбившись, вновь не воскресала
Из пены, ропота и брызг.

Все было чуждо, все немило,
На сердце падала тоска,
И я капризно говорила:
«Плохая, скучная река,

Едва волной она шелохнет —
И не волна у ней, а муть.
И если вся она посохнет,
Не пожалею я ничуть.

Пусть сохнет. Мне ее не надо.
И берега ее в пыли,
И если есть на ней отрада,
Так это только Жигули».

Так было. Но строкой приказа,
Жестокой воинской судьбой
Ты брошен в бой у рек Кавказа,
Я у реки, тебе родной.

И у пылающих причалов,
В дыму, в пожарах и пальбе
Такой родной мне Волга стала,
Как не была вовек тебе.

Нет. Вместе с ней не умирая,
Ты ста смертей не перенес.
Мы с ней горели, не сгорая,
Когда взорвался нефтевоз.

Казалось, волны загорались,
Огонь в воде не угасал,
А за причалом, за горами
Спускался вражеский десант.

Настанет день — с тобой вдвоем мы
Пойдем вдоль волжских берегов,
И я скажу: «Вот тем подъемом
Мы наступали на врагов.

Той тропкой раненых носили,
Воронка за холмом была.
Мы с этой липкой породнились,—
Ее я кровью полила».

Пойдем от края и до края
По милым волжским берегам,
И я скажу: «Моя родная,
Моя прекрасная река».

СУХОВЕЙ

Так много дней. Так много верст и дней.
Кричи, и плачь, и бейся — все равно!
Лишь степь да степь. Полынь да суховей.
Все сожжено. Песком заметено...

Где ты сейчас? Живой иль неживой?
Лететь к тебе, помочь и защитить,
Встать над тобой, как тополь над травой,
Принять удар. Собой тебя закрыть.

Ты там, где смерть. Ты там, где смерть и дым —
Что впереди? Дождусь тебя иль нет?
О, лишь бы знать, что встреча впереди,
Без жалоб я ждала б десятки лет.

О, лишь бы знать!.. На все хватило б сил.
Ты жив, ты будешь жить. О, лишь бы знать!
Тревоги жар мой мозг испепелил.
Знать. Дверь открыть. Увидеть и обнять.

О, лишь бы знать! Тревога все сильней.
Горька полынь, и кровь моя горька.
Все степь да степь. Жестокий суховей.
Полынь. Песок. Мертвящая тоска.

ЭШЕЛОНЫ

Семафоры. Станции. Перроны.
Завыванье одержимых вьюг.
Уходили, уходили эшелоны.
Шел на запад эшелон и шел на юг.

У вагона парень с девушкой прощались.
Все стояли на метели, на пути.
Все стояли, руки жали да молчали,
Глаз от глаз не в силах отвести.

Как по сердцу — медных два удара.
Парень вздрогнул и сказал с трудом:
«Ты ответь, какой тебе подарок
Привезти из дальних городов?»

И подруга отвечала просто:
«Привези подарок дорогой,
Привези глоток воды днепровской,
Горсть земли житомирской родной.

А за это для тебя, родимый,
Привезти тебе даю зарок
С берегов безоблачного Крыма,
С Черна моря бел-горюч песок...»

...И смотрела вслед, не чуя стужи,
Не рыдала, не согнула стан,
Портупею затянула туже,
В кобуре нащупала наган.

Села в поезд. В мерном колыханье
Так спокойно речь вела с бойцом.
Все покорно было ей — дыханье,
Мысли, голос, руки и лицо.

Только очи, очи провинились.
Темнотою скрыты ото всех,
Скупо слезы едкие катились
По лицу, застывшему, как снег.

Семафоры. Станции. Перроны.
Завыванье одержимых вьюг.
Уходили, уходили эшелоны.
Шел на запад эшелон и шел на юг.

* * *

Все те же здесь бревенчатые стены,
Сонливый кот, сверчок и тишина,
Все та же ночь, и звезды неизменны,
Лишь я не та. Я здесь теперь одна.

А сердце ждет. А сердце хочет верить,
Что ты, как прежде, за окном мелькнешь,
Что ты откроешь низенькие двери
И, наклонившись, в комнату войдешь,

Что ты, как прежде, будешь пахнуть лесом,
Как прежде, нежен и нетерпелив,
Что станет вдруг так празднично и тесно,
Как будто елку в комнату внесли.

Так сердце ждет. Какие есть приметы?
Как эта ночь пустынна и длинна!
Всю ночь не сплю. Гадаю. Жду ответа.
Теней и звезд читаю письмена.

Но как узнать — вернется ли былое?
Не нарушима лунная печать.
И лунный луч забытою струною
Всю ночь дрожит, не в силах зазвучать.

О ЛЮБВИ И НЕНАВИСТИ

Я помню, мне бывало одиноко,
Когда ты вовремя не приходил с работы:
Росла во мне нелепая тревога,
Владели мною страхи и заботы.

Мне думалось: «Так много бед бывает».
Казалось мне, что крики раздаются,
Что на тебя автобусы, трамваи
Со всех сторон стремительно несутся;
Что если ты проходишь тротуаром,
Где все другие ходят невредимы,
То кирпичи со всех построек старых
Летят тебе на голову, любимый.
И, глупая, накинув шаль на плечи,
Я торопливо шла тебе навстречу.

Да, было так. Но камнями ложатся
Теперь на сердце не часы, а годы.
Все жду тебя. Все не могу дождаться
Тебя с войны. С войны, а не с работы.
И на окоп твой танки, не трамваи,
Идут не мимо, точно по маршруту,
И тонны бомб (не кирпичи!) взрывают
Вокруг тебя камней и балок груду.

А я живу. Живу. Не умираю.
Я двигаюсь. Шучу. Я улыбаюсь...
Одна любовь в разлуке иссушила б.
Ты для меня что вешний дождь для сада.

Но в сердце есть теперь другая сила:
В нем ненависть живет с любовью рядом —
К ним, к тем скотам в обличье человека.
Такая в сердце ненависть к злодеям,
Что с ней смогу прожить еще два века,
Не утомясь. Не сдавшись. Не слабея.

Смогу прожить без вздоха, без ошибки,
Вся начеку. Тем собранней, чем ближе.
До бледности, до ледяной улыбки,
До сухости в гортани ненавижу!

Вот почему ношу военный китель,
Легко иду в любой поход тяжелый
И тем, кто не умеет ненавидеть,
Порой кажусь до странности веселой.

ДЫМ НА ЗАРЕ

Милый, родной, если бой угас,
Если металл остыл,
В дальней стране в предвечерний час
Что вспоминаешь ты?
Стройку свою на крутой горе,
Гул разбитных голосов,
Легкий, отчетливый на заре
Контур сквозных лесов?
Вечер наш первый, зарю с грозой,
Сумерки без огня?
Или толстушку с большой косой,
Прежнюю, ту, меня?

Пишешь, что памятью этой жив.
Мне же отрады нет.
Встала у черной большой межи,
Дымом застлало свет.
Если на небе игра зари,—
Чудится — у воды
Черная пристань вдали горит,
В розовом свете дым.
Дым над кормой. Продохнуть невмочь:
Пламя в дверях кают.
Рядом кричат, просят помочь,
Пули фанеру шьют,
Друг на руках у меня хрипит,
Судорожно ворот рвет.
Алая кровь на зарю летит,
В небо из горла бьет.
Мне на зарю не смотреть, не смотреть,
Помню одно, одно —
Дым на заре, дым на заре,
Трупы идут на дно.

Я не сильна, не боец, не герой,
Но посмотрю назад:
Встал за спиной сорок второй,
Встал за спиной Сталинград.
Встал за спиной сомкнутый строй
Тех, кто костьми легли.
Женщина я, не боец, не герой,
Но я войду в Берлин.
Так приказали мне жизнь и смерть,
Память моя и кровь.
Дым на заре, дым на заре,
Ненависть, гнев, любовь.

СТЕПЬ

Ты, край, умытый росами,
С высокою травой,
С оплаканной березами
Неяркой синевой.

Я не тебя лелеяла,
Мне с детства мил не ты,
А соснами да елями
Одетые хребты.

Была до гроба преданна
Хребтам, где вечен снег,
Ущельям неизведанным,
Рисковой крутизне.

Там тропами таежными
В чащу идет зверье,
Там все вокруг тревожное,
Все кровное мое.

И вот, сюда заброшена,
Растерянно стою,
Стою в степи некошеной,
Себя не узнаю.

Неверная, влюбленная,
Забывшая обет,
Скажи, моя зеленая,
Твоя я или нет?

Равнинная, покорная,
Как будто не мила,
Скажи, моя просторная,
Ты чем меня взяла?

И рвется песня легкая
И ветру вслед летит,
Далекая, далекая
Дорога впереди...

ВОЛГЕ

Если я, ослабев, затоскую,
Если мысли собьются, темны,
Вспомню Волгу, купель огневую,
Чьей святынею мы крещены,

Прикаспийских степей колыханье,
Жигулей темнокудрый наряд,
В голубом несказанном сиянье
Сталинград, Сталинград, Сталинград.

Если в годах простых и счастливых
Мне чего-то не хватит, как встарь,
Я приду побродить молчаливо
В час заката в приволжских кустах.

СТАЛИНГРАДКА

Отгремевших сражений след —
Шрам на юном лице горит.
Мы спросили: «Сколько вам лет?»
Засмеялась. Сказала: «Три».

Это в сорок втором она,
Не бледнея и не дрожа,
Шла на вражеский танк одна,
Две гранаты в руках держа.

Это было в сорок втором.
Умирая, любя, кляня,
Под сплошной орудийный гром
Родилась она из огня.

* * *

Я из тех, из молчаливых,
Кто не знает, как начать,
Кто, счастлив ли, несчастлив ли,
Не умеет рассказать.

Надо мной слова смеются,
Словно ртуть, когда прольешь,
Разольются, разбегутся,
И никак не соберешь.

Я немою не родилась,
Равнодушно не живу.
Так обидно получилось,
Что гордячкой я слыву.

Не гордячка я, напротив,
Горьким словом не клейми,
По заботе, по работе
Молчаливую пойми.

Хоть вполголоса однажды
Мне суметь бы разделить:
Все, что нужно, все, что важно,
Что устала я хранить.

Я из тех, из молчаливых,
Кто не знает, как начать,
Кто, счастлив ли, несчастлив ли,
Не умеет рассказать.

РЯБИНА

У причалов, между делом,
Пели волгари:
«На снегу, на белом, белом,
Рябина горит».

Тех певцов с землей сровняли
Пули да пурга.
Закидали, заметали
Белые снега.

Белизной поля сверкают,
Тишину храня,
И никто не окликает,
Не зовет меня.

Над сугробами рябина —
Сгусток кровяной...
У пролеска при долине
Мне стоять одной.

* * *

Ты не можешь погибнуть, пока я жива,—
Так с рождения нам суждено.
Для тебя на земле бьются сердца два,
И живешь ты жизнью двойной.

Для того, чтобы ты замолчал навек,
Чтобы ты перестал дышать,
Не одну нужно смерть, нужно смерти две.
Ну, а двум смертям не бывать.

ЗАВЕЩАНИЕ

Я с вами дружила, ребята,
За дружбу мы пили до дна,
Была наша доля богата,
Труда и веселья полна.

Нам были привычны разлуки,
Нам были милы поезда,
Но мы нашу верность друг другу
Хранили везде и всегда.

Когда без меня пировали,
Меня вспоминали друзья,
На скатерть вино проливали,
Бросали бокалы, смеясь.

И тонкие скрипки звенели,
И пел кто-нибудь из ребят,
И мне телеграммы летели:
«Заздравную пьем за тебя».

Сюда не придут телеграммы,
И адрес у нас номерной,
И путь нам на запад не прямо
Проложен упорной войной.

Здесь смерть, как разлука,— обычна,
За делом почти не страшна,
Да всем вам известно отлично
Короткое слово «война».

И если с утра ль, на закате ль
Вам скажут — меня уже нет,
Вино не прольется на скатерть,
Не станут бокалы звенеть.

Из вас ни один не заплачет,
И взор не померкнет ничей.
Меня помяните иначе:
Без слез, без вина, без речей.

Не надо ни скрипок, ни флейты,
Вы белую скатерть снегов
Залейте, залейте, залейте
Проклятою кровью врагов!

И пусть в мою память, ребята,
Поет над врагами шрапнель,
И вы не бокалы — гранаты
Бросайте без промаха в цель.

РЯБИНА-КАЛИНА

Выйду я из ряда да в круг пойду.
Взяли веселей, давай, гармонист!
«Ой, во саду ли, да во саду
Рябина-калина, каленый лист».

Нет каблучков-то, французских нет!
Красноармейские чем плохи?!
«Ой, да у рябины да ярче цвет
От ветров ненастливых, от лихих!»

Догоняй, выстукивай, что есть сил!
Что еще не зажило, заживет!
«В саду ли зелень мороз побил,
Горькую рябинушку не берет!»

Что это за парень за мной идет?
Подоспел без отдыха в самый раз!
Что это за племя да за народ —
Из огня да полымя прямо в пляс?

Где такие водятся, где еще?
Ни бедой, ни горестью не согнешь!
«Ни пургой, ни стужею, ни дождем
Алую, каленую не возьмешь».

Ты играй, рассказывай, говори,
Чтобы знал да чувствовал целый свет!
«Ты гори, рябинушка, ты гори!
Горькая да сладкая — лучше нет!»

ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ

Еду стежкой прежнею,
Хоженою, езженой,
Все на том повадливом коне.
Прошуми, дубрава, мне,
Где та, чернобровая,
Что сюда ходила по весне?

Еду стежкой хоженой,
Вдоль травы некошеной,
Допроситься ветра не могу:
Не скрывай, рассказывай,
Где та ясноглазая,
Что траву косила на лугу?

Ты скажи мне, рожь моя,
Где же та хорошая
Девушка, что сеяла зерно?
Ты верни, найди мою
Девушку любимую,
Что в глаза смотрела мне весной.

Нивами, покосами
Кличу русокосую:
Отзовись мне, лада, не таись!
Славно поработали.
Много силы отдали,
Выйди, на работу подивись.

В поле рожь тяжелая
Жнею ждет веселую,
Сладкий груз в садах деревья гнет.
Ждет тебя, желанная,
Сердце неустанное,
Сердце неустанное мое.

ПОРВАННОЕ ПИСЬМО

Ты приди, приди, родимая,
Беззаветная моя,
В светлый дом свой уведи меня,
В беспечальные края.

Почернела не от раны я,
Сушит черная тоска
Да вот эти, в клочья рваные,
Фронтовые облака.

Да пустынные пожарища
При заваленных путях,
Да прославленных товарищей
Освятивший землю прах.

И хоть раз бы разрыдаться мне.
Слез не выжать на глаза.
Мне б уснуть. Они приснятся мне.
Мне б забыть. Забыть нельзя.

Где же ты, родная? Что же ты?
Нет, грусти иль не грусти,
Тихой лаской не поможешь мне,
И нельзя меня спасти.

Ни лекарствами, ни травами,
Ни врачам, ни колдунам.
Хоть в разведку нас отправил бы
Бестолковый лейтенант.

Хоть скорей в атаку снова бы
Рота славная пошла,
На лихие, на рисковые,
На удалые дела.

Вот и кончила письмо тебе
И ровнее я дышу.
Я письмо свое порву теперь,
Все иначе напишу.

ВЕЧЕР НА РОДИНЕ

Стада возвращаются. Пыль золотится.
Коровы протяжно и гулко мычат.
На озеро розовый отблеск ложится,
И утка на берег выводит утят.

Заря догорела, и пеплом заката
Осыпались сумерки. Стало свежей.
Коней к водопою погнали ребята,
И едут колхозники с дальних полей.

И смуглый мальчишка с серебряным горном
Под спущенным флагом у клумбы стоит,
Задрав головенку с вихром непокорным,
«Спать, спать, по палаткам»,—певуче горнит.

Цеха торопливо приводят в порядок—
Огни зажжены, и машины блестят.
Приходят придиры с хозяйской ухваткой—
Вечерняя смена встает на места.

А в парках и клубах и шумно и тесно.
Толпа успокоена третьим звонком.
Идет на эстраду работница с Пресни,
Путиловский слесарь проводит смычком.

В ночном ребятишки костры разжигают.
Гармонь заливается в каждом селе,
И пляшут девчата, и песни взлетают,
И робкие звезды дивятся земле.

Но гаснут огни, и становится тише.
Сгущаются тени, спускаются сны,
И шелест деревьев отчетливей слышен,
И явственней плеск набежавшей волны.

Все спят. Только он еще ляжет не скоро,
Парнишка с ученою книгой в руках,

Парнишка с упорным и трепетным взором,
Почти никому не известный пока.

И в звездном Кремле до утра не задремлют.
Здесь главная вахта. Здесь люди не спят.
Здесь люди хранят необъятную землю —
Тебя, моя Родина, ласка моя.

Когда б я могла, я б тебя укачала,
Как мать свою радость под вечер качает,
Как лодку качает волна у причала.
Усни, отдохни. Вот и я засыпаю.

ДАЙ РУКУ, МАМА...

Я так люблю твой облик тихий,
Спокойных глаз вечерний свет,
Твою светелку в травах диких,
В чебрец-траве, в медун-траве,
Твое упорство и терпенье,
Твоих сказаний сон и быль
И рук твоих прикосновенье,
Сухих и легких, как ковыль.

Я стала взрослая, лихая,
Могу взрывать и убивать,
Но в час, когда бои стихают,
Тебя мне хочется позвать.
Поля, не взорванные боем,
Тогда на ум приходят мне
И небо, небо голубое
Без «мессершмиттов» в вышине.
И чтоб одна земля слыхала,
Шепчу, сжимаясь от тоски:
— Я так устала, так устала,
Дай руку, мама, помоги.

МАРИЯ

В эту ночь пятерых не стало.
Наша боль была как угроза.
Наше горе в гневе сгорало.
Наши слезы выжгло морозом.

Хоронили их, зарывали
У околицы под крушиной.
Словно каменные, стояли
Семь девчат из моей дружины.

А под вечер умер Сережа.
Не от раны, от пневмонии.
На снегу, за палаткой лежа,
Не стыдясь, рыдала Мария.

— Ты ли это, Мария? Та ли,
Что певала под канонаду?
Очи смертников оживали
Под твоим нетускневшим взглядом...

Подняла лицо молодое:
— Горче горь всех такое горе,
Чтоб бойцу, не увидев боя,
Погибать на войне от хвори.

Как метался он, зубы стиснув,
Как просился: «Пустите в битву!
Одного бы убить фашиста,
Умирать бы не так обидно!»

И погиб не от раны — от хвори.
Был бойцом и не видел боя,
Горче горь всех такое горе...
Небо грянуло надо мною,

Как скосило в логу березы.
В синем взгляде ни тени грусти.
На бегу, позабыв про слезы,
Надевала сумку Маруся.

Трое суток мы были в деле.
Враг отогнан. Палатка. Отдых.
Редкий посвист шальной шрапнели
Да за дверью вой непогоды.

И под дальний гул канонады,
Словно нет ни войны, ни вьюги,
Спят родные мои девчата,
Боевые мои подруги.

СЫНУ

Что же ты, малый, не дремлешь?
Зорю горнист прогорнил.
Месяца легкое стремя
Всадник меж гор уронил.

Скоро, мой маленький, скоро
Мы возвратимся в наш дом,
Непокоренные горы
Встретят за гордым Днепром.

Кто-то войдет к нам однажды
В пыльной одежде бойца.
«Где здесь парнишка мой?» — скажет.
Сразу узнаешь отца.

Сразу раскроешь ладоши,
Сразу захочешь обнять.
Самый родной и хороший —
Как же его не узнать?

Вырастим груши, и сливы,
И виноградник большой.
В год благодатный, счастливый
Примется сад хорошо.

Что же ты, малый, не дремлешь?
Зорю горнист прогорнил.
Месяца легкое стремя
Всадник в горах уронил.

РЕМЕНЬ

И шагали мы от Подольска.
Сутки месим, часок вздремнем.
Он затянут был крепким, скользким,
Но с изнанки рябым ремнем.
    Ливень, слякоть, болота, тучи.
    Стали все от воды-беды,
    Как болотные черти, скрючены,
    Бородаты, злы и худы.
Он один шагал, как посуху,—
Сытый, бритый и балагур,
Словно с девками парень-ухарь
При луне держал караул.
    Днем промозглым и ночью черной
    Всех бодрей и скорее шел.
    «У меня,— твердил,— наговорный,
    Заколдованный ремешок.
Он устаток и сон снимает,
Сыт — командует животу.
С ним я мокну — не промокаю,
Пропадаю — не пропаду».
    А когда пошли в рукопашный
    На немецкие рубежи,
    Удивительно было даже,
    Что он все же остался жив.
Он громил их из автомата,
Бил прикладом и кулаком,
После боя опять ребятам
Парень хвастался ремешком.
    Через год перестал таиться,
    В тихий час сказал обо всем:
    Запороли жену его фрицы
    Этим скользким, тугим ремнем.

Этих фрицев обманной чаркой
Отравила мать поутру,
А сынишка с ремнем-подарком
Вслед отцу пошел по Днепру.
Шустрый парень десятилетний
Добрался до отца, и вот
На ремне рябины-отметины —
Убитых фашистов счет.

РУССКИМ ЖЕНЩИНАМ

С вами, подруги, так много раз
Шла я плечом к плечу.
Слышите?
　　　　　　Я говорю за вас,
Ваши слова ищу.

Бережно сердце в руках держу.
Ваши сердца просты.
Все будет просто, что я скажу,
Сразу сойдясь на «ты».

Степь, да рябина,
　　　　　　　　　да зелен хмель,
Говор ручьев весной.
Мать, да любимый, да колыбель,
Смертный и светлый бой.

Дальних гармошек разгул и грусть.
Крылья больших знамен.
Путь твой великий,
　　　　　　　　　святая Русь,
В дальнюю даль времен.

Что и не так скажу,
　　　　　　　　　может быть,—
Мне не простить нельзя:
Мне ведь недолго и петь
　　　　　　　　　　　и жить,
Я тороплюсь сказать.

Я не хочу, не ищу молвы,
Славы, похвал, услуг.
Лишь бы, прочтя эту
　　　　　　　　　книгу, вы
Тихо сказали:
　　　　　　«друг».

* * *

Ты ждал, а я не полюбила.
Но ты погиб, а я жива.
И так близка твоя могила,
Как будто я твоя вдова.

С любимым, смуглым и веселым,
Опять пою и не грущу,
Но в майских травах, в мирных селах
Твой след исчезнувший ищу.

И если бабочка ворвется
В мое окно из темноты,
Вдруг сердце дрогнет и забьется,
Как будто знак мне подал ты.

Пройдут года, я все забуду,
И незабвенное лицо,
И встречи явленное чудо,
И рук сомкнувшихся кольцо.

И станут реки течь обратно,
И станут песни чужды мне,
Но образ твой, твой подвиг ратный
Приснится мне и в смертном сне.

ДОМА

И в отчем доме дома нет,
И мне, спокойной, нет покоя,
Лазурь и тучи в вышине,
И солнце с ветром надо мною.
И гор подветренный рубеж,
То теневой, то озаренный,
И возмущенье, и мятеж
Листвы, к ветвям приговоренной.
Воздевши камни в облака,
Стоят ослепшие руины.
Ударив гарью, след врага
Ведет за горные стремнины
И горячит, как гончей кровь.
И дому отчему не рада,
Сама не знаю, как я вновь
Пришла к дверям военкомата.
Не кончен бой. О, что со мной?
Надолго ль стала я такой?
Чтоб мне в блиндаж хотеть «домой»,
Чтоб мне в бою искать покоя?

НАСТУПЛЕНИЕ

Мы убитых зарыли в песок.
Стиснув зубы, ушли на Восток.
Поднялась из могильной пыли
Горeванная горечь — полынь.

Мы вернулись назад через год,
Мы промчались на Запад вперед,
И расцвел в это лето нам вслед
На могилах ромашковый цвет.

РАНЕНЫЙ

Лежал он в сиянье белесом и знойном,
Твердил одинокое: «Пить!»
А острые травы росли беспокойно,
И пахли черемухой трупы в степи.
Он полз к ним. Три метра.
Он полз к ним часами,
Цепляясь за петли травы,
Они не казались ему мертвецами,
Тянуло к друзьям боевым.
Дополз. И одно не давало забыться
В степной непонятной тиши,
В глазах их подсохших, в застывших
ресницах
Сновали весь день мураши.

НЕВЕРНУВШЕМУСЯ

I

Уже в низинах гаснет свет.
Отчетлив стал на синеве
Листвы причудливый узор,
И четок очерк грани гор.

И в предвечерней тишине
Все мнится мне, все мнится мне,
Что не заря в истоке дня,
Что свет жестокого огня

Лежит на склонах снеговых,
Что между сосен вековых
Проходит в гари и в чаду
Рожденный жить и побеждать.

Проходит тот, кого я жду,
Кого уже безумье ждать.

II

А сердце все плачет.
                                        О память, палач!
Спасите, гасите костер.
Цыганская песня, старинный лихач,
Гитарный грудной перебор!
И пусть опорочат за это втройне,
Прощенья не стану просить.
Ударьте, ударьте по струнам стройней!
Мне легче под песню грустить!
А ты, моя песня, попутно ответь
Поборникам правил и мер,
Что я не боюсь ни грустить, ни хмелеть,
Ни петь на цыганский манер!

Затем не боюсь я, что ты улетишь,
Цыганский напев, на заре.
И кромка Кремля над карнизами крыш
Сверкнет в снеговом серебре.
Затем не боюсь я, что нас и война
Не в силах была превозмочь.
Так нам ли страшна
За стаканом вина
Цыганская грустная ночь?
Стройней же по струнам!
Струись, всех дразня,
Гортанный гитарный сонет!
Пляши же, подруга!
Пляши для меня!
Пляши для того, кого нет!

А сердце все плачет. О память,
палач!
Спасайте, гасите костер.
Цыганская песня, старинный лихач.
Гитарный грудной перебор.
Пускай поругают за это сильней,
Прощенья не стану просить.
Ударьте, ударьте по струнам стройней,
Мне легче под песню грустить.
И ты, моя песня, попутно ответь
Поборникам правил и мер,
Что я не боюсь ни грустить, ни жалеть,
Ни петь на цыганский манер.
Затем не боюсь я, что ты улетишь,
Цыганский напев, на заре.
И звездная пыль за карнизами крыш
Сверкнет в снеговом серебре.

Стройней же по струнам! Струись же, звеня,
Гитарный гортанный сонет!
Пляши же, подруга, пляши для меня,
Пляши для того, кого нет.

В ДОРОГЕ

На вагонных рессорах качаться
Вперерез незнакомой весне,
То прощаться в пути, то встречаться,
По ночам вспоминать в полусне

И, себя понапрасну волнуя,
Все припомнить, томясь до утра,
От игры в баскетбол у Ануя
До бомбежек в степи у Днепра.

Все припомнить — от школьного ранца,
От ребяческих звонких проказ
До оливковых рук чужестранца,
До нерусских и ласковых фраз.

И, припомнив их жар и бредовость,
Вдруг запутаться в мыслях и вновь
Виноватить себя за суровость
И его упрекать за любовь.

И забыть обо всем, если рано,
Сквозь руины, сквозь утренний сад,
К полустанку, под дробь барабана,
Подойдет пионерский отряд.

И таким дорогим и просторным
Вдруг повеет, как ветром в лицо,
От мальчишки с серебряным горном,
Что мелькнет за тесовым крыльцом.

И в станице невиданной Терской
Вдруг покажется мне, что всегда
Вел меня этот горн пионерский
Через годы, бои, города.

И покажется мне не на шутку,
Где бы я ни спала, но с утра
Снова горн заиграет побудку,
Снова горн прогорнит мне: «Пора!»

Поезд дрогнул. В движенье упорном
Не любовь, не забава, не бой,
Перелив пионерского горна
Пусть уводит меня за собой.

* * *

Залегли дороги дальние
Через горы и леса,
Тополя пирамидальные
При дороге на часах.

Поднимитесь же вершинами
На такую высоту,
Чтобы видеть, как чужбинами
Ненаглядные идут.

А вернутся победители
На родимые поля,
Зазвените, загудите ли,
Словно струны, тополя.

Как пойдет тот звон взволнованный
По хлебам, по ковылю,
Полушалок ненадеванный
На дорогу постелю.

Постою простоволосая,
Повстречаю на юру,
В полушалок ярко-розовый
Я следы их соберу.

Соберу пылинки малые,
Ни одной не уроню,
И на счастье небывалое
Талисман мой сохраню.

* * *

Моя тоска крепчает, как вино.
Мой радостный, с прозрачными глазами,
Давным-давно, уже давным-давно
Я плачу смехом и смеюсь слезами.

Моя тоска крепчает, как вино,
Как терпкий запах пересохших трав,
Что осенью все крепче ночь от ночи.
Моя тоска, на струнах отыграв,
Бьет в барабан и трубами рокочет,

И я иду. Чтобы не падать. Чтоб
Не каменеть, послушна труб приказу,
Я не дождусь. На твой горячий лоб
Прохладных рук не положу ни разу.

ПОДРУГЕ

Ты сухим его не кори,
Злым улыбкам его не верь.
Ты в глаза его посмотри,
Столько раз видавшие смерть.

Под забытый фокстротный шум
Он был вправе тебе сказать:
«Если писем я не пишу,
Значит, я не могу писать».

Он увез с собой твой портрет,
Горсть земли с кабардинских гор.
Я дружила с тобой семь лет,
Я в бою видала его.

Если ты не сможешь понять
То, о чем он сказать не смог,
Я не стану тебе писать
С фронтовых бессрочных дорог.

НА ПОЛЕ БОЯ

Может быть, это случилось в излучинах
Мутного Ганга столетье назад —
Груды из тел, опаленных и скрюченных,
Пара патронов на десять солдат?

Может быть, это в пустынной Аравии
Ветер сухой, как дыханье беды,
Серый песок, перемешанный с гравием,
«Пить» — и ни пригоршни пресной воды.

Может быть, это прибредилось пленнику,
Сжатому душной мадридской тюрьмой?
Это когда-нибудь, с кем-нибудь, где-нибудь,
Только не здесь и совсем не со мной!

Гляну вокруг — синева необъятная,
Вслушаюсь — шепчутся море и степь.
Где же тот камень с кровавыми пятнами?
Камень не тот, да и волны не те.

Нынче уходим в желанное плаванье,
Чайки над морем чисты и легки.
Где-то за отмелью, в солнечной гавани
Стройные песни поют моряки.

Юность кипучая, бурная, пенная.
Солнечным светом полны облака.
Это приходит забвенье священное.
Жизнь вырывается из тупика.

СТРАХ

Что страшнее всего? Не бомбежка.
Окопаешься, в землю уйдешь,
Иль к траве прижимаешься в лежку,
Или к щели упрямо ползешь,

Или метишь, в надежде упорной
Из винтовки стервятника сбить,—
Страх, как ворон, зловещий и черный,
Сердце клювом не станет долбить.

Что страшнее всего? Не атака.
Сердце гулко, как в колокол, бьет.
Ты, дождавшись условного знака,
Вырываешься с криком: «Вперед!»

И несет тебя вихрь наступленья.
Не считаешь ни пуль, ни минут.
И все страхи твои, все сомненья
На версту от тебя отстают.

Что страшнее всего? Ожиданье,
Если друг твой, любимый твой друг
Не придет с боевого заданья,—
Вот тогда ты узнаешь испуг.

Если друг твой исчезнет бесследно,
Словно дым, словно пар, словно прах,
Вот тогда испытаешь вполне ты
Изнурительный, тягостный страх.

Будешь жить в напряженье тревожном,
Испытаешь бессилье и дрожь,
На атаку пойдешь, на бомбежку
И собой, не колеблясь, рискнешь.

И по самому краю могилы
Будешь рад ты пройти не дыша,
Лишь бы голос знакомый и милый
Прозвучал за стеной блиндажа.

ПОСЛЕ БОЯ

Плывет, плывет под розовой зарей
Такой густой и невысокий дым.
Ночь залегла в ущелье под горой.
За эту ночь ты мог бы стать седым,

Но поседеть ты за ночь не успел,
Сверкают кудри золотом живым.
Спокойный лоб уже похолодел,
Засохла кровь на зелени травы.

Мы для тебя не заплели венков,
Без сил легли в одном ряду с тобой,
Но поднялись шеренги васильков
Над русою кудрявой головой.

Доносит гарь. Еще дымится бой,
Но щебетом наполнились кусты.
Плывет, плывет под розовой зарей
Еще густой голубоватый дым.

* * *

У тебя отлакированный «паккард»
С затененными огнями впереди,
У тебя такой внезапный, дерзкий взгляд
И змея-татуировка на груди.

Говорили мне — ты страшный человек,
С очерствелою, холодною душой,
Мне до судов-пересудов дела нет,
Мне с тобою, с нехорошим, хорошо.

Я хватила от недоли куражу,
Но судьбу я не корю и не хулю.
Нынче с песней на гулянку не хожу,
Нынче добрых да веселых не люблю.

Хорошо мне под разрывы канонад
Вдруг заметить, как тверда твоя рука.
Я люблю с тобой работать сутки в ряд,
Лишь усмешкой обменявшись изредка.

Ты мне дорог за рассеченную бровь,
За души твоей кореженую бронь,
За твою немногословную любовь
Да за твой несогревающий огонь.

О ЛЮБВИ

По болотам, пескам и снегам,
Днем и ночью, с винтовкой вдвоем,
От тебя далека, далека,
Я иду под дождем и огнем.

Мы по воле своей, не силком,
Без повесток, приказов и слов,
Друг от друга ушли далеко,
Далеко от родимых садов.

Никаких мне не нужно богатств,
Чтоб была я довольна собой,
Был бы маленький-маленький сад
Да большая-большая любовь.

Сад наш рос средь ойротских высот,
Жили мы от сражений вдали,
Нам бы жить-поживать без забот,—
Мы с тобою так жить не смогли.

Не смогли бы иначе в глаза
Мы, как прежде, друг другу смотреть,
И завял бы зеленый наш сад,
Стал бы дом наш ветшать и стареть.

Помутился бы солнечный свет
От фальшивых уклончивых глаз.
И прожили бы, может, сто лет,
Но любовь умерла бы тотчас.

И любовью своей дорожа,
Твердо смотрим мы смерти в лицо,
На жестоких стоим рубежах,
Вдаль идем под дождем и свинцом.

МЫ НЕ ПРЕЖНИЕ

Мы привыкли носить портупею,
Брать врага на прицел не спеша,
От жестоких утрат каменея,
Все же помнить, что жизнь хороша.

Но при щебете ласточек ранних,
Тихим утром, наверно со сна,
Миновавшей, далекой и странной
Мне на миг показалась война.

И себе показалась я прежней,
Той девчонкой с каспийских песков,
Что когда-то училась прилежно
И любила ходить босиком.

Что росла так беспечно и просто,
Даже в снах не видала войну.
...Звук картечи, трескучий и острый,
Полоснул и рассек тишину.

И сейчас же и справа и слева
Застрочили ответным огнем,
По дорогам отваги и гнева
Мы опять в наступленье идем.

Мы не прежние. Бьем без осечек,
Тяжек взор наш и точен расчет.
Это песней девчонки беспечной
Начиналась команда «Вперед!».

Это утренним трепетным светом,
Чистотой нефальшивящих глаз
Начался героизм беззаветный,
Беспощадность атак началась.

Мы не прежние. Только в далеком,
В ясном свете немеркнущих лет
Все прожитое стало залогом
Сокрушительных наших побед.

СОРАТНИЦА

Это слово сверкнет среди кучи слов.
Ты не смеешь забыть ее!
Много странников и попутчиков
По дороге в небытие.

Есть любовники, собутыльники,
Побратимы по куражу,
Словно пылью в них — серой былью...
Я хулы тебе не скажу.

Эту память рви и руби, а я
Подзадорю: «Давай вдвойне!»
Но была не просто любимая
И не спутница на войне.

Нет! Любила тебя соратница!
Пусть размыло и выжгло след.
Но не минется, не растратится
Эта память в полете лет.

Будет жизнь как путь без застав и виз,
Но всю жизнь до конца пути
Как пароль, как клятву и как девиз
Будешь имя ее нести!

* * *

Я теперь не нежена, не холена,
И ни в чем не лгу, и не живу.
Кокаином воли обезболена,
Меж людей спокойно прохожу.

Не хочу ни радости, ни новости,
Все ищу холодного огня
Да конца той надоевшей повести,
Что судьба писала про меня.

Изживаю чувства бесполезные,
И лишь сердцем, где-то в тайниках,
Знаешь ты, какая я железная,
Знаю я, как страшно я мягка.

РАЗГОВОР С ЧИТАТЕЛЕМ

Ты, незнакомый читатель мой,
Я с тобою очень доверчива,
Сердце открыв, не умничаю,
Фразами не сорю.

Я ведь тоже «со всячинкой»,
Порой крутенько поперчена,
Но это не самое важное.
Правильно я говорю?

Что же самое важное?
Цель поставить высокую,
Волю иметь железную,
Верить — все поборю!

Жить в сраженье отважною.
К чести быть очень строгою.
Это самое важное.
Правильно я говорю?

Жить с аппетитом. Охотиться
К радостному и грустному,
Плохо тому, кто духом слаб.
Скучен, вял и угрюм.

Если плакать приходится,
Плакать уметь «по-вкусному».
Сердце бедой закаляется.
Правильно я говорю?

В жизни мелочей тысячи.
В них ошибаться случается.
Сбросить со счета и высмеять —
Так я на них смотрю.

Только скупые и щие
В жизни грошами считаются,
Нам не к лицу копейничать.
Правильно я говорю?

Наша дружба получится.
Наша беседа спорится.
Если за дело выбранишь —
За слово не корю!

Можно со мной измучиться,
Можно со мной поссориться,
Только нельзя соскучиться.
Правильно я говорю?

* * *

Молчаливым нет пути иного,
И к иному сердца не неволь.
Насмерть жжет несказанное слово,
Захлестнет неизлитая боль.

Или так уж суждено поэтам,
Тем, кто носит тайную печать,
Промелькнуть мгновенною кометой
И, умолкнув, громче зазвучать.

И со мною будет не иначе,
Кто-то слишком поздно все поймет,
Над посмертной песнею заплачет
И кого-то в чем-то упрекнет.

РАЗГОВОР С ТОСКОЙ

У других тоска бывает слезная
И поет, как тенор над рекой.
У меня — дотошная и грозная,
У меня — как барабанный бой.
У других гитарная, каминная.
У меня — палач и прокурор.

«Чем убит?»
　　　　　　«Убит фашистской миною».
И опять в застенке разговор.
«Чем убит?»
　　　　　　«Убит он минометами».
«Чем убит?»
　　　　　　«Железом и огнем,
Крупповскими злобными заводами.
Дай мне жить! Не спрашивай о нем!»

«Чем убит?»
　　　　　　«Дорогами шоссейными,
Лавой стали, приводящей в дрожь».
«Чем убит?»
　　　　　　«Подземными бассейнами,
Руром, Лотарингией».
　　　　　　　　　　　　«Ты лжешь!

Ты видала, ты сама, не кто-нибудь,
Что, когда он к Харькову шагал,
За него поднялись домны до неба
И металл поднялся на металл.

Что в стране, железом окольцованной,
На Украйне и в Сибири есть
Черный уголь, как огонь спрессованный,
Как в веках спрессованная месть.

Он не предал. Он сгорал, карающий,
Серым пеплом падал с высоты.
Бессловесных, языка не знающих,
Для чего оклеветала ты?»

«Кем убит?»
«Фашистским минометчиком».
«Кем убит?»
«Историей самой».
«Кем убит?»
«Фашизмом».
Хватит! Кончено!
Ухожу. Тоска идет за мной.

Я иду предгорьями и взгорьями,
По песку, по камням, по траве.
«Ну, а кто же делает историю?»
«Человек».
«А ты не человек?»
«Маленький».
«А почему ты «маленький»?
Может быть, была бы ты «большим»,
Где-то там, за Доном, на прогалинке,
В тальниковой, тинистой глуши,
Там не гнил бы труп необнаруженный,
С карточкой твоею на груди?
Там не гнил бы — раненый,
контуженый,
А потом убитый?»
«Уходи!
Не могу. Мне больно. Что могла бы я?
Я росла в глуши таежных сел.
Я простая, маленькая, слабая,
Что смогла бы?..»

«Ты смогла бы все.
Ты могла мотор чудесный выстроить,
Отыскать неведомый металл,
На переднем крае стать и выстоять.
Кто тебе, лукавая, мешал?
Ты могла бы полководцем сделаться,
Да таким, чтоб только побеждал,
Не хватило силы, воли, смелости?
Кто тебе, лукавая, мешал?

Ты могла словами небывалыми
Всем другим сказать и доказать:
«Быть слепыми, слабыми и вялыми —
Это значит близких убивать».
Что? Не любо? Пофальшивить проще бы?
На других? Моя, мол, хата с краю?»

Прохожу ложбинами и рощами.
От себя бегу, не убегая.

ВОСПОМИНАНИЕ

Шли облака на плоских темных днищах
В таком зловещем желтоватом свете.
На тлеющих, пустынных пепелищах
По-волчьи выл осенний рвущий ветер.

На куче пепла женщина сидела,
В суровой скорби, молча, без движенья,
И на лице ее окаменелом
Лишь две слезы блеснули на мгновенье.

Казалось мне, всю жизнь я помнить буду
Те облака и ветра завыванье,
Развалин тех дымящуюся груду
И женщины живое изваянье.

Казалось, боль всю кровь мне отравила,
Казалось, гнев мне в плоть вошел навечно,—
И вот я все, как девочка, забыла,
Опять живу привольно и беспечно.

Растет трава на старых пепелищах,
И дышит степь медовым пряным летом,
Но облака на синеватых днищах
Озарены необычайным светом.

И ясен мир. И так легко поется.
Но не слеза ль той женщины суровой
Вдруг чистым звуком в песне отзовется,
Как звон ручья в дулейке тростниковой?

* * *

Не проси, не зови, не вини,
Я сама над собой не вольна.
Словно изморозь тронула дни,
И хрустит, как ледок, тишина.

Только песня взлетит невзначай,
В синеватом сквозном серебре,
Говорят, что на улице май,
Но весь год я живу в сентябре.

КАБАРДИНСКАЯ НОЧЬ

В кабардинскую зимнюю слякоть,
В темноте кабардинских ночей,
О, как нужно мне крепко поплакать
У кого-то на добром плече.
    Телеграммой ли, песней, письмом ли
    Невозможные бросить слова:
    «Сильный друг мой, приди мне на помощь,
    Помоги мне, пока я жива!»
Ты придешь мне на помощь, я знаю.
Ты измену простишь в эту ночь.
Но такие, как я, умирают
Много легче, чем просят помочь.

* * *

Ты приходишь, что ж, выпьем вдвоем
Мой, как прежде, любимый токай,
«Сулико» по-грузински споем.
Только ты не меня упрекай.
То ли ты стал другим, то ли я,
Не пойму. Да не все ли равно?
Вновь шумят за окном тополя,
Закавказская ночь за окном.
Только нынче другой мне родней.
Он, далекий, мне ближе в сто раз.
У него ни осанки твоей,
Ни твоих ослепительных глаз.
Мне не больно посулы забыть.
Я словам не верна. Ну так что ж?
Лучше выпьем! Зачем говорить?
Все равно моих слов не поймешь.
Ну а с ним и слова не нужны.
По усмешке, по взгляду поймет,
Как милы мне его седины
И бессонниц землистый налет.
Он вернется из тяжких боев,
Я вздохну глубоко и легко,
И не нужно мне будет ни слов,
Ни токайского, ни «Сулико».

* * *

Что в этом юноше, скрытном и грубом,
Мне так непонятно близкó?
Зоркие очи, горькие губы.
Тени у впалых висков?
Щек ли мгновенная яркая краска?
Голос сухой, без игры?
Самолюбивая эта опаска?
Этот внезапный порыв?
Мне ли в новинку горячие речи
Тех, кто уже не юнец?
Чувства нежданные, странные встречи,
Преданность дальних сердец?
Я ли давно управлять не привычна
Сердцем своим и чужим?
Мне ли не стало давно безразлично
То, что близкó молодым?
Что же внезапным и резким признаньем
Вдруг отозвалось во мне?
Что в напряженном коротком молчанье
Билось, как птица, в окне?
Где же ты, острый и твердый мой разум?
Слишком простые слова,
Слишком простая и властная фраза
С губ не сорвалась едва.
Что-то внутри натянуло поводья,
Но, натянув, не порвет.
Пусть он уходит, пусть он уходит,
Пусть ничего не поймет.

* * *

Я с нелюбимым в комнате без света.
И нет преград. И все разрешено.
Прозрачна ночь, и за кустами где-то
Больные скрипки плачут надо мной.

И горечь есть в его прикосновеньях.
Но сон молчит — любимых не клянут.
Прости, прости мне клятвопреступленье,
Люби сильней за боль и за вину.

Убей меня — не дрогну, умирая,
Но ты прости, пусть мертвый, не живой,
Прости меня за то, что я была живая,
Прости меня за то, что я была собой.

* * *

Не говори. Мне больно слышать.
Теперь любовь не для меня.
Весна и ветер влагой дышат,
И листья липы шелестят.

Но мне не будет обновленья.
Не будет. Юность отнята.
Иные мысли и стремленья.
И мир не тот. И я не та.

Как ты не видишь. Я седая.
Смелей смотри! Глаза открой!
Проходит молодость иная
Дорогой, пройденною мной.

И я, своей послушна доле,
И молчалива и светла.
Я уступаю ей без боли.
Я все прошла. Я все взяла.

А ты найдешь себе подругу,
Быть может, сходную со мной,
Но не изведавшую муку,
Не обожженную войной.

Но не тревожь меня. Довольно.
Здесь будет пусто и светло.
Не говори. Мне слышать больно.
Еще рубцом не заросло.

ИРОНИЯ

Позабудь.
  Это все все равно.
  Я смеюсь надо всеми давно,
  Над собой, над своею судьбой,
  Над тобою, самарский ковбой.
Светом насмерть мне преданных глаз,
Безудержною дерзостью ласк,
Покоривших меня до конца.
Посмотри на искусство резца,
Что провел очертанья лица...
Эту тонкость и нежность пыли,
Что прорыла природный гранит.

Позабудь.
  И меня не брани.
Я смеюсь надо всеми давно,
Над врагами, друзьями равно.
Полудетскою слабостью лгу,
Я себе лишь солгать не могу
И с собой обнаженно честна —
Так могу меж людей только я.
Видно, дед мой, лукавый поляк,
Бабку очень лениво любил,
И шляхетскую кровь перебил
Беспощадный поток прямоты.
И не знаю я истин святых,
И над сердцем смеяться могу:
Лгу другим, но себе я не лгу.

Позабудь.
  И посмейся со мной
  Над любовью такой дорогой.
  Я смеюсь над собою давно.

Твердо знаю, что мне суждено
Все узнать и пройти
На своем на коротком пути.
Все на свете до корня понять,
Все на свете в душе осмеять
И с улыбкой на смелом лице,
Словно точку у песни в конце,
Самовластной рукой, без подмог,
Пулю — прямо в точеный висок.

* * *

Опять. И все так же, все то же.
Разорвана дружба опять.
Прощай. Кто-нибудь мне поможет
Не сдаться, крепиться и ждать.

И кто-то не станет сердиться,
Когда в полуночь, в тишине,
Я вскинусь испуганной птицей,
Промолвлю короткое: «Нет!»

Зовут меня глупой подруги
За то, что в счастливом краю
Свои несогретые руки
Согреть никому не даю.

Становится юность преданьем,
Идет за весною весна,
Но мне суждено ожиданье
И верность навек суждена.

* * *

Не на том ли на становище,
Возле камня в древние века
Зародилось ты, мое чудовище,
Распроклятая моя тоска?
Серая, голодная, клыкастая,
Злобная и тощая — то рыщет,
Как волчица осенью ненастною,
То по следу тащится тощища.
Обглодала всю — чего тебе еще?
Дай хоть день, хоть час, хоть миг вздохнуть.
Пролететь бы над тобой на бреющем,
Пулеметной плеткою хлестнуть.
Где уж там! Сама волчицей серою
Волочусь по войлочному дню,
Не ропщу, не сетую, не верую
И себя живую хороню.
Не хочу ни радости, ни новости,
Все ищу последнего огня
Да конца той прихотливой повести,
Что судьба писала про меня.

ВСТРЕЧА В ПУТИ

С поворота из рощ к долине
Вдруг стремительно вынес скорый.
В снежном блеске и в дымке синей
Нам навстречу поднялись горы —

Под лучистой, под белой снастью,
Приготовленные к отплытью,
Неожиданные, как счастье,
И внезапные, как открытье.

То уходит, то вырастает
Цепь далекая снеговая,
Тает, тает и не растает,
Уплывает, не уплывая.

Поворот. Снова степь да хаты.
Снова будничный, скучный вечер.
До свиданья, моя отрада,
Все равно суждена нам встреча!

* * *

Н. Тихонову

Москва. Огни. И улицы-колодцы,
Высоких комнат свет, уют и плен.
И добрые монгольские уродцы
Средь пестрых книг,
у шелковистых стен.
Мне странно было слышать
здесь дыханье
Далеких гор, и видеть
блеск зарниц,
И различать прерывистое ржанье
В ночной тиши дичавших
кобылиц.

И так гордилось сердце
человеком,
Сумевшим говор рощ и рек
понять,
Сумевшим влить в минуту
век за веком
И сердцу сталь, и камню сердце
дать.

И здесь, в бетонных
параллелограммах,
Не позабыть приволье и простор
И различить за стенами подрамок
Гранитных скал,
неукротимых гор.
Москва. Огни. И улицы-колодцы,
Высоких комнат свет, уют и плен.
И добрые монгольские уродцы
Средь пестрых книг,
у шелковистых стен.

Какая смесь в огромном доме этом,
В чертах уже понятного лица!
Кто с ним в ряду?
Кто примет эстафету,
Которой нет начала и конца?

* * *

Я приготовила алые флаги,
Скатерть с расшитой каймой,
Жбаны веселой, играющей браги,
Светлый наряд голубой.

Песню готовлю, чтоб счастьем звучала,
Чтобы лилась, как у птиц,
Алые, белые розы достала
Из заповедных теплиц.

Алые, белые розы победы
Брошу ковром на порог.
Где ты, родимый? Любимый мой, где ты?
Радостный час недалек.

Я не пошлю к тебе чайку-вещунью —
Слишком тревожно кричит.
Журоньку-журу к тебе не пущу я —
Медленно слишком летит.

Вышлю к тебе домовитую птичку,
Ласточку, ту, что сейчас
Лепит да лепит гнездо-невеличку
Прямо над дверью у нас.

Пусть она скажет, что сад под горою
Цветом убрала весна,
Пусть она скажет, что встречу героям
Нынче готовит страна.

САМА С СОБОЙ

(В час победы)

Ни гром атак, ни выстрел одиночный
Не полоснет. Мне кровь моя слышна.
Как спелый плод, нетронутый и сочный,
В ладони гор упала тишина.

Миг тишины, свершений, осознаний,
Цветущий день невиданной весны...
Еще в углах обуглившихся зданий
Остался запах гари и войны.

Еще не все зарубцевались раны,
Еще не все оттаяли сердца.
Еще блеснет внезапно болью странной
В веселый час поникший взор бойца.

Еще не все отысканы могилы
И мертвецы оплаканы не все,
Но вот сейчас, как утвержденье силы,
Во всем величье и во всей красе

Миг тишины пронесся над страною.
Глубокий вздох, и ветра быстрый взлет.
Я на один с прогретою, парною,
Родимой хлебородною землей,

Не связана уставами ничьими,
Я о себе запела в этот час —
Не потому, что я других значимей,
Но потому, что я одна из вас.

И рада я, что этот час свершений
Меня застал у милых сердцу гор,
Где ввысь летят изменчивые тени,
Где голубой серебряный простор.

Здесь, где со мной вершина снеговая,
Своим сияньем воздух серебря;
Она опять плывет, не уплывая,
Она опять зовет, не говоря,

С утра, едва вершина заалеет,
Взять свой рюкзак и выйти за порог.
Чем круче склон — тем сердцу веселее.
Мы люди дальних каменных дорог.

Высокое дыхание победы
Так вижу я, так ощущаю я.
И жду вас, жду, закаты и рассветы,
Пути, огни, далекие края!

ЭТА ВЕСНА

Как невиданно эта весна хороша!
Вёсн таких не бывало доселе,
Не случалось прозрачным дождям орошать
Вот такую могучую зелень.

Абрикосы таким никогда не цвели
Белым с алой окалиной цветом.
Словно с алою примесью соки земли
К белым гроздьям поднялись по ветвям.

И каштаны так щедро не жгли никогда
Свеч широких во славу апреля.
И весенние ранние розы в садах,
Словно брызги зари, не горели.

Я иду. Начинается небо у ног,
Поднимается ввысь синевою.
Близ кустов и цветов, близ камней и дорог
Я могу его тронуть рукою.

Им омыта от гор до тропинок весна,
Лес в нем ветви полощет, купает.
И течет и колышется голубизна,
И волна на волну наплывает.

Я иду, или синим приливом несет,
Но кажусь я себе невесомой.
На взрыхленных полях ранних всходов налет
И скопленье железного лома.

Я иду. Обошла бы я все города,
Все тропинки бы я исходила.
Никогда не была так землею горда,
Никогда ее так не любила.

Вся краса, что сегодня мне плещет в лицо
Этим сине-зеленым прибоем,
Вся моя — не по древнему праву отцов,
Но по праву, добытому мною.

Впереди еще кровь. Впереди еще бой,
И дороги в огне, и тревога,
Но мы знаем, товарищи, этой весной
Наше счастье стоит у порога.

СКАЗКА О ХОЛОДНОМ ПЛАМЕНИ

В старой юрте, чадной и тесной,
Подымивши трубкой короткой,
О холодном пламени песню
Мне певала бабка-ойротка.
Это пламя горит без дыма,
Это пламя горит без гари.
Улетает от нелюдимых,
Злобных может крылом ударить.
Искры-звезды по небу мечет
Августовской ночью стоглазой.
Это пламя сжигает нечисть,
Превращает камни в алмазы.
Это пламя то в небо мчится,
То в прозрачных озерах тонет,
А хорошим и яснолицым
Опускается на ладони.
И, бродя по степям и скалам,
По селеньям и по столицам,
Я всю жизнь то пламя искала
И всю жизнь не могла забыться.
Я искала его в узорах
Туч, скользящих над проводами,
Я ловила его в озерах
Крепким бреднем и неводами.
Мне казалось, заря над садом
На него до боли похожа.
Я искала его во взглядах
Всех проезжих и всех прохожих.
Я искала его в созвучьях,
Беспокоилась и грустила.
Понапрасну себя замучив,
Я о нем позабыть решила.
В грозном городе опустелом

То ль приснилось мне, то ль воочью —
Это пламя привез Гастелло
На крыле самолета ночью.
Не смогла уберечь я пламя,—
Неумелая я такая...
Только искра в сердце вошла мне
И осталась, не потухая.
И она мне всего дороже,
Но порой сознаю, тоскуя,—
Разгореться она не может,
Хоть погаснуть ей не даю я.

НА ЧУЖБИНЕ

В зале с колоннадой полукружной,
Где сквозные палевые шторы,
Я веду с докучным и ненужным
Через пень-колоду — разговоры.

И весь вечер с ним, чего-то ради,
Пью из рюмок тоненьких и узких.
За плечом, на маленькой эстраде,
Музыка играет не по-русски.

И стоят, как чьи-то злые свечи,
Черные колонны с позолотой,
В этот край меня вчера под вечер
Привезли веселые пилоты.

Привезли, а сами улетели...
Говорю, себя не открывая.
Я не сплю, но снятся мне метели
Да у тына тропка снеговая.

Я не сплю, но снится: спозаранок
Розовеет, сердце мне тревожа,
Захолустный русский полустанок
С человечьим именем: «Сережа».

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ

Пройдя утраты и уроны,
К узорам башен и колонн,
В пролет московского перрона
Приходит дальний эшелон.

Что бой не вечен, путь конечен,
Что предназначен час — ты знал.
Полоской радуги отмечен,
Проходишь Западный вокзал.

Над краснозвездной, златоглавой
Летит и тает синева.
Так брошен якорь... Гавань, гавань!
Конец — в конец... Москва, Москва!

Наган да сумка. Где же вещи?
Зачем? Подтянут, свеж, побрит.
И плещут площади, и плещет
Разлив проспектов о гранит.

И узнавал еще у дач ты,
Еще с утра, еще вдали,
В антеннах, в шпилях — мачты, мачты!
В домах — морские корабли.

Ты не моряк, так отчего же
Под этой высью голубой
Тебя и манит, и тревожит
Приморский бриз, морской прибой?

Зачем не то успокоенье?
Какой мотор в твоей груди?
Какое новое виденье
Уже маячит впереди?

Какой еще тебе награды?
О чем твердишь: «Старо! Старо!»
Встречает блеском колоннады
Тебя московское метро.

И от простреленной шинели
Чуть пахнет гарью и пыльцой,
И веет ветер подземелий
На опаленное лицо.

Выходишь в центре. Скоро, скоро
Зубчатый Кремль, желанный миг.
Кипит и плещет гавань-город.
Берешь машину: «Напрямик!»

Летят бесшумные машины,
Мелькает близь, маячит даль.
И под резиновые шины
Течет асфальт, течет асфальт!

О город славы, город силы!
Ты в нем, ты с ним, ты здесь — в Москве!
Геометричный, плоскокрылый
«У-два» проходит в синеве.

Ты с ней сильней, чем прежде, дружен.
Как рупора над ней поют!
Иной покой тебе не нужен.
Тебе постыл иной уют.

Здесь отплывают от причалов.
Здесь начинается судьба.
А для тебя конец — начало,
Покой — движенье, мир — борьба!

1954—1955

РУБЕЖ ОБОРОНЫ

> В Сталинграде рубеж обороны 1942 года увековечен изваянными из камня башнями танков на постаментах, поставленных через определенные интервалы.

Там, где мирные своды
Новых, прекрасных зданий,
Где мирно дышат заводы
Ритмом мирных заданий,
Где можно вдоль Волги ехать
Садами от цеха к цеху,
Где каждый проспект в наряде
Цветов, как в праздничных лентах,
В моем Сталинграде,
    в нашем Сталинграде,
        в мирном Сталинграде
Танки на постаментах...
    Зачем?
      Почему?
        Для чего
          ему,
            моему,
              нашему
    облик башенный?
Зачем над цветами белыми
Эти—из камня сделанные...
С пушками,
            с башнями,
В защитный окрашены...
Над клумбами левкоев
    зачем
        такое?..
    Зачем ему,
                Сталинграду,

надо
с Волгой рядом,
с заводами рядом,
с дворцами рядом,
с радостью рядом
рвать бульваров ограду,
рвать покой и отраду,
с интервалами в столько-то метров
ставить танки на постаментах?
В Сталинграде новом
Любимое слово —
мир!
На каждой площади,
в каждой квартире
поют о мире,
говорят о мире.
В Сталинграде нашем
по заданью пашен
Мастерят
«ДТ-54».

В городе-герое
Для великих строек
Разжигают печи и вагранки.
Так зачем же
танки?!
Пароход с верховий причалит,
Загудит, спросит: «Зачем о печали?»
Придет по каналу Черное море,
Забурлит, заспорит: «Зачем о горе?»
Из цеха сборки
вползет на горку
новорожденный
«ДТ-54».
Увидит,
забуксует в обиде:
«Зачем о войне —
мне?
Хочу о мире!»

Вдова танкиста пойдет на берег,
О счастье мечтая, в радость поверив;
Увидит танки, вспомнит, заплачет.
Зачем так надо?..
Нельзя иначе.

Здесь, где заводы, дворцы, стадионы,
Где мирно сомкнулись зеленые кроны,—

рубеж обороны,
рубеж обороны,
навечно
рубеж обороны
мира!
Враг хочет землю с цветами, с пальмами —
всю землю сделать рабой напалма,
с меридианами и параллелями
насквозь протравленной, насквозь
простреленной.
По всем границам, заставам, странам,
Сквозь параллели, меридианы,
По следу плуга,
резца,
нейтрона
проходит
рубеж обороны.
Этот рубеж не положишь на глобус.
Всюду, где стык миролюбья и злобы,
В странах земли и в сердцах миллионов
проходит
рубеж обороны.

Он проходит по-разному,
дороги его сложны,
рано еще нам праздновать,
крепить мы его должны.

Шелковинкой тутовой тонкой
он тянется в пальцах японки,
он стекает слезинкой малой
в тесной хижине Гватемалы.
Можно увидеть даже,
как он морщиной ляжет
на лоб безработного янки.
Он может от глаз скрываться
в тростниках уругвайских
плантаций,
стать невидимым и неслышным
под уолл-стритскими крышами.
И вдруг
в парке Пикскила,
как грозная сила,
встает!
Воочью
песенной ночью
из дремы зеленых троп и сна
голубых вод,

из песен Поля Робсона
встает!
На простом концерте
на полшага от смерти
вдруг
он
обнаружится
в строе мирных тружеников,
вставших без оружия
против тысяч бандитов
твердо, сплоченно, слитно,
как лучшие батальоны,
и алой кровью на травах зеленых.
«Здесь проходит рубеж обороны
мира!»
Думают разные уоллстритцы,
Что можно укрыться
За далью,
за сталью,
За электронами,
И —
бомбу
В рубеж обороны!..

Поджигателям для проверки
Вспомнить бы гангстеров Нюрнберга.
Генералы Геринга,
бароны Риббентропа
были уверены,
что он далеко,
где-то у сталинградских траншей...
И вдруг...
Петлей по шеям
разных баронов и не баронов
Прошел
рубеж обороны!..
Он проходит по-разному,
дороги его сложны.
Рано еще нам праздновать,
крепить мы его должны.
Крепить и ширить
во всем мире.
Вот почему
надо
в мирном Сталинграде,
с Волгой рядом,
с заводами рядом,
с радостью рядом

ставить танки на постаментах
с интервалами в столько-то метров.
Здесь рубеж обороны,
в сердца вграненный,
зримый,
необоримый!
Танки на постаментах
из камня и из цемента
твердят народам
без перевода
на всех наречиях:
«Незыблем навечно,
навечно нетронут
рубеж обороны
мира!»

РОДИНЕ

Мы идем нехоженой дорогой
За тобою в новые края.
Все в тебе —
отрады и тревоги,
Родина безмерная моя!
Жизнь не поле, и сердца не камень,
И не просто меж годами битв
Строить
обожженными руками,
Смерть узнав,
смеяться и любить.
Нелегко нести в сраженье знамя.
...Кровь не речка, слезы не роса...
Мы сильны тобою
тем, что с нами
Все — твоя правдивость и краса,
Степи, захлебнувшиеся синью,
Кипарисы за резным окном,
Серенький и трепетный осинник —
Все в тебе открыто,
все дано.
Оттого, что ты у нас такая,
Мы,
твои принявшие дары,
Словно в каплях солнце отражая,
Душами
просторны и щедры.
Потому мы можем все на свете,
Потому мы, ставя всех в тупик,
Можем быть
доверчивы, как дети,

Можем быть,
как воины,
жестки.

Справедлива и необозрима,
Ты дала нам странные черты:
Мирные — в боях
необоримы,
Мягкие —
как платина,
тверды.

* * *

Если радость на руку садится,
Не спугни ее!
Она, как птица,
От движенья резкого взметнется,
На ладонь уж больше не вернется.
Если в мире тишина настала,
То ее беречь, как птицу,—
мало!
Каждой мыслью, каждой каплей крови
Будь всегда на страже, наготове,
Кем бы ни был ты и где б ты ни был,
За нее последним боем биться...
Лишь под мирным, лишь под ясным небом
Прилетает радость, словно птица...

* * *

Я только тебе не перечу
И только тебе одному
За каждую малость отвечу,
Совет, как команду, приму.

Упрямство мое, и гордыню,
И стойкость, и жесткость — подряд
Сложу у подножья твердыни
На камни твои, Сталинград.

Во всем разберешься без скуки,
Привычный к любому труду.
И знаю: возьмешь на поруки,
И я тебя не подведу...

И сразу поверю на слово.
От многих ошибок очнусь.
Все брошу, что скажешь,
и снова
Все то, что ты скажешь,
начну.

РИФМА

Мимо вёдра и ненастья,
Мимо горя, мимо счастья,
Мимо плача, мимо смеха,
Мимо срывов и успехов,
Мимо зависти шипящей,
Мимо вражеских,
    но чаще
Мимо дружеских улыбок,
Мимо взлетов и ошибок,
Мимо хмеля и отравы,
Мимо сплетни, мимо славы,
Мимо слов любви горячих
Шла я годы...
        Полузрячей...
Вполприщур...
        Полупослушна
Лишь причуде равнодушной...
    Схоронившим сердце дважды
    В третий раз не знать любимых.
    Без озноба и без жажды
    Шла не жизнью я,
            а мимо.

В сердце, каменном от боли,
Жило прошлое одно лишь,
Да в уме одна святыня
От рожденья и доныне:
Жизнь страны, навеки милой.
Не вполмеры,
        не вполсилы,
Без небрежной полуспешки,
Без привычной полусмешки,
Но на полном
        на серьезе
Ей служила верно.
            Прозой.

Ей служила честно, рьяно
То заметкой, то романом,
То статьею, то рассказом.
Ей могла б служить до смерти
Прозой самой разной масти.
Только рифма — голос сердца,
Распахнувшегося настежь, —
Не пришла ко мне ни разу.

Так прошло десятилетье,
Словно рифмы нет на свете.

....

На Малаховом кургане,
Где ты был когда-то ранен,
Где родная кровь струилась
На щербатые руины,
В полдень светлый, в полдень долгий
Я стою над тихой Волгой.
Тополя-десятилетки
Дружелюбно тянут ветки.
По снегам весенним, талым,
Пораскинулись кварталы
Так высоко, так привольно,
Что от прошлого не больно.
И гудят, гудят заводы
Под полдневным небосводом
Так призывно, так приветно,
Что не будешь безответной,
Я не знаю, что случилось.
Все смешалось, все столпилось
На кургане невысоком.
Все, что я зову любимым,
Сразу хлынуло потоком
И течет
совсем не мимо,
Прямо,
быстро,
неуклонно,
Размывая все заслоны,
Распахнув навстречу солнцу
Все окошки и оконца,
Раскрывая двери, дверцы,
Чтоб входили жизнь и счастье.

И звучит, как голос сердца,
Распахнувшегося настежь,
Рифма.

* * *

«Скупец за поживу удушит,
Над малой утратой заплачет.
Но щедрые русские души
Дают, не прося об отдаче».

Ты мне повторял это часто,
И, может, в предчувствии смерти
Ты так торопился дать счастье
Без края, без грани, без меры...
Любимой твоей поговорке
Тогда я беспечно внимала,
Не чуяла участи горькой,
Не знала,
не знала,
не знала.
Что жизнь может вмиг расколоться,
Что смерть уж стоит над тобою,
Что щедрость твоя обернется
Моею нежданной судьбою!
Заполнит напевы и песни,
У помыслов встанет на страже,
И станет ей в комнате тесно,
И властно она мне прикажет
Нести через море и сушу
Рассказ, что тобою был начат:
Как щедрые русские души
Не ждут и не просят отдачи.

* * *

И. Ш.

Я не приму твоей простой души.
На редкость дар,
да брать его не надо.
Не потому, что мне не хороши
Твои глаза
с открытым настежь
взглядом.
Наперебой апрельские ручьи
Гремят, твердят,
что среди разных, многих
Меня лишь ты сумел бы
приручить
И лишь с тобой
мне было б
по дороге.
Не потому, что преданность твоя
Мне дорога.
Иная есть причина...
Большим во всем и ясным,
знаю я,
Таким, как ты,
и должен быть
мужчина.
Но... Был ручей, и
не найти конца...
Воронка здесь...
Здесь было поле брани...
Есть след огня на судьбах и сердцах,—
Не только
на Малаховом кургане.

Сравнять его в себе!
Но мне идти
Так далеко и так поспешно надо,

Что я на близь
не трачу сил и взглядов
И я могу споткнуться на пути.

Упасть с размаху
навзничь, так, как тот,
Кто, не щадя,
не чуя,
не жалея
Себя,
на третьей скорости живет
И все равно
все
ею одолеет...
Порой я с ходу рубану сплеча
И думаю:
«В том важность не большая!»
Порой могу обидеть невзначай,
Швырнуть рывком
все то, что помешает.
Другие мстят.
...Но ты не будешь мстить.
Клянут меня...
Не будешь клясть меня ты...
Ты, не коря, сумеешь все
простить,
И сразу вдруг
я стану...
виноватой...
Не спрашивай,—
любя иль не любя.
И не пытай,
кто милый, кто немилый.
Раз в десять лет,
и только для тебя,
Я на бумагу
рифму уронила.

1961—1963

КОНЦЕРТ ШОСТАКОВИЧА

Когда он гремит, завершая пророчество,
Один на один с потрясенной толпой,
И скрипки поют, как само одиночество,
И кажется, рушится свод над тобой,
И тени мне кажутся черными флагами,
И в полночь врывается жуть катастроф,
И кто-то из жизни ушел неоплаканный,
И мысли вскипают, и пена из строф
Готова всю душу на площади выплеснуть,
И бьется полмира в железных тисках.
И плачут мужчины, и, прямо по Киплингу,
В глазницах зверей человечья тоска.
И каждое чувство до боли утончено.
Тогда твою руку сжимаю легко
И тихо шепчу: «Это все не окончено».
Ты шепчешь в ответ: «Это все далеко,
Но это все есть. И забвенье заказано».
На нашем отрадном и ясном пути
И помнить и действовать можно по-разному:
Помочь. Научить. Защитить и спасти.
А главное, быть наготове, и выстоять,
И мир удержать у себя на плечах.
А наша судьба словно ласточка быстрая,
А наша любовь, как огонь, горяча,
А наше богатство никем не растрачено,
И радость вскипает и бьет через край.

А кто-то далекий, тисками захваченный,
Рыдает в оркестре: «Спасай!»
Потом, торопясь по полуночным улицам,
Ты снова сидишь за рабочим столом,
И сильные плечи твои не сутулятся,
И мысли твои не туманятся сном.

И вновь на стене твоя тень большелобая
До утренних проблесков будет лежать,
И все тебе хочется что-то особое
Придумать, открыть, отыскать и создать.
Как будто бы ты отвечаешь за качество
Всей жизни земной и всех судеб людских,
И пусть говорят мне, что это чудачество,
Но это в тебе как святая святых.

* * *

Взлетают спутники, и празднует,
Добру и радости верна,
Моя бессонная, прекрасная,
В крови омытая страна...

А на восток за космодромами
За светом свет. За ГЭСом ГЭС.
Давно ли глохли под сугробами
Избенки, тюрьмы, степь да лес?
Давно ль?

Дрожит осина,
Рвет ветер солому с крыш.
«Лучина, моя лучина,
Зачем неярко горишь?»

И вот шагнула семиверстными —
Ее стремительнее нет! —
От кержаков с мольбой двуперстою
До покорителей планет.

* * *

Моя дорогая эпоха!
Сплетенья военно-вокзальные.
Ты в целом не так уж и плохо
Со мной обошлась персонально.
    Хоть густо заплачено кровью
За все... Но, прикинувши здраво:
Ни часа без хлеба и крóва...
Любовь... и порой даже слава.

* * *

Под луной река блестит, как олово.
Сонный ветер бродит за плечом.
Положи мне на колени голову
И не думай больше ни о чем.

Стану я вполголоса рассказывать.
Ты дремли и слушай в полусне,
Как любила парня сероглазого
Я в чужой далекой стороне.

Там узбечка пела тонким голосом.
Там в песках плескалась Алазань.
...У тебя такие же вот волосы
И почти такие же глаза.

Но совсем таких же я не видела.
Много лет искала — не нашла.
Вышло так, что я его обидела
И, прощенья не прося, ушла.

На тропе истоптанной, исхоженной
Вешних трав не сеять, не растить...
Может быть, мне у тебя, похожего,
За него прощенья попросить?..

* * *

Одно твердишь без повторенья...
Слова — как бабочки в стекло.
И мир — как в первый день творенья.
Из мрака — свет, из глины — плоть.

И комната в простом убранстве
Вселенной больше и важней.
И мне не нужно дальних странствий
И неизведанных путей.

И от речей твоих тускнеет
Все, чем жила и чем живу.
Вот отчего чем в снах нежнее,
Тем я суровей наяву.

* * *

Прохожу я серединой мостовых,
Не гляжу я на сердитых постовых.
Где зеленое московское кольцо?
Где красиво некрасивое лицо?
То ль убитый, то ль забытый, то ли так,
Пропадущий ни за грош, ни за пятак?
Подойти ли мне за справкою в бюро,
Повторить ли, как заученный урок:
Где такой-то? Позвоните в телефон:
Мол, какой ему в постели снится сон,
Быль иль небыль и к беде иль не к беде,
На земле ли он, на небе иль нигде?
То ли ждал ли, то ли клял ли, то ли так?
То ли память сбарахолил за пятак,
За юбчонку, за девчонку ширпотреб?
То ли мыслями, как надобно, окреп,
Оценил и прямоту, и простоту.
Где же я его окликну? Где найду?
Прокидалась, проморгалась или так,
Обронила, как из тысячи пятак?

* * *

Я порой на стук не открываю,
Затаюсь, скользнув тебе за плечи,
С рушником и жарким караваем
Редко, редко выхожу навстречу.

Те цветы, что здесь стоят на страже,
Поднялись от исполинских зерен.
Здесь друзья наперечет, но каждый
Честен, смел, красив, огнеупорен.

Здесь лишь те, кто твердо знает: будет
Просто вечер, жданный и подсудный,
Просто я скажу с трибуны людям
То, что должно... <...>

Тишина. Не прозвучат и канут
Те слова. Все это мне не внове.
Ни на что надеяться не стану.
Может быть, и есть на свете совесть.

Не начав и первую строку, я
Предрешу последнюю страницу:
Тысяча сердец замрет, ликуя,
А десяток с воплем возмутится.

Под молчанье тысячи пугливых
И под улюлюканье десятка
Я одна пройду неторопливо.
Как в тот час мне вспомнить будет сладко:

О твоем плече — моей отраде,
О моих друзьях — моей опоре,
О моем необычайном саде
С маленькой калиткою в заборе.

* * *

Максиму

Покорно жду бессонницы и сна,
Смертельной боли, смерти и бессмертья.
Жизнь мне мила,
Но смерть мне не страшна,
Я, полюбив, в бессмертье стала верить.

Как бьется сердце — с болью и трудом.
В ночной тиши ни звука, ни движенья,
А под хрустальным дымчатым стеклом
Пунцовых роз тройное отраженье.
(Ты их принес.)
    Уют весенних штор
(Подарок твой).
    Тепло от батарей
(Что ты купил).
    Но не оно! Всему наперекор,
Твое тепло и мертвого согреет.
Баллоны с кислородом под рукой
(Ты чудом их добыл).
    На камфороме
Компресс спиртовый
(Сделанный тобой).
Как мир любви безмерен и огромен,
Вмещенный в этой комнате,
                                        мой друг,
Моя любовь! Средь болестей и бедствий,
Хотя и труден вдох и тяжек сердца стук,

А мне легко, как не было и в детстве.
В бессмертье верю, в бога и в добро.
Не умирая, просто улетая
(Земля, наверно, просто космодром),
Я всем святым тебя благословляю.

О САМОМ ГЛАВНОМ

(Из цикла)

О СТИХАХ

Здесь у меня любовь и дом,
И первых замыслов просонок,
    Друзья. И стол мой...
    И притом
Камин и кошка Пимезонка.
И это все так вдруг,— бросать?!
За полвселенной не отдам я!
Друзей так радует краса
Моих тюльпанов Амстердама.
Мне хорошо! А им плевать
(Я о стихах), хоть я пропала б!
Им все равно.
                    Им лишь бы
                                        мчать,
К трибунам или к трибуналам,—
Им все равно!
    Им мчать вдогон
Чему-то с небывалой прытью.
У них какой-то свой закон,
Еще Эйнштейном
                        не открытый.
Нестись за истиной?
                            Но свет
Неуловим!
            Не быть смотринам!
И в осциллографе лишь след
Миры пронзившего нейтрино.
    Зачем же вы...
        Но им бы лишь

Нестись за ней...
Мне впору плакать!
...Что им светелки нашей
тишь,
Цветы и кошки
всех галактик...

И мчат меня они,
лихие,
К мольбам и ропоту
глухи,
Как все безумные стихии,
Мои безумные
стихи.

* * *

Есть свойство особое: «странность»[1].
Тебе, как и микрочастицам,
Тем свойством дано отличиться,
Поэзия,
        нá поле бранном
Рожденная.
            Платье дымится...
Кровит неприкрытая рана...
Все в клочьях и в гари...
  ...Все странно...

[1] «Странностью» называется в физике свойство, отличающее некоторые микрочастицы.

* * *

«Перебор, перебор, перехлест,
Пересол! Все в словах твоих «пере»,—
Говорят мне.
                  Я наперекрест
Отвечаю: «У вас, коль проверить,
Недодум, недодел, недомолв,
Недосол.
              И на множество «недо»
Поневоле в задел и на стол
Нужно «пере»!
                        Солонкой к обеду!»

* * *

И я бы хотела шепот и тишь,
Душа с душой и рука в руке.
Но не зашепчешь, а закричишь
Гонщику на большаке,
Будешь орать и руками махать:
«Остерегитесь!
Ухаб!!!»

* * *

Прости мне крик, преувеличенье,
Как гонщик тот простил на большаке.
Корыстные
искатели женьшеня,
Тишком лесных угодий не травить!
Прости мне и замашку, и пристрастье
За страсть,
за труд,
за подлинность любви.

ИДЕЯ

(Трагическая диалектика)

Жар-птицей рвется
в силках и тисках
И перья теряет, измучена,
Стремясь со взлета просторы сыскать.
И с нею —
из лучших лучшие.

Но вот — победила...
Ни пуль, ни пут...
И раны залечены многие...
И пух отрастает...
И видит: ползут
К ней сонмищем
челюстоногие.
Им вовсе не нужен высотный
полет.
Им пух ее нынешний
надобен.
И щиплют.
Широкими крыльями бьет —
С простора рвануться бы
в радугу!
А крылья подточены
начисто.
Утрачены взлетные качества.
Нет!
До конца! До конца! До конца!
Между двух стульев не пол,
а пропасть!
Нет полгероя и полподлеца!
Винта самодельного лопасть
На полподъеме
останови —
И через минуту —
земля в крови!

Что нынче греет и движет сердца?
Та правда, что с грузом
сквозь топь — до конца.
Свобода. Дыханье весны соловьиной.
...И нет между тем и другим половины,
Как нет полуправды
и нет полулжи!
Ведь песни и гению не сложить
Из пол-алфавита от «а» до «к».
В пробоинах будет любая строка,
В ямы тотчас превратится ямб.
Встанет поезд на полпути,
И машинисту каждый — судья,
И каждый вправе его судить!
И полувыстрелом можно убить,
Но не врага, а друзей и себя.
Пуля застрянет, дуло дробя,
И на куски разорвет пистолет —
Враг невредим,
а соратника нет!
От полуполета свинца
Смерть! Тот в ней повинен,
Кто половинил!
Значит,
пока бьются
сердца,
В поте лица —
до конца!

О БУФЕТАХ

Ленину
не надо од и элегий.
Лишь помнили б пару ленинских
строчек:
«Руководящим —
никаких привилегий!
Зарплата —
как у рабочих!»
Он повторял их без счета:
«Сменяемость.
Подотчетность».
Он твердил ясно, как
«здравствуйте»:
«Того, кто, встав у власти,
Начнет хватать —
Гнать!
От таких — тленье».
Так воспитывал
Ленин.
«Если в бою ли,
в быту ль человечьем,
Тягот скопленье —
Коммунист первый
подставит плечи!»
Так воспитывал
Ленин.
По Ст лину все иначе:
«Руководящим пайки и дачи!
Если рядом бесправье и скудость —
Молчать про такое!
Не пытаться дознаться, почему
и откуда.
И не бес-по-коить!!!»
А нынче.
Трудно. Становятся
в очередь.

Трудно с мясом, маслом и
прочим.
И лишь одна столовая,
один буфет,
Где наготовлено
все, чего нет:
Масло,
мясо,
крупы,
колбасы —
В столовой обкома.
И полутайком (ах,
лишь бы жители
не увидели!)
Тащат в авоськах,
в мешках тащат
жены руководящих.
Мелочь? Четверть мелочи даже!
Но кто подскажет,
Ум предмыслит чей:
Что вырастает из таких мелочей?

ПЕСНЯ ГРЕБЦОВ

Начальники-молчальники,
Довольно вам молчать!
Мы к берегу причалили,
Пора бы вылезать!
  А камни наворочены,
  И ветер штормовой.
  Недолго, между прочим, нам
  О камни головой.
И шлюпке расколоться здесь
Недолго, видит бог!
Наврала ваша лоция
По части берегов.
  В ней бухту звать «Счастливая»,
  А в бухте тишь да гладь.
  Мы люди не трусливые,
  Но дно нам надо знать!
Остались только метры нам,
И мы идем «ва-банк»...
Не страшны камни с ветрами,
Но страшен нам обман!
  Начальники-молчальники,
  Довольно вам молчать!
  Мы к берегу причалили,
  Нам надо вылезать!

* * *

И будет так.
Ты только глянешь —
И все поймешь: укор, вопрос.
И как тогда, в Колонном, встанешь
Во весь свой рост,
до звезд и гроз.
Ты будешь прям.
Ты будешь честен.
Но час придет и все исчезнет.
Лесть... Дел круговорот...
Склероз...
Нет, так не будет!
Нет! Иначе!
Пусть смех! Пусть гнев! Пусть взрыв!
Пусть риск!
Но пусть никто,
никто не плачет
В стране, где есть социализм,
Где ты! Где мы! Где с нами правда,
Плечо с плечом, судьба с судьбой.
Но я одна...
Лишь шелест трав, да...
Нет, не одна.
С людьми. С тобой...
Здесь твой зенит, как в майский
полдник.
Здесь высота!
Но не всегда...
Там посулил и не исполнил.
Просчет и промах — не беда.
Но ты смолчал, не объясняя.
Там слову честных не внимая,
Льстецов корыстных внял гурьбе.
...И этим изменил себе...
Ты средь людей.
Тебе не надо
Для встречи подходить к окну.

Твоя промашка — всем досада.
Я не смолчу.
Я упрекну.
По нраву или не по нраву.
Каких бы там не ждать лавин!..
Я упрекну тебя по праву
Моей испытанной любви.
Некстати, может быть, без толка.
Ну что ж — отбрось!
Ну что ж — осмей!
Я упрекну тебя по долгу
Святой профессии моей.
Не дезертир и не вояка,
Я не храбрюсь и не дрожу.
Я упрекну тебя по знаку
Того, чем в жизни дорожу.
По всем уставам и приметам
Души прямой, души простой,
Свет должен оставаться светом.
Звезда — звездой.
И ты — тобой!

«НИ СЛЕПОТЫ, НИ СТРАХА»

Из веры,
из краха,
из праха
Тех... Рвавшихся в коммунизм...
«Ни слепоты, ни страха» —
Вырос девиз.
Безмерное недоуменье,
Гибель врасплох.
Два слова: «Партия», «Ленин» —
Последний выдох и вдох.
Поставили к стенке мшистой.
Те, с ружьями — ближе, ближе...
Не беляки, не фашисты!
Свои ребята! Свои же!
О-бык-но-венные парни...
Полдень о-быч-но-венный...
Дождик весенний пáрный...
Выкрик мгновенный:
— Ребята! Не вместе ль в семнадцатом?!
...Пуля в лоб...
При жизни чего б бояться им?!
Слепнуть с чего б?!
А слепли... Прозреть боялись.
Бесстрашные вдруг — в кусты.
Они ли сказали, я ли:
«Ни страха, ни слепоты»?

Девизом народа и
времени
С верою не в аллаха,
В сердце, что тверже кремния:
«Ни слепоты! Ни страха!»

СЛЕПОТА

С ней не бежать и степью.
Слепота ж!
Не взмыть на «Ту» над пораженной
рощей,
Не знать глубин.
Вся жизнь с ней — каботаж
с могильным грузом
в темноте
на ощупь.

Проклясть ее, как горб,
как цепь,
как плеть.
И в час прозренья горько пожалеть:
С ней было легче,
домысел досужий
Приняв за быль,
свечой затеплить душу.

СТРАХ

Есть страх звериный, птичий, человечий,
Присущий всем страх смерти и увечья.
Трепещет тигр, и лапки вверх — мураш.
Лишь лучшим из людей
дано бесстрашье.
Есть страх бесстрашных...
Ужас смельчаков...
Тех, кто идет преданьем в глубь веков...
Страх без мольбы, без драки,
без признанья,
Страх — «гол король»,
страх разочарованья.
Он не звериный, только человечий,
Сильнее страха смерти и увечья.

СЛЕПОТА И СТРАХ

Слепота или страх?
В чем исток бессловесных ночей,
Эшафота и плах,
Плача и палачей?
    Когда б разъять, когда б понять
                                        могли мы!
Они слиты.
    Они неразделимы.
    От страха — слепнут.
      В слепоте робеют.
Они сплелись
    скользящей,
      смертной
        вязью.
И вот лассо над жертвой и
                              трофеем
Занесено.
    Захлестнуто.
      И... наземь!

МОНОЛОГ ТРУПА

Помню: вокруг барабанов дробь,
Слава литавров и труб,
Знамена полощатся,
У ног алея...
...Волокут гроб,
Волокут труп,
С Красной площади,
Из Мавзолея...

«На свалку его растакого!
Лежи и тлей!»
А я живого живей.
Средь лая и хая
В усы усмехаюсь.

Помню, звенели бокалы, рюмки:
«Во славу! Во здравье! Навечно!
Навечно!»
Трещат политические
недоумки:
«С ним кончено все, конечно!»
Косматя стиляжьи свои
прически,
Им в лад поэтические недоноски
Пищат: «Стерегите его в могиле!»
Надгробный начетчик
(поэт ли, поп ли?),
Утри стихотворные длинные
сопли!
Я жив!
Я в плоти и в силе!
И если всех вас, писклей,
Свалить в единую кучу,—
Я буду всех вас
живей!
Я буду всех вас
живучей!

Клянетесь Лениным...
Входите в раж...
А я усмехаюсь под гул речей:
«Пускай двадцатый его и ваш.
А двадцать первый съезд...
чей?!»
Вспомним.
Сулили: «Обгоним Америку!
Молока, мяса, масла —
больше...»
Годы прошли. Давайте сверим-ка!
Масло? Из Дании. Куры? Из Польши.
И как при мне матери,
Так нынче их дочери
В очередь!
В очередь!
В очередь!
Ленин сказал бы четко:
«Ошибка в наших расчетах».
Сказал бы: «А ну-те!
Копнемся в глуби и сути!
Для крутизны поворота
Не сделано то-то и то-то...»
— У меня другая система:
По шапке за эту тему!
По-пустому не портя нервы,
Я засы́пал бы словесами
О грядущем, о коммунизме...
Я был с вами
на двадцать первом!
В каждом сердце вашем,
как в призме!
В ваших креслах —
я будто в чреслах!
В вашем молчанье —
мое дыханье!
Благодарствуйте!
Мною царствуйте!

УСТЯ

Домик над Унжой-рекой простой есть.
Зори летят над ним гривою чалой.
Устя, подруга моя и совесть.
Та, кем могла я быть... и не стала.
Дом твой далекий — как день вчерашний,
Как дотянуться до той поры-то?!
С песней твоей нам ничто не страшно,
Песней твоею нам все открыто.
Спой же мне, Устенька,
спой, Устинья,
Спой ото всей души!
С белых, как плечи твои,
простынь я
Встану в ночной тиши.
Встану.
Оденусь.
Пойду на дамбу.
Свайной пройду стеной,
Там, где гуляют лады да ямбы
Над гулевой волной.
Здесь ты, певунья...
Еще подросток...
Взлеток
на ветке.
Яхта на рейде...
— Сутки на сеялке?
— Очень просто!
— Биться в Испании?
— Поскорей бы!
— В лодку в разводье?
— Совсем не страшно!
— Кровь для больного?
— Ничуть не больно! —
Песней твоею весь плес украшен.
По-над березьем, что ветер вольный,

Всем ты на диво и всем на радость,
Все удавалось, и все сбывалось.
Над партизанской могилой братской
«Устенька»
имя одно осталось...
Холмик напольный не на кладбище,
Не за оградой, а за овражком.
Небо над ним голубее и чище,
Медленней звезды, крупней ромашка.

Пой же мне, Устенька!
Пой, Устинья!
Пой ото всей души!
С белых, как плечи твои, простынь я
Встала в ночной тиши!
Все нам с тобою вдвоем по росту!
Брежу?
Хотела б такого бреда!
«Правду понять?»
«Это очень просто!»
«И доказать ее?»
«Поскорей бы!..»

* * *

Когда стихи становятся
стихами?
Когда они прострелены,
как знамя.
Когда в них ритмы ленинского
шага.
Когда в них смелость, правда
и отвага.
Когда звучит в них:
«Третья готовность!»
Когда сквозь них
гудит и рвется «завтра».
Когда для строф и строчек
поголовно
Нужна отвага первых космонавтов.

* * *

Пожалей, пожалей обо мне!
Страшно мчать по такой крутизне!

Так люблю немудреный
мой дом,
В белой кухне сиянье кастрюль.
Золотую сосну за окном,
Над окном золотую зарю.

Даже след, что оставил мой друг
Меж такой жизнелюбой
травы.
Даже ветер, что веет
вокруг
Обреченной моей
головы.

ПУБЛИЦИСТИКА

КОЛХОЗ «ТРАКТОР»

Поезд мчался на север.

Лесная глухомань льнула к железнодорожному полотну.

Под бледным утренним небом леса казались такими синими, словно в них оседала ночная тьма.

Изредка за ветвями сосен, как лезвия, блестели реки.

У здешних рек извилистые русла и странные названия: Церква, Вая, Лукерья.

Когда-то возле этих рек в угрюмых скитах жили раскольники, сосланные сюда еще во времена Петра Первого. Отголоском этого далекого прошлого звучали староверческие имена и специфическое бранное слово здешних мест «еретик».

В этих вот лесах и раскинулось хозяйство передового колхоза Горьковской области «Трактор».

Подъезжая к ним, я знала о колхозе очень немногое. Знала, что он славится высокими урожаями, объединяет сто тридцать хозяйств и владеет тысячью гектарами малоплодородной земли. Особенностью колхоза было то, что он вырос и окреп недавно, в условиях военного времени.

Я на разные лады поворачивала новые для меня имена и названия, пытаясь через них проникнуть в незнакомую жизнь.

Вая, Церква, Лукерья и... «Трактор».

Что скрывается за этим прозаическим и деловым именем колхоза?

За окном на утреннем ветру качались тонкие сосны. Ели, похожие на пагоды, тревожно перебирали ветвями.

Поезд пошел тише, и сделался явственнее разноголосый и певучий шум леса. Синие стены его раздвинулись, в вагоне стало светлее, поезд подошел к станции, и кто-то сказал:

— Урень. Приехали.

Две пожилые колхозницы вызвались по пути проводить меня к правлению колхоза. Мы шли по широким и прямым улицам Урени.

Откуда-то из-за амбаров поднялся самолет и полетел по направлению к лесу.

Мне хотелось о многом расспросить моих спутниц, но они опаздывали на работу и торопились.

Вдруг одна из них испуганно сказала:

— Василий Михайлович идет!

Обе поспешно юркнули за дом. Я пошла за ними и спросила:

— Почему вы испугались?

— Чай, совестно. Он каждый день с рассвета на ногах, а мы нынче подзадержались... На тока пошел...

Из-за тына женщина теплым взглядом посмотрела на приближавшегося человека.

— Горазд ходить. После болезни, а как поднялся с постели, так и закатился в поле до темной ночи.

Я пошла навстречу председателю и увидела человека лет пятидесяти — пятидесяти пяти.

У него была полнеющая тяжелая фигура и легкая походка. На полных румяных щеках сильно курчавились пышные золотистые усы. Они были не рыжие, не русые, а именно золотистые, мягкого пшеничного тона.

Когда он серьезен, брови сходятся у переносья над большими голубыми глазами, нависая тяжелыми складками.

В эти моменты даже усы принимают жесткое и грозное выражение.

Но стоит Василию Михайловичу улыбнуться, как лицо непостижимо меняется,— такая у него улыбка — искристая, по-детски веселая и очень добрая.

Бушаев пришел в колхоз в декабре 1938 года. Многим казалось странным, что опытный агроном пришел договариваться о работе в захудалом колхозе в лесной глухомани вместо того, чтобы работать в районе.

— Я человек земляной, а не бумажный,— шутливо объяснил он.

Не дав председателю согласия остаться в колхозе, он ушел из правления и отправился бродить.

Ходил он удивительно быстро и споро,— издали казалось, что он не идет, а катится. Исколесил все поле, излазил сугробы, а вечером вернулся в правление и сказал:

— Работать я у вас буду, но с одним условием.

Председатель посмотрел на него, скучая, и подумал: «Сейчас запросит корову, муки, картошки...»

— С одним условием,— повторил приезжий, и его голубые глаза блеснули холодком.— Чтобы вы мне не мешали! Я агроном и буду командиром производства...

На заре агроном перехватил колхозного конюха, который вез дрова на колхозной подводе.

— Куда?! — спросил агроном и встал, загородив дорогу своей широкой фигурой.

— Куда, куда?! На «кудыкину гору»,— недовольно ответил колхозник.

— На «кудыкиной горе» без дров тепло. Поезжай обратно.

Колхозница, которая шла с ведрами, остановилась и сказала:

— Правильно! Колхозные дрова на колхозных конях возят, а деньги в свой карман ложат.

Это была негласная, но «узаконенная» многолетней практикой статья дохода конюхов.

Агроном подводу вернул, запретил без своего разрешения брать подводу с конного двора. Конюха за ослушание пригрозил снять с работы.

Эта стычка была началом многих последующих.

Он потребовал, чтобы на работу выписывали наряды, чтобы рабочий день начинался в зимнее время с семи часов, чтобы бригадиры в определенные часы являлись в правление. Он каждый день предъявлял все новые и новые требования. Но больше всего донимал людей проверкой исполнения.

Он не ленился пройти несколько километров по снежному полю в мороз и вьюгу только для того, чтобы посмотреть, как складывают навоз в поле — большими штабелями или маленькими кучками.

Он был неутомим, дотошен, и его круглая фигура обладала способностью появляться в десяти местах сразу.

Стоило трактористам затянуть перекурку или колхозницам не ко времени разговориться, как он вырастал из-под земли и порой даже не говорил ни слова, а только смотрел пристально и укоризненно и отправлялся дальше своими спорыми, неутомимыми шагами.

Скоро в колхозе создалось два прямо противоположных мнения о новом агрономе.

— Этот — хозяин! С этим колхоз поднимется,— так говорило большинство колхозников. Они смотрели на агронома с надеждой и поддерживали его во всех начинаниях.

Но находились и такие, которые ворчали:

— Сам, еретик бессонный, покоя не знает и людям покоя не дает.

Однажды он вошел в правление необычно грузной поступью, наклонив голову и выставив вперед большой красный лоб. Брови были сдвинуты к переносью и вздувались на лбу желваками. Он тяжело сел за стол, помолчал и сказал раздельно:

— С поля сегодня ночью исчез стог сена.

Он говорил тихо, но так, что все посторонние поспешно вышли из комнаты.

— Искать будем у того, кто вчера пьянствовал... Не хватило... На колхозном сене решили заработать...—Он поднял голову и загремел на всю комнату:—Не выйдет!

НАСТУПЛЕНИЕ

— Земля у нас в колхозе бедная,—говорил Бушаев на колхозном собрании,—задача наша состоит в том, чтобы ее переделать.

План севооборота лежал на столе, и агроном смотрел на него тем напряженным взглядом, каким генерал смотрит на план будущего сражения.

Здесь были, по существу, целых три сложных плана: план полевого севооборота, план кормового севооборота и план прифермерского севооборота.

Правильный севооборот был залогом высокого урожая на площади в тысячу гектаров.

По плану полевого севооборота первое поле отводилось под чистый пар. Целый год отдыхала земля, открытая солнцу и влаге. По пару высевалась культура второго поля—озимая рожь. Для нее предназначалась сила земли, накопленная за год. Рожь забирала из почвы азот, кальций, влагу. Ее корни разбивали в мелкие комочки землю—распыляли почву.

После ржи на обедненную землю высевали культуру третьего поля—неприхотливый овес. Овес довершал то, что начала рожь, после него оставалась бедная азотом, солями и влагой разрыхленная почва. При первом же дожде она склеивалась, образуя плотную корку.

На истощенную и измененную землю высевались культуры четвертого поля—могучий восстановитель плодородия—клевер и скромная тимофеевка. На корнях клевера размножаются бактерии, которые забирают из воздуха азот. После двухлетнего клевера в почве остается около 200 килограммов азота на гектар, этого вполне достаточно для трех-четырех хороших урожаев. Корни клевера перемещают соли кальция из глубоких слоев земли на поверхность.

Тимофеевка «помогает» клеверу восстанавливать почву: корни тимофеевки, разбивая землю на мелкие комочки, возвращают ей мелкокомковатую структуру.

Два года работают эти травы.

После них по клеверищу на обновленную и обогащенную землю высевают культуру шестого поля — пшеницу, самую ценную и требовательную из всех культур.

После пшеницы сеют овес и ячмень.

Клевер был новой культурой для колхозников «Трактора». Казалось странным занимать землю травой, вместо того чтобы сеять на ней рожь и пшеницу.

Василий Михайлович на занятиях по агротехминимуму убеждал и рассказывал о значении клевера как восстановителя почвы. Однако «на клевер» шли неохотно и порой горестно пророчили: «Разорит нас агроном со своей травой».

Новостью были также минеральные удобрения — их встретили неприязненно: «Где это видано — землей землю посыпать!» А дотошный и въедливый агроном не только заставлял «посыпать землей землю», но и требовал, чтобы эту землю сеяли, как зерно, из лукошка, ровным слоем.

«Судьба» каждого земельного участка была предугадана и спланирована на семь лет вперед.

Нелегкое дело — переделка структуры почвы на тысяче гектаров!

Наступила весна. Посевную провели дружно. После сева, по старому обычаю, наступала передышка. Но агроном не давал «ни отдыха, ни срока». Он торопил с подъемом паров, словно в этом была невесть какая срочность.

Немало волновались колхозники, узнав, что агроном учит пахать на глубину 25 сантиметров, вместо обычной глубины в 10—12 сантиметров. Теперь уже разговоры велись не за спиной, а открыто, на колхозном собрании. Но с помощью партийной организации и колхозного актива Бушаев настоял на своем.

ПОБЕДА

Победа пришла тогда, когда появились первые всходы на полях, обработанных по-новому.

Рожь выросла небывалая в тех местах.

В нее можно было войти, как в реку. Можно было погрузиться в нее с головой, так что ничего не было видно, кроме ее золотистой стены, ничего не слышно, кроме ее шелковистого шелеста. Из других колхозов приходили подивиться на нее.

Когда обмолотили и подсчитали, то урожай удивил и самого Бушаева: в среднем собрали 20,1 центнера с гектара, а по отдельным участкам по 28 центнеров с гектара.

Высокие урожаи с тех пор стали обычными в колхозе. Если раньше — в 1931—1939 годы — колхозе собирали в среднем по 8,4 центнера с гектара, то уже ряд лет там собирают в среднем по 17 центнеров. Если раньше самый высокий урожай не поднимался выше 13 центнеров, то за последние семь лет самый низкий урожай не спускается ниже 16 центнеров. Если раньше, в зависимости от метеорологических условий, урожайность колебалась от 6 до 13 центнеров (больше чем в два раза), то теперь разница в урожаях не превышает 3—4 центнеров. Кажется, что ни дождь, ни засуха, ни заморозки не властны над полями «Трактора».

Даже в 1941—1942 году, когда почти все мужское население колхоза сражалось за Родину, когда армии колхоз отдал почти все живое тягло — 57 рабочих лошадей,— даже тогда урожай не опускался ниже 16 центнеров с гектара. И в эти годы колхоз неизменно досрочно рассчитывался с государством, сдавал сверх плана большое количество продуктов.

За помощь, оказанную Родине, колхоз получил благодарность тов. Сталина.

С 1942 года Василий Михайлович стал председателем колхоза. Имя его широко известно в Горьковской области. Почти никто не называет его по фамилии, но все зовут по имени и отчеству.

На Горьковском вокзале разговаривают колхозники разных районов.

— Нынче затевали люпин сеять. У «Трактора» хотим взять семян на развод.

— Это у Василия Михайловича? У него все есть. Такой человек — и сам все имеет, и людям ни в чем не отказывает.

В Уренской больнице говорят врачи:

— Надо у Василия Михайловича получить электроток для рентгеновского кабинета.

На колхозной спортивной площадке волнуется молодежь: одного из спортсменов не отпускает отец на соревнование в город.

— Надо сходить к Василию Михайловичу,— твердят все в один голос.

Тесно сроднилось это имя с жизнью каждого члена колхоза «Трактор», с жизнью всего района, с жизнью области.

ЭЛИТА

«Элита» — это тучные нивы.

«Элита» — это тяжелое крупное зерно, скользкое и шелковистое на ощупь.

«Элита» — это избранница нескольких поколений.

«Элита» — этим певучим именем названо зерно, отборное из отборных.

В Советском Союзе 62 элитно-семеноводческих хозяйства и в числе их элитное хозяйство колхоза «Трактор».

На лучших участках семенного посева отбирают лучшие колосья. Зерно каждого колоса собирают в отдельный пакетик и отдельно высевают на следующий год на лучшие земли. Этот посев называется «питомник отбора», так как из него отбирают всего 10—15 процентов лучших семян.

Эти семена отдельно обмолачивают и высевают на следующий год в «семенной питомник». В этом питомнике бережно «воспитывается» второе поколение «избранных».

Лишь 40 процентов лучших «воспитанников» отбирается для следующего посева. Этот посев называют «предварительным размножением». Зерно этого посева опять сортируют и сеют на следующий год. На полях вырастает «суперэлита». После обмолота отбирают 50 процентов лучшего зерна и снова сеют.

Теперь на полях растет «элита», но далеко не все зерно этого посева удостоится высокого имени. 40 процентов зерна бракуют, и только 60 процентов лучшего отборного зерна с полным правом называют «элита».

«Элита» — это лучшее из лучших, приспособившееся к местным условиям, сортовое зерно. Прием и сдача «элиты» — сложная процедура. Государственная инспекция разрешает сдачу только после лабораторного анализа. В анализе учтено все — и всхожесть, и влажность, и количество обломанных зерен, и абсолютный вес (вес 1000 зерен).

Если семена элиты оправдали свое название, их упаковывают особым образом и снабжают этикетками.

Элита готова в путь. Из колхоза «Трактор» она идет в четырнадцать районных семеноводческих хозяйств северных районов области.

ЗЕРНО

Нива и завод, зерно и железо — эти понятия издавна казались противоположными.

Но вот я пришла на колхозный ток и увидела обычную

картину заводского цеха. Передо мной был не ток, а «зерновой цех».

В длинном высоком помещении сложные машины работали на электроэнергии. Только гул стоял, да ветер летел от молотилок, да била в глаза летучая шелуха зерна, да пыль, оседая на губах, оставляла привкус ржаного хлеба.

В шуме машин голоса тонули, словно камни, брошенные в реку.

У каждой машины работала своя бригада, и труд был строго распределен—одни загружали машины, другие отгребали зерно, которое текло водопадами.

«Начальник цеха»—колхозный механик—неторопливо и хозяйственно прохаживался между машинами.

Василий Михайлович забрался на машину и с высоты второго этажа кричал что-то неразличимое, весело и грозно шевеля усами.

У людей были веселые пыльные лица и блестящие глаза. Напряженный труд удивительно сочетался с праздничным оживлением. Бригада домолачивала урожай, подводила итоги напряженной и плодотворной работы.

Василий Михайлович мягко слез с машины, подошел ко мне, показал на невысокую круглолицую девушку и, силясь перекричать шум, помогая себе пальцами, закричал:

— Двадцать шесть центнеров! Клавдия Орлова! Двадцать шесть!

С тока мы с ним пошли в зернохранилище и, словно для контраста, из шумного мира молотилок попали в тихую обитель наполненных зерном закромов.

Закрома дышали теплым хлебным запахом.

Дощатые перегородки и бревенчатые стены были так белы, словно их только что выстругали.

На потолке во всю длину хранилища висели снопы, аккуратно увязанные в белую бумагу, похожие на большие белые бутыли.

— Здесь каждый сноп—это государственный документ,—сказал Василий Михайлович.

Они должны висеть здесь полтора года. Если на полях колхозов появится сортовая засоренность, то государственная инспекция возьмет их для контроля и установления виновников.

В углу были сложены белые, туго набитые мешки. Они были зашиты со всех сторон, уголки у них были тщательно расправлены, и на одном из углов каждого мешка висела этикетка.

— «Элита» собралась в путь-дорогу,— сказал Василий Михайлович и обратился к заведующей складом: — Этикетки правильно написали?

Не дожидаясь ответа, он полез через мешки в самый дальний угол — проверять этикетки.

Это была его особенность — он ни на минуту не мог оставаться зрителем и спокойно любоваться видимым порядком и благополучием своего хозяйства. Его так и тянуло забираться в какие-нибудь дальние углы, туда, куда другие не заглядывают.

— Да верно же, верно,— говорила заведующая складом.

— Вот всегда вы так! Ни в чем веры нет. Все надо самому поглядеть.

А он уже вылез обратно и, посмеиваясь, устремился в другой дальний угол.

Он переходил от одного закрома к другому, пересыпал в ладонях скользкое, сухое зерно, шевелил своими пшеничными усами и смеялся удовлетворенным, радостным, добрым смехом.

ГИДРОСТАНЦИЯ

Странно, что и молотилки и циркулярные пилы, электрические лампочки и уличные фонари — все берут энергию из этого маленького, легкого домика, который стоит среди заливных лугов. Голубые шпили, золотистые тесовые стены, как в зеркале, отражаются в тихой заводи. Над водой вьются осенние паутинки и кружатся стрекозы.

В домике всего одна большая комната. Она кажется сквозной из-за огромных окон, расположенных друг против друга. Здесь пахнет свежим тесом. Здесь неумолчно шумят машины, отгороженные решеткой, и водная энергия, превращенная в электрическую, бежит отсюда по проводам.

Совсем недавно здесь днем и ночью кипело строительство. Надо было вырыть котлован в 25 000 кубометров, отвести в новое русло непокорную Усту, забить 960 единичных свай и 1600 шпрунтовых, то есть вклиненных друг в друга и образующих две водонепроницаемые стены.

— Вода экзаменует лучше любого профессора,— говорил инженер Дивеев, скромный худощавый человек с упрямым ртом.— Малейший просчет в подводной части, крошечная щель — и вода разрушит все сооружение.

Больше половины тягла и почти вся мужская сила колхоза были заняты на строительстве.

В течение двух лет каждое воскресенье приходили на воскресники жители Уреня.

Особенно напряженной была весна 1947 года. Весенний паводок выдался мощный и грозил размыть и снести недостроенное сооружение. Инженер Дивеев целый месяц не уходил со строительства, по ночам на помощь ему присылали дежурных. Дежурные с фонарями в руках ходили по дамбе: стерегли воду.

На всю жизнь запомнилась колхозникам одна апрельская ночь. В эту ночь разразилась первая, небывало ранняя гроза.

Над Устой, забитой ледяными глыбами, сверкала молния. Грохот смешивался с тихим, зловещим поскрипыванием льда.

Закутанный в плащ, продрогший дежурный не уходил с дамбы.

У всех колхозников была одна мысль: только бы не пошел лед в эту грозную ночь.

В темноте раздался отчаянный крик дежурного:

— Лед идет! Тревога!

Сквозь ночную тьму, сквозь дождь к дамбе бежали люди.

Люди встали цепью на дамбе и баграми отталкивали льдины. Скользя и падая на размытую землю, таскали мешки с песком, камни и заделывали «промоины».

Инженеру Дивееву необходимо было перебраться на другой берег, чтобы возглавить оборону дамбы.

Вместе с тремя колхозниками он спустил лодку. При свете факелов, где разводьями, а где и перетаскивая лодку волоком через льдины, рискуя жизнью, четверо смельчаков добрались до берега. Гидростанцию отстояли.

Когда строилась гидростанция, Бушаева мучила двойная тревога. Он боялся и за дамбу, и за колхозный бюджет. Он не мог спать по ночам. Он считал, пересчитывал, балансировал. Нелегко было выкроить три миллиона рублей из колхозного бюджета.

Он скрывал свои тревоги от колхозников, но после бессонной ночи бежал к секретарю райкома Жигалову. Входил, задыхаясь и держась за сердце,—следствие недавней болезни.

— Крупы нет! Мука на исходе! Плотников кормить нечем! Кони истощали. Разоряюсь!—кричал он, наступая на секретаря райкома.

— Приходи завтра на гидростанцию, там поговорим,— спокойно отвечал секретарь райкома Жигалов.

Наутро они встречались на гидростанции. Секретарь

райкома стоял на дне котлована. Его резиновые сапоги были вконец изношены. Он работал и старался — где шуткой, где горячим словом — подбодрить людей, которые вместе с ним пришли на субботник.

Бушаев смотрел на него с земляной насыпи и смущенно сообщал:

— Крупу достал. С мукой выкрутился.

И «выкручивался» так, что и три миллиона вложил в гидростанцию, и сев провел, как полагается, и выстроил ряд колхозных построек.

МОЛОЧНАЯ ФЕРМА

— Приходите к нам вечером. С тех пор как провели электричество, у нас по вечерам особенно уютно,— сказала мне Ольга Петровна, агроном-животновод, заведующая молочной фермой.

Я пришла вечером и убедилась в правоте ее слов.

Желтоватый и мягкий электрический свет падал на бревенчатые стены здания, отражаясь от лоснящихся коровьих спин. На чистом дощатом полу лежали охапки золотистой соломы. В углу возвышалась груда пахучего клевера.

Коровы стояли рядами справа и слева от прохода. Все они были «ярославки», одномастные: черные с белыми мордами. Они сонно дышали и неторопливо жевали жвачку.

На маленьких скамейках сидели доярки в белых халатах. В тишине, наполненной мерным дыханием коров, слышался чистый, прерывистый звон молочных струй.

Все здесь дышало теплом и покоем.

Здесь, в добром мире молока и сена, бесшумно двигались, негромко говорили и доверчиво улыбались.

— Пришли? — встретила меня Ольга Петровна.— Правда, у нас прекрасно? Вы видали нашу Соню? Пойдемте, я покажу.

Я любовалась Ольгой Петровной, ее милым лицом с прямым носом и большими глазами. К ней шли и сапоги и ватник, который виднелся из-под белого халата.

Она не думала, однако, ни о своем наряде, ни о самой себе: все ее мысли были заняты делом. По складу характера она похожа на Бушаева, и не случайно они так хорошо понимают друг друга.

Она долго работала в областном земельном управлении и не выдержала.

— Захотелось проверить себя на живом деле,— рассказывала она,— захотелось поработать с Василием

Михайловичем. С ним замечательно работать. Во всем идет навстречу, лишь бы только была польза. А вот наша Соня.

Судьба Сони может быть показателем тех возможностей, которые таятся в колхозных фермах.

Когда Ольга Петровна пришла на ферму, Соня была заурядной коровой. Ольга Петровна вывезла всю ферму «на дачу» — на зеленые тучные пастбища. Вместе с коровами выехали и все работники фермы.

Ольга Петровна ввела четырехкратную дойку вместо двукратной. Она заставляла доярок массировать коровам вымя до и после дойки. Она тщательно следила за режимом дня и рационом коров.

И коровы стали «раздаиваться».

Особенно удивила всех Соня — за двенадцать дней она удвоила удой и вместо девяти литров стала давать восемнадцать.

В ночь моего прихода на ферме ожидалось событие: собиралась телиться корова Нина. Вокруг роженицы собрался целый консилиум: ветеринар, бригадир, доярки и мы с Ольгой Петровной.

Все были одеты в белые халаты и разговаривали между собой на таинственном языке профессионалов.

— Клетки Эверса продезинфицировали? — спросила Ольга Петровна.

— Да,— отвечал бригадир,— завтра будем готовить ацидофильную.

Мне хотелось расспросить и о клетках Эверса, и об ацидофильной, но я молчала из уважения к важности события.

Доярки кончили сдавать молоко в сепараторную, задали корм коровам и присели передохнуть и поболтать.

Уютная комната доярок с белыми марлевыми занавесками и тесовыми стенами располагала к мечтам и разговорам.

— Вот выделили мы раздойную и племенную группу,— задумчиво говорил бригадир.— Нынешний отел у нас уже особый — племенной. Пройдет еще два-три года — у нас все стадо будет племенным.

ЗАРОЖДЕНИЕ ПЛЕМЕННОЙ ФЕРМЫ

Рано утром я пришла на ферму и сразу спросила:

— С кем вас поздравить?

— С бычком. Пойдемте, мы вам покажем новорожденного.

Телятник только что построили заново. В нем устро-

ено три отделения: для новорожденных, для телят от одного до трех месяцев и для телят от трех до шести месяцев.

В этом же здании помещаются рабочие комнаты Ольги Петровны, ветфельдшера и телячья кухня.

— Мы хотим, чтобы у нас было все как следует,— говорит Ольга Петровна.— Качество стада определяется и формируется уже в телятнике.

Мы пришли в чистую высокую комнату новорожденных. Здесь я увидела таинственные клетки Эверса. Издали они походили на деревянные детские кроватки с решетками и невысокими ножками.

— Они разборные. Их можно мыть и дезинфицировать,— сказала Ольга Петровна.

В комнате стояло три клетки Эверса, и в каждой на соломенной подстилке помещался теленок.

— Вот это новорожденный! Красавец! Смотрите, какая стройная спинка. Какая нежная кожа! Какие мелкие породистые складочки на шее,— совсем как плиссированная юбка,— с увлечением говорила Ольга Петровна.

Бычок был очень хорош. У него была черная, лоснящаяся, как вакса, шерсть и белая мордочка с нежно-розовым носом. Вид у него был глуповатый и сосредоточенный. По-видимому, он весь был поглощен сложной процедурой стоянья на своих тоненьких черных ножках.

— Мы ждали вас, чтобы окрестить его,— сказал бригадир.— Надо выбрать имя на букву «Н» — у него мать Нина. Мы всегда крестим по матери, чтобы нагляднее была родословная.

Мне ни разу не приходилось крестить бычков, и, не подготовленная к этой ответственной обязанности, я растерялась.

— Он породистый и красивый. Его можно назвать по имени цветка,— подсказала мне Ольга Петровна.— Какие цветы начинаются на букву «Н»?

— Нарцисс,— растерянно назвала я первое попавшееся имя.— Это название цветка и имя красивого мифического юноши.

Я рассказала о Нарциссе, и все единогласно одобрили имя.

— Ну, теперь мы с вами покумились,— засмеялся бригадир.

Таким образом я «крестила» бычка в колхозе «Трактор» и, к моему огромному удовольствию, «покумилась» с замечательными людьми.

Все были очень довольны, и пострадал от происшедшего только бычок. Пышное имя придавало ему особенно забавный вид.

Из комнаты новорожденных мы пошли в телячью кухню. Здесь была образцовая, аптечная чистота. В плите был устроен самодельный термостат.

— Здесь мы будем готовить ацидофильную простоквашу. Это прекрасное кормовое, укрепляющее и лечебное средство для телят,— сказала мне Ольга Петровна.

Заглянули мы и в кормовое отделение. Здесь все строилось и перестраивалось. Монтировались корнерезки, насосы, которые будут работать на электроэнергии.

На обратном пути мы зашли на конный двор. Кони были средней упитанности.

— Наш овес съела в этом году гидростанция,— пожаловался мне конюх.— Но нынче урожай неплохой, месяца через два вы не узнаете наших коней. А вот поглядите на нашего производителя.

Он открыл дверь, и я ахнула.

Передо мной стоял сказочный конь. Называли его буланым, но, на мой взгляд, он был розовый. Гигант-тяжеловоз неторопливо повернул к нам узкую голову на сильной шее.

Это был могучий и добрый конь Ильи Муромца и Добрыни Никитича.

Он медленно и мягко переступал широкими копытами. От его фигуры и движений веяло мощью и спокойствием. Его шерсть лоснилась и, казалось, светилась розоватым теплым светом в полумраке стойла.

Глаза его были умны и внимательны.

Мы долго любовались им.

— Приходите к нам через три-четыре года — у нас все кони будут такими,— сказал мне конюх.

— Не всё сразу,— задумчиво и уверенно добавила Ольга Петровна,— мы сперва разрешили зерновую проблему, потом мы построили гидростанцию, теперь мы возьмемся за животноводство. У нас еще много недостатков, но у нас все растет и улучшается с каждым днем,— а ведь это и есть самое интересное. Правда?

ПТИЦЕФЕРМА

Худощавый смуглый человек вышел на середину большого двора. Он прищурил глаза странного светло-желтого цвета, поднял руку и тихонько засвистел.

Сейчас же со всех сторон двора покатились снежные комья,— это бежали белые куры на зов своего хозяина.

Они бежали с неуклюжей куриной торопливостью, вытягивая шею и хлопая крыльями, словно их ждало дело невесть какой важности.

Человек призывно свистел и шел по двору, а двести тридцать две белые курицы бежали за ним, толкаясь, суетясь и спеша.

Человек перестал свистеть и сказал:

— Видите курицу возле кормушки? Это двадцать пятая. У нее самые крупные яйца: они весят семьдесят пять граммов. А вот эта тридцать первая, клохтуша. Леггорны мало клохчут, а эта клохчет, как беспородная.

— Как вы их различаете? Они же все одинаковые.

— Нет. Они все разные. Я всех различаю.

Я усомнилась в словах Дмитрия Ксенофонтовича, поймала «клохтушу» и посмотрела на кольцо, надетое на лапку. На кольце стояла цифра 31.

Дмитрий Ксенофонтович улыбнулся.

— Убедились? Я не ошибусь. Я всех их знаю. А вот у меня самая породистая. Чистокровный леггорн. Видите?

— Ровным счетом ничего не вижу.

— Ну как же? Остальные все метиски, а эта чистокровная.— Он легко поймал курицу.— Смотрите: маленькая, белоснежная, с желтыми ногами. А главное — гребень. Видите, какой большой, мясистый гребень?

Теперь я видела, что ни у одной из двухсот тридцати двух кур не было такого гребня. Тяжелый, большой, ярко-малиновый, он свешивался на сторону и упруго колебался при каждом движении.

— А вот и моя рекордистка. С ноября по август она принесла двести три яйца и продолжает нестись.

«Рекордистка», к моему удивлению, оказалась маленькой, захудалой курицей с перевязанной ногой и грязной шеей.

— Какая она у вас замухрышка!

— Зато «работает»... Нога у нее заболела. Вчера носил ее к ветеринару.

Дмитрий Ксенофонтович с гордостью оглядел свое хозяйство:

— Люблю я птицу. Это у меня наследственное пристрастие, от отца унаследовал. Василий Михайлович проведал про мою «болезнь» и перетащил меня к себе. Знаете, говорят: «Рыбак рыбака видит издалека». Он и сам «пристрастный» к делу человек, с ним «пристрастным» людям хорошо работать. «Научи, говорит, наших колхозников водить птицу. Мы, говорит, создадим тебе условия!» Ну, и действительно нет этого у него, как у других председателей, чтобы по двадцать раз чего просить. Ему сегодня скажешь, какая на ферме надобность,— завтра все будет сделано.

Дряхлов принял птицеферму, которая не приносила никакого дохода. Начал свою работу с индивидуального

учета яйценоскости. Смастерил сорок восемь клеток особого устройства, с дверками из двух створок. Нижняя створка приподнимается и закрепляется с таким расчетом, что курица при входе должна толкнуть и закрыть ее.

Таким путем курица может войти в клетку, но не может выйти. Она сидит до тех пор, пока Дряхлов не вынет ее. Вынимая, он смотрит ее номер и помечает этим номером яйцо. Вечером все пометки заносит в книгу, и тем самым учитывается яйценоскость каждой курицы.

Клетки устроили 8 ноября, устлали их соломой и стали ждать кур, но куры не шли — был зимний период.

— Не несутся у тебя курочки-то,— поддразнивали колхозники.

— Занесутся,— отвечал Дряхлов.

Он велел сделать в курятнике добавочные окна и в солнечные дни выпускал кур на прогулки. Он добавил к рациону известняк, овощи и ракушки. Свеклу и морковь подвешивал на небольшой высоте, чтобы куры подпрыгивали и таким образом занимались «спортом».

В результате всех этих мероприятий 20 декабря на птицеферме свершилось событие: одна из кур забеспокоилась, закудахтала и вошла в клетку.

Дверца захлопнулась.

Дмитрий Ксенофонтович дежурил у клетки.

Когда послышалось удовлетворенное кудахтанье, он вынул теплое яйцо, взял курицу, надел ей на ножку кольцо с номером «один», написал на яйце «№ 1», а вечером на первой странице учетной книги записал:

«20 декабря. Кура № 1. Яйцо № 1».

Вскоре занеслось еще несколько кур. Это было редкостью в Урене: уренские куры обычно начинали носку в марте.

Уренские хозяйки зачастили на ферму проведать «куриный секрет».

Пятого мая снесла яйцо последняя курица, которая и получила последний номер «232».

В новые клетки куры шли очень охотно, и в июне — июле у клеток иногда выстраивалась «куриная очередь».

Индивидуальный учет помог выявить «рабочих» и «дармоедок». «Дармоедок» за нерадивость скормили детишкам в яслях, а для лучших «работяг» организовали «индивидуальное кормление» с блюдами из зерна и речных ракушек, которые у кур почитаются лакомством. Ракушки или «моллюски» собирались ребятками, и за это Василий Михайлович начислял трудодни.

Одновременно Дряхлов начал работу по улучшению породности. Из Горького привезли чистопородных цыплят леггорнов. Их поместили в заново оборудованном цыплят-

нике, с искусственной маткой и солярием, кроме того, положили под наседку яйца лучших кур своей фермы.

Результаты проделанной работы сказались уже через год: яйценоскость повысилась в два с половиной раза. В 1947 году птицеферма получила три тысячи яиц сверх плана. Уже в июле этого года колхоз полностью рассчитался с государством, а к сентябрю сдал государству тысячу девятьсот яиц сверх плана.

САД-ОГОРОД

Мы с Василием Михайловичем пришли в кладовую-сортировочную огородного участка. Какая игра красок открылась перед нами!

В углу лежали огромные пудовые тыквы, темнозеленые, с желтыми пятнами и сухими гранеными черенками. На полированной поверхности тыкв светились неяркие округлые блики.

Рядом в ящиках теплились помидоры. Нежные и мясистые, они были переполнены алым соком и как бы рассказывали о знойном солнце, горячей и влажной земле.

От упругих голубоватых кочнов капусты веяло свежестью и тенью. В них была хрупкость первых заморозков и пышность последних осенних цветов.

У окна на брезенте лежала куча оранжевой моркови-скороспелки, а на окне, в бутыли, словно в контраст с оранжевым тоном моркови, стояли густо-лиловые цветы люпина.

Садоводы и огородники почему-то всегда представлялись мне седобородыми старцами. Садовод же колхоза «Трактор» был молод, черноволос и белозуб.

Мы позвали его с собой и пошли в сад.

В саду, так же как и на других участках колхоза, все в движении, в росте, в развитии. То, что вчера было мечтой, сегодня становилось действительностью.

Вчера еще здесь был бесплодный пустырь — сегодня раскинулся молодой сад. Сад и огород, слитые в одно целое, занимают площадь в семь га.

Сад — совсем молодой. Половина его только начинает плодоносить, а половина посажена всего два года назад. В этом году посажено еще триста сорок яблонь, семьсот кустов смородины, триста пятьдесят кустов крыжовника. Часть сада занята стелющимися яблонями — они лучше защищены от морозов и ветров.

Из-за ветвей мелькнуло что-то густо-лиловое. Это был посев люпина. Лиловые цветы, похожие по форме на маленькие пирамидальные тополи, растут на высоких стеблях.

Люпин разводят в огороде, чтобы в будущем году перенести на поле,—его корни, подобно корням клевера, накапливают азот в почве, а стебли, листья и цветы служат прекрасным удобрением, если их запахать в землю.

На солнечном участке, защищенном от северного ветра густыми кустами и яблонями, я увидела маленькие, крепкие светло-зеленые стебельки. На каждом из них росло по три—пять странно знакомых листочка.

Что же это такое? Я всматривалась, испытывая то томительное чувство, которое охватывает, когда видишь знакомое лицо и не можешь сразу узнать его.

Василий Михайлович смотрел на меня и лукаво посмеивался.

— Да ведь это же... это виноград!

Виноград здесь, в Урене, в одном из самых северных районов Горьковской области!

Год назад Василий Михайлович узнал, что в Воронеже есть морозоустойчивые, северные сорта винограда. Он послал туда своего человека.

И вот тысяча крохотных «чубуков» винограда, укутанные в сырой мох и рогожи, приехали из Воронежа в Урень.

— Пройдет еще года два,—сказал мне Василий Михайлович,—и детишки в наших яслях получат на сладкое свой собственный виноград.

В глазах у Бушаева прыгали задорные огоньки. Словно он хотел сказать: «Не верите? А вот мы возьмем и сделаем!» Я видела, что для него важны не столько виноградные гроздья, сколько победа человека над землей.

В междурядьях сада расположен колхозный огород.

В этом году строительство гидростанции создало некоторое напряжение в колхозном бюджете. Василий Михайлович сказал колхозникам:

— Ранние овощи—вот в чем наше спасенье. Обыкновенная капуста, но в необыкновенные сроки. Дело за вами, огородники. Выручайте колхоз.

Парниковую рассаду стали выращивать в торфонавозных горшочках. Огородники лепили из торфа и навоза горшочки величиной в стакан, насыпали в них землю и выращивали в них рассаду. Как только солнце пригрело землю, выбрали участки, расположенные на солнцепеке, закрытые от ветров, образцово обработали землю на этих участках и высадили на них рассаду прямо в горшочках.

При высадке в горшочках не нарушалась корневая система—растениям не приходилось затрачивать силы и время на укрепление в новой среде, растения были

устойчивее к холоду, а сами горшочки служили прекрасным удобрением.

Хороший уход довершил начатое. Ни у кого в районе еще не было капусты, а колхоз «Трактор» возами возил ее в дома отдыха, в санатории, на рынки.

Уже к началу сентября огород дал колхозу триста тысяч рублей дохода.

ЛЮДИ «ТРАКТОРА»

Двухэтажное здание правления, невысокий забор и широкая улица залиты янтарным вечерним светом. Даже дорожная пыль приобрела теплый, чуть розоватый оттенок.

С баскетбольной площадки доносились взрывы смеха — это тренировалась колхозная команда перед поездкой на состязание в далекий и знаменитый колхоз имени Тимирязева.

Собственный самолет Уренского района прошел над крышами и стал снижаться на аэродроме, где-то за колхозным током.

Приближалось стадо.

Пыля и мыча, мерными шагами шли одномастные, черные, беломордые коровы.

Грузовик застрял между ними и гудел, захлебываясь от нетерпения, но коровы шли прежней неторопливой и величавой поступью.

В правлении колхоза было тесно и людно: только что кончилось собрание. Василий Михайлович сидел за столом, по привычке склонив голову набок. Кончики его усов развились и торчали — это придавало ему воинственное выражение.

На скамьях сидели колхозники.

Здесь были бригадиры Смирновы — оба деловитые, усталые, с полевыми сумками через плечо.

Здесь был Аким Александрович Рехалов — могучий семидесятилетний старик с такой большой белой бородой, что она казалась приклеенной. Рехалов — начальник колхозной охраны. Бушаев называет его «Глаза колхоза».

За образцовую работу Рехалова ежегодно премируют — в прошлом году он получил в виде премии тысячу рублей, а в позапрошлом — центнер зерна.

Рядом с ним сидели его дочери Мария и Анфиса — обе знатные звеньевые колхоза.

Прислонившись к стене, стоял Пимен Иванович Князев, один из самых замечательных людей колхоза. Он невысок, худощав, строен. У него строгое иконописное лицо с окладистой бородой. Держится он подчеркнуто

прямо. Его жесты точны и сдержанны и как-то по-особенному изящны; речь немногословна и выразительна.

О Пимене Ивановиче рассказывали такую историю.

Это было в дни Великой Отечественной войны. Колхозники жертвовали деньги на строительство военного самолета. Деньги давали от души, у всех было приподнятое настроение. К столу подошел один из самых зажиточных колхозников.

— А! Милости просим! Чем ты людей порадуешь?— улыбнулся Бушаев.

— Вот тысяча,—сухо ответил колхозник.

Над бровями Бушаева вздулись жилы.

— Тысяча? Многодетные красноармейки давали по три тысячи. А ты...

— Не могу больше тысячи. Это дело добровольное. Заставлять вы не можете.

— Никто тебя не заставляет, да пойми, ведь колхоз позоришь! По всему району известно, как ты живешь! Нам за тебя перед людьми стыдно! Не позорь колхоз. Одумайся.

С досадой и натугой колхозник вынул еще пятьсот рублей.

Все сидели молча. Люди казались подавленными.

Кровь хлынула в лицо Василию Михайловичу.

— Не возьму. Подачек не принимаем. Не нужны нам твои деньги.

Колхозники загудели:

— Не принимать у него!

— Здесь дело святое!

— Здесь люди от чистого сердца отдают!

— Не пачкаться об него!

В эту минуту отворилась дверь, и легкой и твердой поступью вошел Пимен Иванович Князев.

Он подошел к столу, вынул сверток, увязанный в белый платок, и сказал тихо и спокойно:

— Прими, Василий Михайлович. Двадцать пять тысяч, все, что имею.

Вздох пронесся по комнате. Люди выпрямились, как будто им легче стало дышать.

Пимена Ивановича Князева в работе и в жизни отличает высокая честность и патриотизм. Какое бы дело ему ни поручили, оно всегда будет сделано образцово.

— На него можно положиться, как на каменную гору,—говорит о нем Бушаев.

Князев—лучший севец колхоза и лучший скирдоправ. Когда он заболел, в бригаде не стали кончать скирдование до его выздоровления. Никто так, как он, не понимает

«секрета» скирды. Его скирды славятся: они не промокают ни под какими ливнями и могут стоять годами.

У печки рядом с Пименом Ивановичем примостилась Клавдия Кирилловна Орлова, лучшая звеньевая колхоза, в войну боец артиллерии, наводчик сорокапятимиллиметровой пушки. Очень молодая, невысокая, круглолицая, с выпуклым лбом и узкими веселыми серыми глазами, она была одета в ватник и повязана черным платком. Этот черный платок, низко, по-староверчески повязанный над самыми бровями, еще больше подчеркивал лукавство веселых глаз Клавдии.

В сорок втором году девушка ушла в армию, не успев обмолотить собранный урожай.

Зимой в штаб запасного полка в Серпухов пришло письмо на ее имя.

«Поздравляем вас, дорогой боец артиллерии,— писал ей Василий Михайлович.— Вы вырастили на колхозном поле хороший урожай и награждены значком «Отличник сельского хозяйства».

Клавдия радовалась награде, за которой, по разрешению командира, съездила домой.

Через всю войну пронесла молодая артиллеристка близкий ее сердцу значок. Со значком «Отличник сельского хозяйства» на груди она стояла у своей пушки. Этот значок стал для нее символом всего, что она любила, чем жила, за что сражалась.

В сорок седьмом году звено Клавдии Орловой взяло на себя обязательство — собрать двадцать пять центнеров зерна с га на своем участке.

— Вчера, когда домолачивали, мы все так перенервничали, даже на обед не ходили. Дотянет или не дотянет? Двадцать пять центнеров получили,— с гордостью рассказывала Клавдия.

— Как же вы этого добились, Клава? Земли у вас неплодородные, лето было сухое, весна холодная.

— Ох, и весна же была! — быстро сказала Клава и всплеснула руками.— Холодище, ветрище, дождище! На поле образовались лывины, всю пашню заболотило. Озимые, чуть пробились, начали желтеть от холода. Расти не растут, а только желтеют. Беда! Агроном говорит: «Надо озимые сушить и подкармливать». Обошли мы с ним поле, показал мне, где рыть канавы, куда лывины спускать. Осушили мы поле и сразу же подкормили озимые. Глядим — пошли! Зазеленели снова и пошли! Поднимаются, а все-таки нет в них желательной для нас силы. Плоховато растут! Агроном говорит: «В таком случае лучше всего — навоз». А его с весны дочиста вывезли. Взялись мы всем звеном бегать по Уреню — по домам да

по организациям. От других таились: как бы другие звенья нас не перебили. Все тайком да шепотком! Со стороны посмотреть: что за секреты у девчат? Может, о женихах шепчутся. А девчата о том шепчутся, что двор с навозом отыскали. Смехота! Живенько волов запряжем — и ну погонять! Все боимся, как бы другое звено нас не опередило.

— Хорошее у вас звено, Клава?

— Мое звено? Как на подбор! Ну, такие девчата подобрались — бодрые, да быстрые, да непоседливые! Что хочешь могут. И всякая работа у нас в интерес. Все у нас весело идет. Кончаем косить и мечтаем между собой: «Ой, девчонки, скоро жать будем!» Кончаем жать — и опять у нас мечта: «Ой, девчонки, скирдовать скоро!»

До того работящие девчонки подобрались! Бывает, на перерыве я дам им волю для интересу. Не тороплю, ни слова им не говорю, проверяю: сколько они сами посидят, на свою же совесть. Я молчу, так они сами встают: «Что, мол, ты, звеньевая, рассиделась?»

— Но ведь у вас в звене не только девушки. У вас и пожилые женщины, и мужчины. Как вы добились того, что они вас слушаются?..

— Да мужчины-то слушают еще лучше. Конечно, если человек старее тебя, то к нему не подойдешь, как к ровне. Подход надо иметь. Я к нему уважительно: так, мол, и так, вот, мол, что я думаю сделать. Ладно ли, мол, будет, по вашему мнению? А он мне: «Ну, конечно, ладно!» — И пошло дело.

— Клава, а если бы вам пришлось работать не в колхозе, а в единоличном хозяйстве?

Клава засмеялась.

— Да я бы не стала. Как же бы я звеньевой была? Я приучена с людьми работать. Как же в единоличном?..— Она задумалась, брови ее недоуменно поднялись. Она силилась представить непонятную единоличную жизнь.— Ну, стала бы я одна жать... Ну, повезли бы мы на поле удобрения... все врозь, каждый для себя... Да нет! Не стерпела бы я! В звене мы все вместе, одна к одной, как горошины в стручке: где одна не сдюжит, там все встанут. У нас все промеж собой. Сколько пересмеешься между делом! А как перерыв, так у нас песня. У нас все девчата песельные. Вот приходите к нам на перерыв, так заслушаетесь.

— А как вы живете, Клава?

— В прошлом году четыреста пятьдесят трудодней заработала. И на себя хватило и на продажу. Выходила замуж, так у нас в доме весь колхоз гулял. Веселая была

свадьба. Люди говорят: «По свадьбе и жизнь будет»,— смеясь, заключила она.

Из-за угла вышла группа девушек.

— Клава, Клава, до тебя дело есть!

— Меня кличут девчата мои. Я побежала. До свиданья вам.

Через минуту вся стайка девушек скрылась за углом.

ПЕСНИ

В этот вечер колхозному хору негде было проводить спевку, и молодежь заняла опустевшее здание колхозных яслей.

Зажгли электричество, осветили золотистые бревенчатые стены, марлевые занавески, добела выскобленный пол.

В черные окна стучал дождь, а здесь было тепло и уютно. Пахло свежим хлебом и тем добрым запахом, который исходит от сухих бревенчатых стен.

От русской печки веяло теплом.

За столом на скамьях усаживались юноши и девушки шестнадцати—восемнадцати лет. Большинство из них пришло прямо с тока, после целого дня работы.

Оживление в них боролось с усталостью. То слипались припухшие веки и склонялись головы, то раздавался смех и лица вспыхивали весельем.

Молодежь собиралась на днях ехать на спортивное состязание в передовой колхоз другого района, и все разговоры велись вокруг поездки, которая была большим событием в жизни этих девушек и юношей. Предстояло большое путешествие—до Горького поездом, а дальше пароходом.

Многие из них ни разу не были в Горьком, никогда не видели парохода. Их интересовало все: и состязание, и Горький, и пароход. Но больше всего их интересовал незнакомый колхоз.

— Мы там все обойдем, все высмотрим. Говорят, у них колхоз еще лучше нашего—есть чему поучиться. А то в нашем районе куда ни пойдешь, всё мы всех лучше.

Не было ни зависти к качествам «чужого» колхоза, ни желания «выхвалиться», ничего, кроме живого интереса и стремления «поучиться». Всем хотелось, чтобы чужой колхоз был как можно лучше.

Девчата с увлечением показывали мне свои новые спортивные костюмы: фуфаечки белые, тапочки шевровые, шитые не просто, а с узором, и штаны длинные, синие, позади карман.

— Это Василий Михайлович нам купил, чтобы нам было прилично в чужом колхозе.

Пока собирался хор, секретарь комсомольской организации, которого все звали попросту Ванюшей, взял баян и начал репетировать сольные номера.

Он пел фронтовые песни. Пел самозабвенно, откинув голову и полузакрыв глаза. На груди у него блестел орден Славы и медаль «За отвагу».

Когда он кончил, я спросила:

— За что вас наградили?

Он рассказал. Он говорил, торопясь, переходил с одного эпизода на другой, говорил и не мог остановиться. Пережитое было таким большим, что Ване трудно было нести его в себе.

Он рассказывал о боях, о товарищах, о своем генерале. Но о чем бы он ни говорил — это всегда был рассказ о дружбе и доблести. И как припев к рассказу звучали слова:

— Как братья мы жили! Лучше, чем родные братья! И каждый не за себя думал, а за всех.

В незамысловатых и торопливых словах этого юноши жил дух Советской Армии.

Ваня был тяжко контужен и пережил много тяжелого, но его воспоминания были светлы и поэтичны.

Потом Ване захотелось спеть песню своей дивизии.

— Это же нашей дивизии собственная песня, мы же ее сами сочинили! — взволнованно говорил он.

И вот в тихой бревенчатой комнате, в маленьком, затерявшемся в лесной глуши селенье раздалась собственная песня 156-й дивизии.

Сто пятьдесят шестая
Боевая,
Ордена Кутузова
Дивизия идет!

Ваня пел, закинув голову и смежив ресницы.

С песней врывались в комнату посвисты пуль, снежные вьюги и железная поступь героев.

Шестнадцатилетние колхозницы и колхозники притихли и внимательно слушали песню своего комсомольского секретаря, «ветерана войны» — двадцатидвухлетнего юноши, награжденного орденом Славы и медалью «За отвагу».

Когда все собрались, руководительница хора Анастасия Ивановна сказала:

— Начинаем спевку. Встаньте, девушки!

— Ой, ноженьки гудят! — пожаловались девушки, но встали.

Ваня, склонив голову набок, прислушался к чему-то внутри себя и растянул баян.

С неожиданной силой взметнулась песня.

Калинка, калинка моя,
В саду ягода малинка моя!

Хор пел песню на недевичьих, низких нотах, сильно и в быстром темпе. Только один женский голос, захлебнувшись весельем, захмелев от радости, подтягивал скороговоркой и с выкриком:

И-их! И-их! И-их!

Хор вел песню с прямолинейным стремительным напором, мощно, ровно, даже слегка монотонно, а женский голос вихрем вился вокруг него.

Я не знаю, может быть, это было вне всяких хоровых канонов, но сочетание сильной, ритмичной, мужественной песни с этим хмельным выкриком создавало удивительное ощущение силы, удали, размаха.

В комнате стало жарко, распахнули окна, и далеко к уренским лесам полетел стремительный и вихревой напев о необыкновенном саде, выращенном чьими-то благодатными руками.

1948

ЧЕРТЫ БУДУЩЕГО В КОЛХОЗЕ «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»

— В посевную, конечно, беспокоишься — встаешь до зари. Иной раз выйдешь еще затемно, идешь, а кругом все яснеет, светлеет, и вдруг разом прорвутся лучи, брызнут и заиграют в небе. Сперва в одном месте, потом в другом, потом повсюду загорятся облака, и такая пойдет красота... И ведь ожидаешь этого, а оно каждый раз как будто неожиданно. И ведь не впервые, наперед знаешь, что красиво, а все равно каждый раз удивишься и обрадуешься, будто наново.

Мне запомнились эти слова Героя Социалистического Труда Екатерины Григорьевны Лалетиной.

Вот так же, то в одном, то в другом месте, «прорывается» к нам наше коммунистическое будущее, к которому мы упорно приближаемся, так же мы ждем его, и все же черты его являются перед нами неожиданно; так же знаем о его красоте и все же на миг застываем от удивления и радости, когда зримая и ощутимая красота эта вдруг воочию предстанет перед глазами.

1

ГОРОД ИЛИ ДЕРЕВНЯ?

Низкое серое небо с желтой полосой раннего заката. Снежная метель над бесконечными сугробами. Мелькают изредка узкие ели да черные ельники, на диво тихие и уютные даже в эту непогоду, и снова тянутся сугробы. Снегом заносит дорогу, и машина плывет по нему, захлебываясь и утопая. Несколько часов метели, сугробы, заносы, последний поворот, последний ельник, и перед путниками откроется...

Что откроется? Как это назвать? Может быть, это город, занесенный снегами и не похожий на другие города?

В длинных корпусах поют разноголосые станки — слесарные, токарные, столярные; высятся рядом с ними груды только что изготовленных гаек, болтов, гвоздей, топорщатся железные ребра новых механизмов, спиртовым запахом свежей древесины отдают штабеля деревянных реек, оконных рам, дверей, шипит и бьется над железными листами быстрый огонь автосварки.

Всюду кипит новостройка. Куда ни взглянешь, недостроенные здания — двухэтажные деревянные и каменные, массивные, с железными рельсами вместо балок.

Издалека видна высокая труба котельной, рядом, с котельной новая баня с раздевальными шкафами и полками, еще не утратившими ядреного запаха древесины, с прачечной в нижнем этаже.

Сразу бросается в глаза большое каменное здание с колоннадой — это Дом культуры. В нем и звуковое кино с первоклассной аппаратурой, и радиоузел, и библиотека, и общественная столовая со столиками, накрытыми белыми скатертями, с цветами на окнах.

За Домом культуры тянется ряд двухэтажных домов; во многих из них не только электричество, радио, но и центральное отопление, и ванны.

Ну, конечно, это город!

Но если это город, то почему так близко подступают поля?

Почему в самые улицы вторглись синеватые ельники?

Почему шумят молотилки и водопадом течет зерно?

И если это город, то откуда здесь стадо крупных бронзовых индюшек? Их массивные овальные тела отливают то синим, то зеленоватым, то золотым цветом.

И откуда под елями быстрые, как молнии, и черные, как уголь, лисицы? Блестящие, пушистые, со спинками, словно посеребренными снежной пылью, они то мелькают за металлической решеткой, то исчезают в тесовых домиках.

И откуда здесь сотни пестрых коров, могучие быки и свиньи, такие жирные, что им уже трудно шевелиться?

Может быть, это все-таки деревня?

Но если это деревня, то почему здесь столько машин и мотоциклов? Они пролетают мимо, обдавая вас облаками снежной пыли. Несколько мотоциклистов останавливаются у двухэтажного каменного дома с колоннами и поднимаются по ступеням.

Если вы пойдете за ними, то попадете в большой зал. Здесь, по-видимому, должно быть собрание.

Что за люди собрались здесь?

Их много. У них натруженные, обветренные руки и веселые лица с печатью той интеллигентности, живости, восприимчивости, которую придает напряженная умственная и душевная жизнь.

Попробуем вслушаться в оживленные разговоры и по ним определить, кто эти люди.

— Трансмиссия коротка. Надо ставить дополнительный шкив,— задумчиво говорит соседу пожилая женщина в пуховом платке.

— Смотрите сюда! Вот чертеж новой конструкции моего станка.— Несколько юношей склонились над ватманом.

Кто же эти люди?

Рабочие, колхозники, инженеры, ученые? Их разговоры ничего вам не объяснили, но увели еще дальше от привычных понятий, анкетных параграфов.

Окончательно сбившись с толку в окружившей вас радостной неразберихе, вы остановитесь посреди комнаты и спросите:

— Да где же мы наконец? И кто же вы?!

Тогда вокруг засмеются, и кто-то ответит:

— Вы в колхозе «Красный Октябрь». А мы — колхозники.

2

«ОГНЕСТОЙКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО»

Большое видится на расстоянии. Правильно оценить то большое, что сделано в колхозе «Красный Октябрь» Кировской области, можно, только отойдя от него на расстояние 30—40 лет назад.

Вятская губерния. Вожгальская волость, деревня Чекоты.

Около семидесяти верст до города, немногим меньше — до железной дороги. Север, непроезжие сугробы зимой. Непролазная грязь весной и осенью.

«Неродимые земли» — суглинки — заставляли поселян целыми селами уходить на отхожие промыслы. В официальных статистических сводках 1900 года «основным занятием» многих сел значилось нищенство.

Разбогатеть можно было только чужим потом и кровью, и всесильны были в этом глухом краю мироеды. Недаром одного из кулаков так и звали: «Никола-бог».

Наряду с другими рос в лесной деревушке крестьянский парнишка Петя Прозоров, так же, как большинство

односельчан, спал на дерюжке и под дерюжкой и ел сухой хлеб не досыта.

Когда ему минуло двенадцать лет, мать снарядила его на заработки в Казань, где родственник работал официантом. Большелобый, синеглазый, самостоятельный мальчуган зашагал в Казань за триста верст по метельной зимней дороге.

Он стал работать в посудной ресторана.

По детскому сознанию, еще не окрепшему и не закаленному опытом, хлестнуло чудовищное противоречие между тем, что он увидел здесь — в городе, и тем, что было там — в родном доме.

Там — тяжкий труд, черный хлеб, отрепье и та честность, когда за луковицу, сорванную ребенком с чужого огорода, его наказывают, как за великий грех.

Здесь — пьяное веселье раскормленных бездельников, разносолы, выброшенные в помойку драгоценности и круговой обман — официанты открыто обирают пьяных гостей, гости обирают друг друга, хозяин обирает служащих.

От страстной ненависти к богатеям, от мучительной жалости к далеким родным ребенок дошел чуть не до нервного расстройства. Была одна отрада: и здесь он видел людей труда, как и он, мечтавших о счастье народа. Созревали яркие мечты о том, чтобы перенести все лучшее из городской жизни туда, домой, в родные места.

Когда через шесть мучительных лет, на митинге в 1917 году, он услышал, что в коммунистическом обществе будет уничтожена противоположность между городом и деревней и что в программе большевиков провозглашена борьба за разрешение этой задачи, он был поражен.

Оказалось, что самая заветная, в слезах любви и ненависти, еще в детстве выношенная мечта обдумана и превращена в программу действий тысячами других людей. Он всем сердцем потянулся к этим людям.

Он стал первым председателем комитета бедноты в родном селе, а когда прошла комбедовская пора, стал обдумывать новые пути.

Начало было очень простым: вместе с несколькими такими же, как он, энтузиастами он организовал сельскохозяйственный кружок.

Чтобы удержать членов кружка от обычного ухода на зимние промыслы, образовали товарищество по выработке кирпича и назвали его: «Огнестойкое товарищество «Красный Октябрь».

Так с маленького кирпичного сарая начинался замечательный колхоз. В 1927 году «Огнестойкое товарищество» выросло в колхоз «Красный Октябрь».

Девять семей колхозников переехали в новый, выстроенный общими силами дом.

— Наша земля. Наша власть. Партия и правительство дали нам все возможности для того, чтобы построить красивую и счастливую жизнь. Если мы не сумеем этого сделать, то грош нам цена! — так говорил Прозоров.

Кулаки поливали колхозников грязью и осыпали угрозами. Было все: сплетни об одной для всех постели и угрозы «божьей карой», анонимные письма и открытая поножовщина, острые колья, вбитые в землю, чтобы повредить машины, и лемеха, неизвестно кем снятые с плугов в самую горячую посевную пору.

Еще и сейчас жесткий свет зажигается в больших голубых глазах Прозорова, когда он вспоминает о вражьих вылазках.

— Попортили они нам крови! — говорит он.

Он сидит в своем просторном кабинете. Это небольшой, плотный, подвижной, как ртуть, очень веселый человек, живо воспринимающий все — газетную статью, научное открытие, песню, стихотворение. У него всегда немного склоненная голова с огромным выпуклым лбом и мелкими правильными чертами бритого, круглого чисто русского лица. У него быстрый, мягкий вятский говорок и манера внезапно смеяться, откидывая назад голову. В нем соединяются большевистская страстность и мужицкая хозяйственная расчетливость, смелая прямота и хитреца, умение организовать массы и умение заглянуть в сердце отдельного человека.

— Попортили они нам крови,— говорит он о кулаках.— Некоторые думают, что наш колхоз чуть ли не с неба свалился, а мы шли путем жестокой борьбы... Вот смотрите! Видите шрам под волосами? Били они меня... Было и это... А еще и такое было.— Закинув голову, он весело хохочет и рассказывает своим быстрым мягким говорком: — Получили мы, колхозники, землю бывшего кулака Мальгина, и пустили мы на эту землю трактор. Так ведь что выдумал Мальгин, негодяй?! Давай под трактор кидаться! Кидается и орет: «Езжай через меня! Иначе не дам проехать!» А первый наш тракторист, брат мой Дмитрий, почернел, как земля, и едет прямо на него. «И перееду, говорит, волчья твоя душа!» И переехал бы ведь! Не свернул бы... Столько мы тогда от них натерпелись, такая тогда у нас была ненависть! Переехал бы его Дмитрий, да не улежал, подлюга, вылез! И чем, бывало, они сильнее нас донимают, тем мы крепче друг за друга держимся!

Петр Алексеевич задумывается и, словно встряхнувшись, продолжает:

— Сколько трудностей было и сколько самых что ни на есть счастливых дней! Жили мы тогда в колхозе один к одному, большевик к большевику. Вечером соберемся, обсудим сообща, кому что делать, а утром каждый работает на свою, на большевистскую совесть. Но тут встал перед нами другой вопрос. Мы не за тем объединялись, чтобы самих себя ублажать, а затем, чтобы всю нашу деревню вовлечь и перестроить! Стал быстро разрастаться наш колхоз, и начались тут наши главные трудности. Кулацкие охвостни проводили свою работу. Они старались нашим колхозникам привить иждивенческие настроения. «Вот, мол, приняли тебя в колхоз, пускай теперь кормят и поят». Стал падать наш колхоз. Тяжелые дни мы пережили... До сих пор помню я выступление одного нового колхозника на собрании. «Завлекли, говорит, вы меня, да и вывезли в бурную ночь в снежное поле». Я ли не привычный человек?! И ругали меня, и били меня, все переносил! А этих слов не смог перенести! Ударили они меня. Вышел я на волю... Темень, ветер, а я и не чую... Где бродил, не помню. Не знаю, что бы тут с нами было, если бы не «огнестойкое» наше товарищество, если бы не закаленное наше большевистское ядро. Обсудили на партийном собрании, решили сделать крутой поворот. Раньше у нас ели все из одного котла, а работал каждый как пожелает, а теперь во главу поставили учет и организацию труда и распределение продуктов по труду. Возглавил это Федор Самойлович Малюгин, старый наш колхозник. Он и сейчас ведает этим — заслуженный мастер учета и организации. Вон он. Познакомьтесь!

По-военному подтянутый, моложавый человек вступает в разговор.

— Точность! — говорит он, взмахивая рукой, словно рассекая ладонью воздух. — Точность и последовательность — вот основа учета и организации. Теперь у нас это в крови — никто не уйдет с поля до тех пор, пока звеньевой не обмерит его участка, не запишет объема и качества работы. Особо поощряем высокую агротехнику. Месяц за месяцем, год за годом пошло улучшение. Богатели и разрастались! Было когда-то всего девять семей, а сейчас — сто семьдесят девять. Основной капитал наш — больше девяти миллионов. Дохода в прошлом году получили больше двух миллионов. Нас часто спрашивают: «В чем секрет ваших успехов?» А у нас и секрета-то никакого нет! Правильные севообороты. Клевера. У нас под многолетними травами нынче шестьсот гектаров! Ну, конечно, хорошая обработка земли, и удобрение, и подкормка, и постоянный состав бригад, и закрепленная за

бригадой земля — это же всем известные мероприятия. Какой тут секрет?

— Неверно! — прерывает его Петр Алексеевич.— Не так ты говоришь. Есть у нас свой «секрет»! И заключается наш «секрет» как раз в том, чего многие председатели недооценивают и что наша партийная организация всегда ставила во главе всего,— это идейное воспитание людей!

Петр Алексеевич нагибается вперед, сжав ручки кресла. Его лицо утратило обычное оживленное, смеющееся выражение, стало напряженным; слова, лишенные обычного веселого вятского акцента, звучат сильно и страстно:

— Организация труда, агротехника, связь с наукой — это все великое дело, но и оно при первой трудности может превратиться в круглый ноль, если нет партийной души в коллективе. Двадцать пять лет нахожусь я на посту председателя и с каждым годом крепче убеждаюсь в том, что идейное воспитание для нас — все равно что крылья для самолета.

3

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ

Развертывание социалистического соревнования, доклады и беседы на политические темы, работа с газетой, с книгой — все это носит в колхозе «Красный Октябрь» систематический характер, но, помимо этого, идет кропотливая, на первый взгляд мелкая, но дорогая своей повседневностью воспитательная работа. Вся жизнь колхоза пронизана этой работой. Можно привести сотни примеров.

Колхозник привез с поля маленький воз сена. Мелкий факт, мимо которого легко пройти, но Петр Алексеевич уже бежит по двору и окликает проходящих:

— Девушки, вы куда? Идите со мной на минутку. Тетя Маша, идемте с нами.

Через минуту около злополучного воза толпятся люди. Воз ворошат, приподнимают, смеются.

— На ком ты вез, на кошке или на курице?

В заключение Прозоров говорит:

— Коня гнал, время тратил, а привез с гулькин нос. Какое уж тут соревнование, если так работать? Всю бригаду срамишь.

Кропотливо, по крупинкам воспитывалось в людях социалистическое отношение к труду.

Нужен был приводной ремень к молотилке, а денег не было. Решили некоторое время не давать в столовой

молока, чтобы продать молочные продукты и выручить деньги. Кое-кому это не понравилось. Однажды Прозоров приехал на лошади за главными ворчунами.

— Садитесь, старики!

— Куда повезешь-то?

— В одно место...

Он привез их в соседний отстающий колхоз и повел по сараям и складам, в которых не было машин, потом повел их по домам. Он ходил из дома в дом, а за ним из дома в дом молча ходили колхозники.

Не было произнесено никаких речей, никаких пояснительных слов, и только на обратном пути один из стариков вымолвил:

— Так ведь мы поняли, зачем ты возил-то нас...

— Так ведь я и знаю, что поняли.

Так по крупинкам воспитывалось уменье смотреть вперед, уменье ценить колхозное богатство.

Колхозники «Красного Октября» хорошо понимают роль электрификации в строительстве новой, коммунистической жизни. У них уже есть люди, посвятившие себя делу электрификации, свои колхозные электрификаторы. Развитие хозяйства колхоза, в котором так тесно переплетены наука и труд, требует расширения энергетической базы. Так возникает в колхозе новая электростанция. Могучая сила электричества дает новые мощности хозяйству колхоза, она прочно вошла в его быт.

Есть у колхозников предмет особой любви и забот: это свой колхозный санаторий.

— Мы еще живем не так, как нам надо,— говорит Прозоров...— Но вот санаторий наш — это особая статья! Это уже то, что надо!..

На слиянии двух рек — Селюги и Лебедки — в тихом ельнике выстроили колхозники двухэтажный домик с балконами. Вокруг лесная тишина, и бывает, что в окно столовой заглядывают любопытные белки, а лунными ночами зайцы подбегают к самым дверям. Но стоит перешагнуть через порог, как забудешь о том, что за порогом лесная глушь.

Этот домик не просто санаторий — это частичка того нового, которое так бережно, любовно и неустанно выращивают колхозники.

Санаторий рассчитан на 30 отдыхающих. Отдых в своем санатории — это не случайный эпизод в жизни колхозников, а система, вошедшая в быт. Каждый добросовестный колхозник обязательно раз в год проведет здесь несколько недель.

Здесь уже есть свой установившийся быт — свои маленькие традиции.

Празднично обставлен сам приезд. В нескольких санях с песнями и музыкой подъезжает новая партия отдыхающих. Традиционная ванна (ванны здесь принимаются почти ежедневно), смена белья, и вот колхозники, приодетые, радостные и немного торжественные, входят в диванную комнату.

Все отдыхающие проходят медосмотр, взвешиваются и с первого же дня начинают принимать по предписанию врача лечебные процедуры в физиотерапевтическом кабинете, оборудованном новейшей аппаратурой.

В здешнем колхозе не диво услышать, как доярка или конюх говорят:

— Что-то я неважно себя чувствую. Надо бы съездить в санаторий попринимать соллюкс.

Соллюкс, кварц — любимые процедуры в здешних, бедных солнцем местах. В санатории прекрасно поставлено питание — кормят сытно и вкусно, как на первоклассных курортах.

Но и питание, и лечебные процедуры — это не главное: главное в санатории — организация культурного отдыха.

Здесь обычны и спектакли, и просмотр новых кинофильмов в собственном кинозале, с собственной аппаратурой.

По-особенному хороши и уютны вечера громкого чтения. За стенами метель, ели скребутся в окна черными лапами, а здесь тепло, светло, ковры, картины, цветы. Женщины вяжут, уютно устроившись в креслах, мужчины, оставив излюбленный бильярд, шахматы и домино, устроились на диванах. Заведующая санаторием, она же культурница, она же руководитель хорового и драматического кружков, Овсянникова читает вслух.

Здесь много читают и вслух, и про себя, и еще больше поют. Без устали пляшут девчата любимую свою пляску «Ягодиночку».

Здесь, в селе, когда-то не знавшем иного веселья, кроме пьянки и дебоша, теперь все время чувствуется и желание и уменье людей красиво отдохнуть.

Чувствуется особо бережное отношение людей к тому хорошему, что ими создано. Каждый бережет не только ковры и кресла, но тщательно оберегает ту атмосферу ясности, чистоты, хорошей гордости собой и другими, которая царит в этом доме. Вы не увидите здесь ни одной соринки, оброненной на пол,— если она и упадет, то ее тотчас поднимут; вы не услышите здесь ни одного резкого или невежливого слова,— если оно и сорвется, то все посмотрят на виновника с такой полной достоинства укоризной, что он умолкнет, смущенный.

И, может быть, из всего дорогого и хорошего, что

есть в этом домике, самое лучшее и ценное как раз и есть это бережно уважительное, полное хорошей гордости отношение людей друг к другу, к своему коллективу, к тому, что создано этим коллективом.

Человек, впервые попавший в колхоз, удивляется:

— Станки, двухэтажные дома, гидростанция, подвесная дорога — неужели все это построили не инженеры, не специалисты, а землепашцы, крестьяне?

— Колхозники,— поправил его Василий Иванович Ергин, в прошлом кузнец, а теперь заведующий механическими мастерскими, человек редкой технической одаренности. Он улыбнулся, и светлая улыбка сразу преобразила немного суровое на первый взгляд лицо этого скромного и молчаливого человека.

В этой улыбке была хорошая гордость.

4

ШКОЛА ДАРОВАНИЙ

С кем бы из колхозников вы ни говорили — с полеводом, с токарем, со свинаркой,— вам, как правило, бросается в глаза незаурядность этих людей.

Незаурядность чувствуется в страстном увлечении своим делом, в глубине и точности знаний, в широте кругозора.

Как выковываются в колхозе эти даровитые люди?

Перед нами главный зодчий колхоза — Константин Григорьевич Лалетин.

То же обветренное лицо, что и у большинства колхозников, та же печать чуть суровой и одновременно застенчивой сдержанности.

— Жили мы бедно,— рассказывает он.— Земля не кормила. С детства учился у брата столярничать. А настоящая жизнь моя началась в колхозе. Помню, позвал меня как-то Петр Алексеевич да и говорит: «Надо нам строить лесопилку, и решили мы доверить это дело тебе». Я говорю: «Мыслимое ли это дело?! Какой я строитель?!» А он мне на это: «Лазаря нам не пой! Не хуже ты, чем другие люди, и нечего прибедняться». Не терпит он, когда человек сам себя принижает! «Бери, говорит, книги, поезжай на соседнюю лесопилку. Почитай, посмотри, посоветуйся — и за дело!» — «А ну как испорчу?» — «Испортишь — поправишь, мы и на это пойдем. Помогать будем. Если хочешь знать, так нам свой строитель еще дороже и желательней своей лесопилки». И взялся я за это дело. И построил я лесопилку...

Константин Григорьевич умолкает, улыбается и смотрит потеплевшим взглядом куда-то вдаль, в прошлое.

Так начиналось. С тех пор чертежные инструменты, ватман, калька стали неразлучными спутниками Лалетина.

Лесопилка, водонапорная башня, водопроводная сеть, гидростанция, баня, гараж, мастерские, Дом культуры, крахмальный завод, ветряки, двухэтажные жилые дома выстроены его руками. Он был и проектировщиком, и чертежником, и прорабом, и начальником строительства, и архитектором, и отопленцем, и сантехником — воистину «и швец, и жнец, и в дуду игрец»!

Даже в тех случаях, когда здания строились по типовому, присланному из города проекту, беспокойная мысль Лалетина обязательно вносила в проект дополнения и поправки. Так было при строительстве гидростанции,— он придумал простую и остроумную вещь: удлинил турбинный вал и приспособил к нему два мельничных постава. За стеной гидростанции выросла мельница.

Так же замечательна судьба Василия Ивановича Ергина.

Мастерские колхоза, которые славятся на весь район, в которых изготовляются и ремонтируются сложные механизмы, созданы этим даровитым человеком, созданы из заводского утиля, добытого за полцены.

Около старых колхозников подрастает целая плеяда талантливой молодежи.

Все в колхозе знают Леню Прозорова — проектировщика и строителя подвесной дороги.

Знают двадцатилетнего Леню Лалетина — электрика, слесаря, токаря, шофера, тракториста, конструктора оригинального и сложного автомата, изготовляющего гвозди.

У Лени Лалетина светло-голубые глаза и тонкое лицо, все с тем же выражением сдержанности, скромности.

— Что заставило вас, Леня, просиживать целые часы над своим автоматом?

Он отвечает застенчиво, но с неудовольствием:

— Ничто не «заставило».

Самое слово «заставило» ему не нравится, потому что в этом слове есть оскорбляющий Леню оттенок.

— Я сам хотел... Колхозу нужны были гвозди... Мы сильно строились, а с гвоздями было плохо... Война же была...

— А что вас сейчас увлекает?

— Реактивные самолеты,— неожиданно отвечает он, и вот уже светится на лице удивительно хорошая, чуть застенчивая улыбка, льется торопливый, взволнованный рассказ.

У этого юноши, который живет вдали от города, дома хорошая техническая библиотека.

Особенно увлекается Леня самолетостроением. Конструкции самолетов с их двигателями, расчетами известны ему так хорошо, что поражаешься этому.

Сейчас он задумал мотор нового типа. Разрабатывает проект и думает ехать с ним в Ленинград, где у него есть знакомые специалисты в области авиации. Одновременно он учится в вечерней школе молодежи, готовясь держать экзамены в авиационный институт.

А вот еще один одаренный человек, еще одна интересная судьба.

Захворала доярка Валя Гагаринова, ее отвозили лечиться в город. На прощанье Петр Алексеевич сказал ей:

— Ну, Валентина, езжай, выздоравливай, читай побольше.

Приезжая в Киров, среди множества дел, забот своего большого хозяйства, он не забывал подобрать нужную агротехническую литературу для восемнадцатилетней доярки.

Валя читала.

Когда она вышла из больницы, Прозоров позвал ее к себе и внимательным, изучающим взглядом, будто впервые, посмотрел на нее.

Перед ним была маленькая, аккуратная русоволосая девушка с выражением скромного достоинства. Черты лица были еще по-ребячьи расплывчаты, мягки, но большие ясные глаза твердо и спокойно смотрели из-под выпуклого лба.

Прозоров задал ей несколько вопросов по прочитанному. Она ответила.

— Ну, что ж, Валентина, понемногу приучайся работать в колхозе за агротехника.

— Ой, что вы, Петр Алексеевич?!

— Ну, что заойкала! Ведь не сейчас, не завтра. Постепенно приучишься. Я помогать буду. Читать умеешь, книгами обеспечу,— чего же тебе еще?

Валя стала вести историю полей, производить лабораторные анализы семенного материала, следить за правильной заделкой семян, за правильным применением удобрений.

В тесном контакте с Валей работает бригадир Екатерина Григорьевна Лалетина. Это сорокалетняя женщина, стройная, легкая. У глаз ее чуть заметные морщинки, которые не старят ее подвижного круглого лица, а придают ему особое, милое выражение. Она мать пятерых детей.

Она — Герой Социалистического Труда, она собрала по 30 центнеров ржи с гектара, это бригадир, имеющий в

своем распоряжении 400 гектаров земли и целый коллектив людей, общественница, запевала хора и душа каждого праздника.

Екатерина Григорьевна ведает большим и разнообразным хозяйством, она руководит бригадой, которая называется «бригадой партизан» и находится в особом поселке за семь километров от центральной усадьбы. Здесь и 400 гектаров земли, и около полтысячи голов разного скота, и множество птицы.

Бригадиром она работает много лет и так сжилась со своей бригадой, что подчас кажется — и не отделишь ее от других. Часто можно услышать в колхозе такие фразы:

— Катя возит удобрения.

— Катя поехала за известковым туфом.

Это совсем не значит, что сама Екатерина Григорьевна села за руль машины и пустилась в путь-дорогу. Речь идет о работе, которую выполняет бригада в целом, но в сознании колхозников Екатерина Григорьевна так тесно спаяна со своей бригадой, что имя ее сделалось чуть не синонимом этой бригады.

В бригаде о ней говорят: лучшего бригадира и не сыскать. Все у Екатерины есть: и опыт, и любовь к делу, и подход к людям. Никогда не закричит, голоса не повысит, а кому хочешь в глаза правду скажет, кого хочешь покритикует открыто. Редкостной справедливости женщина! У нас о ней и в частушках поют: «Золотая наша Катя!»

Однажды кто-то из приезжих спросил ее:

— Вы никогда не жалеете о том, что у вас нет единоличного хозяйства?

Она подняла глаза, полные искреннего изумления:

— Батюшки, да какой интерес в таком хозяйстве? И развернуться-то негде. Да разве от индивидуального хозяйства получили бы мы такой достаток, как от коллективного?! У меня и дед и отец всю жизнь сидели на своем участке, а что они видели? Им и во сне не снилось то, что я имею. Отцу-то купили мы хорошую кровать, так он первое время все — постель на ночь сложит, снимет, дерюжку постелет на кровать да на ней и спит, по старой привычке! Вот какая жизнь была у людей в индивидуальном-то хозяйстве! Верно я говорю? — обратилась она к полеводу Герою Социалистического Труда Михаилу Петровичу Колупаеву.

— Редкая семья у нас,— отозвался Колупаев,— имеет меньше чем полторы-две тысячи трудодней, а на трудодни у нас по два килограмма зерна, и картофель, и овощи, и молоко, и мясо. Для меня и санаторий, и библиотека, и клуб, и кино не хуже, чем в городе. И я в него безо

всяких хлопот хожу два раза в неделю. Я жизнь вижу!.. И мы эту нашу жизнь сами строим, и сами ею пользуемся! Разве это мыслимо было бы при единоличном хозяйстве?

5

ЕДИНСТВО УМСТВЕННОГО И ФИЗИЧЕСКОГО ТРУДА

Искрятся сугробы под фонарями. Плавно кружится серебристый ветряк. Ярко светят окна ферм. По скрипучим тропинкам колхозники торопятся к зданию столовой. Сегодня здесь проводится занятие по агроучебе.

Валентина Гагаринова рассказывает о химическом составе пшеницы, о ее свойствах. Становится не совсем ясно: почему люди так спешили на это занятие? Разве они не могли прочесть обо всем этом? Но через минуту Валя говорит:

— Пшеница не любит кислых почв, а мы сеяли на кислых почвах. Известковали почву плохо. На одной кислотности мы потеряли минимум три — пять центнеров с гектара. На девятом поле, где мы будем сеять пшеницу в этом году, тоже большая кислотность. Вот эту горсточку земли я принесла с девятого поля, сделаем анализ кислотности...

Оживает бесцветный раствор в пробирке, отливая розовыми, алыми, малиновыми тонами. Напряженное внимание выражают лица слушателей.

— Видите? Кислотность — четыре и пять десятых! Надо сильно известковать почву. Сделаем расчет известкования.

Фраза за фразой текут все так же тихо и ровно, но от них уже нельзя оторваться. Перед нами — не только доклад, но и вдумчивый анализ прошлых ошибок и конкретный план будущей работы.

Когда колхозники неохотно расходятся, унося с собой тетради с вычислениями и формулами, невольно задумываешься: к какой же категории отнести их труд — умственный этот труд или физический?

В бывшем медвежьем углу, куда десятки лет назад не заглядывали городские люди, куда разве только ссыльных засылали за тяжкие преступления, теперь бьется живой пульс передовой советской науки и нередко гостят профессора, доценты, научные работники.

Сюда приходят письма из научных институтов Москвы, Ленинграда, Ставрополя.

Особенно тесная связь установилась у колхоза с Тимирязевской академией.

В 1947 году колхоз послал пятерых колхозниц в Тимирязевскую академию в месячную командировку.

Петр Алексеевич, провожая, наказывал:

— Побольше задавайте практических вопросов! Продуктов берите с нашего склада столько, чтобы хватило на весь месяц. Раньше срока возвращаться не смейте. Знаю я вас: заскучаете по колхозу.

Девушки из лесной глуши не растерялись в Москве, их, как желанных гостей, встретили московские ученые. Студенты Тимирязевской академии подружились с ними. Был в Тимирязевке и свой колхозник — аспирант Алексей Калашников. Профессора и доценты устраивали специальные занятия с пятью колхозницами.

Через месяц пять женщин, которых в колхозе с ласковой шутливостью прозвали «академичками», докладывали о своей поездке.

— Еще много мы допускаем погрешностей против передовой агротехники,— говорила Екатерина Григорьевна,— плохо известкуем почвы и даже навоз используем неправильно. Его надо плотно утрамбовывать, а у нас трамбовальщиков не ставят, просто так в штабеля складывают. А самое главное — нет у нас предплужников. Петр Алексеевич, этого дальше терпеть нельзя.

В тесной связи с передовой советской наукой поднимали колхозники свое хозяйство.

Правильные севообороты, хорошая обработка почвы, высокосортные семена, применение органических, полного комплекса минеральных, а также бактериальных удобрений, известкование, подкормка — все это принесло небывалый в здешних местах урожай.

В колхозе собирают по 30 центнеров ржи с гектара, по 570 центнеров картофеля. Здесь научились выращивать невиданные прежде помидоры. Здесь собирают первые урожаи с яблоневых садов. На свиноферме получают приплод по 23 поросенка на свиноматку. На МТФ, где в стойлах электричество и автоматические поилки, где навоз убирается с помощью вагонеток подвесной дороги, из года в год растут удои.

В 1946 году на заседании ученого совета Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева выступил с докладом о пятилетнем плане своего колхоза Петр Алексеевич Прозоров.

Выступление Прозорова в Тимирязевской академии, как и многое другое, чем богат колхоз «Красный Октябрь», говорит о том, что черты коммунистического будущего, которые когда-то казались нам далекими, как свет «далеких звезд», теперь существуют рядом с нами, зримые, ощутимые, живые.

1949

КОММЕНТАРИИ

В третий, заключительный том настоящего Собрания сочинений входят прозаические (1954—1963), поэтические (1940—1963) и публицистические (1948—1949) произведения Г. Николаевой, существенно дополняющие представление о творческом наследии писательницы, известной прежде всего романами «Жатва» и «Битва в пути» (т. 1 и 2 настоящего Собрания сочинений).

ПРОЗА

Повесть о директоре МТС и главном агрономе.— Впервые: в журн. «Знамя», 1954, № 9.

Откровенный разговор о недостатках в колхозной жизни, который подняла Г. Николаева в очерке «Председатель колхоза» (Знамя, 1954, № 2, с. 93—122), вызвал недоброжелательный отклик («Поиски характера с «расстояния». Ред. статья — Правда, 1954, 1 марта): писательницу упрекали в принижении образа положительного героя, необъективном показе недостатков и проч. «...Я с трудом отказываюсь от сделанного,— писала она впоследствии,— но к критике отнеслась с тревогой и серьезностью. Буквально через несколько дней после статьи в «Правде» я уехала на целину. Хотелось быть там, где жизнь в данное время идет всего напряженнее и всего горячее, чтобы на этом жизненном огне проверить свою работу и сильнее почувствовать необходимое, нужное народу» (Николаева Г. Пути создания образа героя.— Лит. газета, 1954, 25 сентября, с. 3).

Тяжелобольная писательница собирает материал сначала на Алтае, а затем в Краснодарском крае. Первой попыткой художественного освоения материала о целинной действительности явился очерк «В Кулунде» (Известия, 1954, 14 мая).

13 июля 1954 г. на редакционной коллегии журнала «Знамя» состоялось обсуждение рукописи повести, написанной, по признанию писательницы, всего за один месяц (первоначальное название ее — «История одного неудачного выступления»). Единодушно признав несомненные художественные достоинства

произведения, члены редколлегии рекомендовали снять наиболее острые места: сцену с детской бутылочкой, слова Насти, обращенные к секретарю обкома: «...Вы три года обманывали людей и в будущем году будете обманывать» и др. Г. Николаева согласилась убрать только описание траурных дней после смерти Сталина. Вызывала сомнения сцена выступления Чаликова: по мнению редакции, его молчание на трибуне не вполне оправдано. «Может быть, он только в эту минуту понял, что все от Насти пошло»,— настаивала автор (ЦГАЛИ, архив «Знамя», ф. 618, оп. 16, ед. хр. 147).

Доработанный вариант, представленный Г. Николаевой в начале августа, получил одобрение в рецензиях Е. Дороша и В. Инбер, а также в отзывах специалистов в области сельского хозяйства. Е. Дорош чувствовал некоторую уязвимость образа Насти, из-за которой она может показаться читателям незаурядным новатором, понимающим то, чего не знала ни партия, ни наука. На самом же деле, это «просто грамотный и принципиальный специалист,— пишет рецензент,— который знает об этих агрономических приемах из всех доступных учебников и борется за их внедрение со всею непосредственностью молодости... А не применялись эти приемы... только из-за рутины...» (ЦГАЛИ, архив «Знамя», ф. 618, оп. 16, ед. хр. 147).

Вышедшая в сентябрьском номере журнала «Повесть о директоре МТС и главном агрономе» так же, как и все другие произведения Г. Николаевой, вызвала горячие споры. Восторженными были первые отклики в печати (Т р и ф о н о в а Т. Существо дела.— Лит. газета, 1954, 16 сентября; В а с и л ь е в И. Повесть о директоре МТС и главном агрономе.— Октябрь, 1954, № 11, с. 187—191; Г у с е в а З. На главном направлении.— Новый мир, 1954, № 11, с. 258—262 и др.).

Как художественное открытие был принят основной конфликт произведения: «Это справедливое и суровое деление людей на беззаветно работающих слуг народа... и на «подрядчиков», думающих о своей выгоде или славе... прекрасно выражено в самом развитии сюжета и образов» (Т р и ф о н о в а Т. Указ. соч.). Говорилось также о большой эмоциональной силе произведения, о заключенных в нем страстности и энергии: «Автор осуждает и негодует, радуется и предостерегает, вызывая эти чувства не наставлениями или поучениями, а внутренней силой самих образов» (Г у с е в а З. Указ. соч., с. 262).

В редакцию журнала хлынул поток читательских отзывов. Особенно внимательно изучала писательница почту из МТС и колхозов, все авторы которых подтверждали типичность явлений, описанных в повести: «Конфликт в Вашей повести прочный и надолго» (ЦГАЛИ, ф. 2292, оп. 1, ед. хр. 173, л. 6).

Работа писательницы была высоко оценена К. Симоновым в докладе на II Всесоюзном съезде советских писателей, состоявшемся в декабре 1954 г.: «...Как пример, на мой взгляд,

художнически очень точного подхода к изображению человека труда можно привести последнюю вещь Г. Николаевой... Быть может, находясь под обаянием этой повести, я преувеличиваю сейчас ее силу и значение, но думаю, что не ошибусь, отметив, как глубоко и верно в самом принципе раскрыла Г. Николаева все богатство души всецело увлеченного своим творческим трудом человека...» (II Всесоюзный съезд писателей. Стенографический отчет.— М., 1956, с. 103).

Отдельное издание повести («Молодая гвардия», 1954), в которое писательница внесла небольшие поправки, вызвало новую волну читательских писем и критических отзывов (Евтеева Г. и др. Повесть о сильных характерах.— Известия, 1955, 6 марта; Николаев В. О слугах народа и подрядчиках.— Молодой колхозник, 1955, № 3, с. 25 и др.).

«Повесть является шагом вперед в творчестве писательницы,— говорилось в «Известиях» (Евтеева Г. и др. Указ. соч.),— верность действительности, острота и актуальность поставленных проблем, художественно убедительное их решение делают повесть Г. Николаевой значительным событием в нашей литературе».

С переосмыслением задач литературного творчества в эти годы было связано появление большого количества проблемных статей. Во многих из них авторы обращались к проблематике повести Г. Николаевой (Тарасенков А. Свет гуманизма.— Лит. газета, 1955, 15 февраля; Озеров В. Художественное открытие мира.— Лит. газета, 1955, 17 марта; Кузнецов М. Русская советская проза 1954 г.— Лит. газета, 1955, 2 апреля; Эльяшевич А. Правда жизни и мастерство писателя.— Звезда, 1955, № 7, с. 174—175; Фиш Г. На колхозную тему.— Новый мир, 1955, № 8, с. 238—240; Берце В. О жизненной правде характеров.— Правда, 1955, 28 сентября; Злобин А. Сила нового.— Лит. газета, 1955, 18 октября).

Горячая дискуссия развернулась на созванном секретариатом Союза писателей СССР в конце октября 1955 г. Всесоюзном совещании литераторов — авторов произведений о колхозной действительности. Основной докладчик на этом совещании, В. Овечкин, выдвигая в качестве главного критерия художественности правдивое отражение действительности, подверг критике «Повесть о директоре МТС и главном агрономе» за отсутствие логики жизни, неправдоподобность ситуаций, слабую мотивировку образа героини. Основная цель писателя заключалась в желании отстоять право художника на адекватное отражение жизни в литературе. Докладчик пытался сопоставить «меры-полумеры» правды на конкретных примерах (Овечкин В. Колхозная жизнь и литература.— В кн.: Жизнь колхозной деревни и литература. М., 1956, с. 64—65).

Некоторые из следующих докладчиков (И. Рябокляч, Г. Троепольский), проводя идею основного доклада, также выделяют

«Повесть о директоре МТС...», критикуя уже с полемической запальчивостью ее фактические неточности. Столь неожиданный поворот критики вызвал неадекватно острую реакцию писательницы. В ответном слове «О несостоятельности выступления В. Овечкина» Г. Николаева обвиняет, в свою очередь, докладчика в отсутствии в его произведениях художественно-философских обобщений: «И так же, как из анализа жизни, сделанного В. Овечкиным, выпало основное звено — анализ сложных и противоречивых процессов, вместо которых встал перечень нескольких проблем, так из анализа литературы выпал основной критерий — типическое» (там же, с. 182).

Спор Г. Николаевой с В. Овечкиным повлек за собой поток критических «за» и «против». Мнения критиков разделились. «В наше время,— писали одни,— когда откровенная лакировка уже невозможна, примечателен компромиссный ход» (Кардин В. Искатель или обыватель.— Молодая гвардия, 1956, № 1, с. 203—208). «Но можно ли на этом основании сбрасывать повесть со счетов или же считать ее беспроблемной...» — выступили в защиту другие (Озеров В. Проблемы и характеры.— Октябрь, 1956, № 6, с. 172—173), увидевшие в произведении существенность выведенных образов, обстоятельств. Итак, отрицательную оценку в этой дискуссии получила повесть, как «произведение на колхозную тему», однако содержание повести этим не исчерпывается: повесть «рассказывает о том, как вступают в жизнь два хороших советских молодых человека... о двух разных путях, которыми они идут по жизни» (Сойфер В. Вступление в жизнь.— Молодой Ленинград, 1956, № 2, с. 255—261).

Большинство критиков этого периода, соглашаясь с упреками в адрес повести, указывают на феномен ее успеха: «Эта девочка с косичками,— писал С. Залыгин,— ...обошла страницы молодежных газет, не задерживаясь подолгу на библиотечных полках, посещает студенческие общежития, колхозные полевые станы, вместе с учебниками по алгебре и географии путешествует в сумках школьников, а еще больше — школьниц. Значит, есть в ней какая-то правда. Это — правда художественного образа...» (Мысли после совещания.— Новый мир, 1956, № 1, с. 218—228).

Г. Николаева, как писатель-исследователь, в середине 50-х годов, во время перемен, все более требующих личной инициативы, задумывалась над сутью положительного образа нового времени. Она ищет героя, который должен нести новый стиль руководства, обусловленный ленинскими нормами партийной жизни. Она ищет тему, внутри которой может созреть такой герой. Не случайно именно в эти годы писательница часто выступает с теоретическими статьями, в которых излагает свое писательское кредо.

У редактора отдельного издания повести («Молодая гвардия», 1954) сохранились заметки писательницы о замысле и задачах этого произведения: «В повести дать труд как место и

способ наиболее полного и страстного раскрытия человеческих характеров... как наивысший критерий ценности человека и как раскрытие его сущности» (Воспоминания о Г. Николаевой.— М., Сов. писатель, 1984, с. 140). «Основное в этом образе,— проектировала писательница свою героиню,— ...не ложная романтичность, но боевой партийный дух, данный в действии, борьбе и победе» (там же, с. 140).

Ответом оппонентам по литературному творчеству явилась статья «За один год» (Знамя, 1956, № 5, с. 140—160), в которой Г. Николаева отстаивала свою идейно-художественную позицию: «В нашем обществе есть все объективные возможности для стремительного взлета, и вопрос в субъективном факторе — в умении людей использовать эти возможности».

Основной конфликт повести и сущность, заложенная в образе Насти Ковшовой, разовьются в дальнейшем — в романе «Битва в пути». «Повесть эта мне дорога,— признавалась Г. Николаева в письме к А. Тарасенкову,— так как очень много вложила в нее принципиально важных для меня вещей... Я в этой повести утверждаю свою тему, свой метод. Верность методу и теме сохраняю и в новом романе» (ЦГАЛИ, ф. 2292, оп. 1, ед. хр. 36).

Повесть издавалась во многих странах мира, была инсценирована в соавторстве с Э. Радзинским (пьеса «Первая весна» издавалась в кн.: В родном краю.— М., 1955, с. 65—118), с успехом шла во многих театрах страны.

В 1959 г. по мотивам повести был снят фильм под названием «В степной тиши» (сценарий М. В. Сагаловича).

Печатается по книге Г. Николаевой «В человеке не без чуда» (М., 1963).

РАССКАЗЫ

Тина.— Впервые в книге: Николаева Г. Гибель командарма и другие рассказы.— М. Сов. писатель, 1983; с сокращениями — Литературная газета, 1968, 11 декабря, с. 7.

Написан как глава, продолжающая роман «Битва в пути» (подробнее об этом см. комментарий ко второму тому настоящего Собрания сочинений).

Публикуется по автографу, находящемуся в ЦГАЛИ (ф. 2292, оп. 2, ед. хр. 6).

Я люблю нейтрино! — Впервые: в журн. «Наука и жизнь» (1968, № 4); отрывок печатался в «Литературной газете» (1964, 9 января).

В виде рассказа напечатана первая часть начальной главы неоконченного романа «Сильное взаимодействие» (вторая часть сохранилась лишь в черновых вариантах). «После двухлетних

колебаний и поисков,—писала Г. Николаева в 1957 г.,—я решила писать об ученых, работающих в области физики» (ЦГАЛИ, ф. 2292, оп. 1, ед. хр. 78).

Писательница так объясняла истоки своего интереса к этой теме: «Сама специальность обязывает ученых-физиков ко многому, хочется раскрыть психологию человека, наделенного такой громадной ответственностью за жизнь» (Ленинское знамя, 1963, 2 февраля). Еще точнее она формулирует причины выбора темы в переписке с читателями: «Это «модная» тема, но отнюдь не мода увлекла меня. ...Сенсационность этой темы заставила относиться к ней сдержанно. Привлекало другое. Я люблю писать о проблемах и вопросах, наиболее решающих судьбы страны... потому что, как правило, вокруг них концентрируются люди наиболее действенные, целеустремленные, волевые, преданные идее коммунизма» (ЦГАЛИ, ф. 2292, оп. 1, ед. хр. 78).

Писательница серьезно занялась изучением современной физики. В исписанных убористым почерком толстых тетрадях, среди тщательно законспектированного материала, часто встречаются собственные, очень яркие и образные сравнения. Должна была найти отражение в романе и до последних дней жизни волновавшая писательницу тема колхозной деревни: «Эти, казалось бы, несовместимые в романе вещи в моей душе необходимо и органически сливаются. Я не могу психологически оторваться от русской деревни, поэтому у меня роман о физиках будет переплетаться с жизнью деревни. Я считаю, что деревня—одна из самых серьезных проблем нашей страны!!!» (Там же, с. 161).

Беседы в Академии наук СССР, поездки в Дубну, где проходят встречи с ведущими учеными, многочисленные беседы с молодыми научными сотрудниками, присутствие на экспериментах, ведущихся на ускорителе,—таков ритм последнего года жизни писательницы.

Нравственный максимализм, присущий главной героине романа, ставил ее в ряд любимых героинь Г. Николаевой. «Почему женщина?—делилась она своими замыслами с прототипами своего будущего романа.—Мне, как женщине, это будет легче писать. И в Дубну я приехала в основном за поиском героини... Кажется, я ее уже нашла... Моя героиня пришла в физику из деревни... С деревней ее связывает и последующая жизнь...» (Воспоминания о Г. Николаевой, с. 191).

Роман был уже выстроен в уме писательницы, о чем говорят ее записи с заголовками: «К концу», «К эпилогу» (ЦГАЛИ, ф. 2292, оп. 2, ед. хр. 101). «Хочу написать по объему примерно в три раза меньше «Битвы в пути», но по емкости больше»,—говорила Г. Николаева в одном из своих интервью (Рубашова З. Слушая ритм времени.—Литература и жизнь, 1962, 14 сентября, с. 2—3).

Подробнее о работе Г. Николаевой над романом о физиках

см. статью М. В. Сагаловича в журнале «Наука и жизнь» (1968, № 4, с. 108—113).

Рассказ печатается по автографу (машинопись с правкой автора), находящемуся в ЦГАЛИ (ф. 2292, оп. 2, ед. хр. 10).

Рассказы бабки Василисы про чудеса.— Впервые: в журн. «Октябрь», 1962, № 3. Отдельные рассказы из цикла печатались: в газете «Известия» (1962, 4 февраля), в «Бюллетене» пресс-бюро «Правды» (1962, 5 марта), в «Курской правде» (1962, 19—20 марта). Отдельное издание вышло в 1964 г. (издательство «Молодая гвардия»).

Время работы над этой вещью в предпоследний год жизни писательницы прослеживается с точностью до одного дня по ее дневникам. В записях от 5 июня 1961 г.— один из вариантов плана будущей книги. Это очень характерный для Г. Николаевой метод определения нравственно-психологического каркаса произведения:

«В чем загадка бабки Василисы? Поиск? Что сделано в жизни, чтобы стоять? Познание...

Противоречия образа: ирония и мечта!.. Что веет в воздухе? Когда совершаются события, что замыкается, прячется в душе?.. Противоречие — скепсис и вера... Вечное борение мечты и иронии. Хотим. Не умеем. Будем уметь» (ЦГАЛИ, ф. 2292, оп. 2, ед. хр. 27, л. 71—72).

Записи этого лета в дневнике писательницы говорят о наполненности ее творческой жизни образом «бабушки Василисы»: «В круговой охране сосен я, Максим, бабушка Василиса, пара друзей, да время, исчисляемое по цветам» (30 июня). Уже как о законченном характере, тепло и восторженно, отзывается она о своей героине 1 августа: «Люблю ее милую душу, такую русскую в ее самоотверженной доброте и жестокой правдивости, в ее боевой ярой потребности в справедливости, в ее умении все понять, над всем усмехнуться, в сочетании наивной веры с острой прозорливостью...» («Наш сад»).

И, наконец, запись 11 ноября: «Рассталась с бабушкой Василисой — «пустила в люди...».

Работа над «Рассказами бабки Василисы про чудеса» связана с пересмотром творческого метода писательницы. «Я ищу необычной для меня формы,— скажет она в промежутке между окончанием цикла этих новелл и началом работы над романом о физиках,— очень сжатой, компактной. К этой форме я подходила в новеллах» (Рубашова З. Слушая ритм времени.— Литература и жизнь, 1962, 14 сентября, с. 2—3).

Такое, казалось бы, неожиданное для Г. Николаевой произведение было по всей своей сути органичным и закономерным: в ритмично организованном, сказовом повествовании бабки Василисы узнаются фольклорная напевность и чуткое внимание к языку, характерное для всего творчества Г. Николаевой.

Поэтический язык в «Рассказах...» становится как бы не формальной, а содержательной стороной произведения. Если перед созданием предыдущих своих произведений писательница изучала колхозную действительность, деятельность тракторостроительных заводов и прочее, то основным объектом исследования здесь становится народный язык. Сохранились тетради писательницы с выписками из словаря Даля, словарей народных пословиц и поговорок. Характерно, что параллельно с этими выписками писательница составляет словарь неологизмов, в большей своей части также использованный в произведении. Свойственное ей символическое осмысление слова просматривается уже в черновиках. «Пустырь—образ неверия, пустырь в душе»,—такие своеобразные толкования можно найти в этих записях (ЦГАЛИ, ф. 2292, оп. 2, ед. хр. 22).

Г. Николаева сама вводит читателя в художественный мир произведения: «Василисе восьмой десяток... Родившись в глуши России отсталой, полуфеодальной и прожив в ней треть века, Василиса руками одиннадцати своих детей и первых внуков прикоснулась к коммунизму. Поэтому неизбежно и в языке ее смешение старых русских слов, выражений, пословиц с лексикой наших дней...

Русскому характеру присуще своеобразное, как бы даже противоречивое единство ума трезвого, беспощадного, насмешливого с душевной потребностью жить высокими идейными помыслами...

Активность жизненных прототипов Василисы проявляется обычно не только в труде и во всем их жизненном поведении, но и в языке. Речь таких людей, как правило, отличается сочностью. Они как бы воюют с языком стертым, безликим, казенным той афористичностью, меткостью, остротой слов...» (Николаева Г. В человеке не без чуда. М., 1963, с. 3—4).

Критика довольно вяло встретила новое произведение писательницы. Появилась по существу одна рецензия (Бровман Г. Сердце матери.—Литература и жизнь, 1962, 15 июля). В нескольких статьях, как обзорных, так и проблемных, уделивших внимание рассказам, они рассматриваются в ряду других произведений (Яновский Н. С веком наравне: Основные тенденции развития современной русской прозы.—Сибирские огни, 1963, № 2, с. 169—178; Дымшиц А. Журналы в марте: Литературное обозрение.—Огонек, 1962, № 15, с. 26; Наполова Т. Сила правды.—Звезда, 1962, № 6, с. 165—166; Кожевникова Н. Из жизни языка.—В кн.: Литературная Россия. М., 1962, с. 484—485).

Отмечалась необычность формы нового произведения: «Неожиданной предстает Г. Николаева в «Рассказах бабки Василисы про чудеса». Такой всецело погруженной в словесную поэзию фольклора, в стилистику русского сказа мы Николаеву не знали... Мы знали ее, поэта, всегда чувствовали поэтичность ее

прозы, но эта богатейшая связь с народной сказовой поэтической речью открылась в Николаевой впервые» (Дымшиц А. Указ. соч.). Удачен, по мнению критики, образ главной героини: «Образ превосходно нарисован... с большим чувством правды и тактом истинного художника...» (Бровман Г. Указ. соч.). Отмечался гуманистический пафос произведения (Яновский Н. Указ. соч.).

Однако серьезного, критического разбора столь дорогое автору произведение так и не получило.

«Рассказы бабки Василисы про чудеса» печатаются по тексту книги «В человеке не без чуда» (Сов. Россия, 1963).

Наш сад.— Впервые: в журн. «Октябрь», 1964, № 10. Фрагменты были напечатаны в газете «Известия» (1964, 26 августа, с. 4). В 1966 г. издается отдельной книгой с предисловием Ц. Дмитриевой (М., Сов. Россия).

В 1961 г. Г. Николаева начинает вести записи «событий» в саду. Первые тетради с надписью «Сад» содержали самые различные заметки о посадках, наблюдения за пробуждающейся природой. Постепенно записи переросли в дневник, переработанный автором в 1962 г. под названием «Летопись сада. Сад, искусство, любовь». На первой странице была сделана надпись: «Наш с Максимушкой календарь (по секрету от Максима)... О саде, о любви, об искусстве. Только для себя...» (ЦГАЛИ, ф. 2292, оп. 2, ед. хр. 27, 28).

В «Летописи сада» Г. Николаева объединила записи своих наблюдений и размышлений от марта 1961 г. с дневником 1962 г. Из дневниковых записей выросла лирическая поэма в прозе, в которой переплелись, периодически варьируясь, как в музыкальной пьесе, постоянно волновавшие писательницу темы — природа, любовь, место писателя в жизни страны.

Этот дневник Г. Николаева продолжала до последних дней своей жизни. Ее тетради, включающие записи 1963 г., представляли собой довольно разрозненный материал, который при первой публикации текстологи вынуждены были обработать. Объединенные с «Летописью сада», они получили название «Наш сад». В опубликованный текст 1963 г. вошли некоторые черновые наброски других произведений (план «Рассказов бабки Василисы про чудеса», небольшой отрывок из романа «Сильное взаимодействие», стихотворения).

В настоящем издании в целях сохранения органической целостности жанра, следуя художественному строю «Летописи сада», составители сочли возможным исключить эти черновые наброски.

Печатается по автографам, находящимся в ЦГАЛИ (ф. 2292, оп. 2, ед. хр. 25—29).

СКАЗКИ

Сказка про сороку (Почему сорока ни на одну птицу не похожа).— Впервые: в журн. «Мурзилка», 1946, № 2—3. Рис. Е. Рачева. Печатается по журнальной публикации.

Про Вор-воробья и Мышку-воришку.— Впервые: также в журн. «Мурзилка», 1946, № 2—3. Рис. Е. Рачева. Печатается по тексту журнала.

Про Якало-Моекало.— Впервые: посмертно, в «Литературной России», 1965, № 2. Печатается по автографу (машинопись с правкой автора), находящемуся в ЦГАЛИ (ф. 2292, оп. 2, ед. хр. 13).

Волчище — завидущие глазища.— Впервые: в «Литературной России», 1965, № 2. Печатается по автографу (машинопись с правкой автора), находящемуся в ЦГАЛИ (ф. 2292, оп. 2, ед. хр. 13).

Сказка про Ненасытное Чудище.— Впервые: посмертно, в журн. «Детская литература», 1967, № 7. Печатается по автографу (машинопись с правкой автора), находящемуся в ЦГАЛИ (ф. 2292, оп. 2, ед. хр. 13).

Про Нюшку Грязнушку. Сказка про сосну.— Впервые в кн.: Николаева Г. Собр. соч. в 3-х т., т. 3. М., 1973, с. 488—492. Печатаются по автографам (машинопись с правкой автора), находящемся в ЦГАЛИ (ф. 2292, оп. 2, ед. хр. 13).

Цикл сказок о фее и пионерах Артека.— Написан в 1946 г. Впервые (неполностью, составители сочли художественно незавершенной третью сказку этого цикла «О том, что стало с волшебной палочкой») в кн.: Николаева Г. Собр. соч. в 3-х т., т. 3. М., 1973, с. 492—497. Печатается по автографу, находящемуся в ЦГАЛИ (ф. 2292, оп. 2, ед. хр. 12).

СТИХОТВОРЕНИЯ

Стихи увлекли будущую писательницу еще в школьные годы. Будучи аспиранткой Горьковского медицинского института, она опубликовала несколько стихотворений в «Горьковской коммуне» (1939, 20 февраля).

В 1944 г. начинающая писательница посылает Н. Тихонову в Москву тетрадь своих стихотворений. Стихи дошли до адресата.

Н. С. Тихонов принес тетрадь на заседание редколлегии журнала «Знамя». Сразу же была послана в Нальчик ободряющая телеграмма, следом — восторженные отзывы.

Стихи были опубликованы в двух номерах журнала «Знамя»: в № 2 за 1945 г. («Завещание», «Дома», «Маме», «Мария», «Мы не прежние», «Все те же здесь бревенчатые стены...», «Волга», «Колыбельная», «Осенняя песня», «О любви», «Подруге», «Порванное письмо», «Степь», «Суховей», «Ты не можешь погибнуть, пока я жива...», «Эта весна», «Эшелон», «Я из тех, из молчаливых...», «Я помню, как бывало одиноко...»), и в № 4 за 1945 г. («Для вас, закрывших Родину телами...», «О двух братьях», «Мои стихи», «Не говори, мне больно слышать...», «Тебе», «Я приготовила алые флаги...», «Прощанье с молодостью», «Залегли дороги дальние...», «Волге», «Дым на заре»). В том же году в «Комсомольской правде» 20 мая публикуется стихотворение «Рябина-калина», 12 июля — стихотворения «Встреча в пути», «Геологи», «Рыжики».

Стихи имели большой успех. Их переписывали от руки.

Но новой подборке стихов, присланной автором в «Знамя», А. Тарасенков дает строгий и взыскательный анализ. Критика такого авторитетного ценителя поэзии, как А. Тарасенков, по-видимому, сильно повлияла на Г. Николаеву, так как стихотворений, о которых он отрицательно отозвался («Весна в саду», «Поэт», «Фриц»), не сохранилось даже в архиве писательницы. Думается, что это повлияло на «поворот» к прозе, который совершила начинающая поэтесса.

В № 5 журнала «Знамя» за 1946 г. было опубликовано всего 4 стихотворения: «Воспоминание», «Встреча в пути», «Сказка о холодном пламени», «Сама с собой» («В час победы»). В это же время в журнале «Ленинград» (1946, № 5) вышли: «Невернувшемуся», «В дороге», «Опять», «И все то же...», «Москва. Огни. И улицы-колодцы...». Опубликованные стихотворения в основном составили сборники: «Стихи» (Нальчик, Кабгосиздат, 1945) и «Сквозь огонь» (М., Сов. писатель, 1946).

Критика неоднозначно отозвалась на поэтический дебют Г. Николаевой. Самые суровые критики заметили в них чуть ли не одно несовершенство формы. «...Стихи шершавы, не обработаны, — писал Н. Вильям-Вильмонт, — они слишком литературны...» (Поэзия и литературщина. — Лит. газета, 1946, 4 декабря, с. 3).

Другие критики, также находившие в стихах Г. Николаевой недостатки, тем не менее выделяли их из ряда «других стихов в тех же журналах» тем, что «в них бьется живое человеческое сердце, они полны неподдельного чувства, подкупающей искренности» (Макаров А. По страницам журналов. — Новый мир, 1945, № 5—6, с. 172—182), видели в стихах «ценность свидетельского показания и исповеди» (Соловьев Б. Стежки-дорожки. — Новый мир, 1946, № 9, с. 141—146).

Наиболее глубокую и даже, можно сказать, пророческую характеристику-ключ к творчеству Г. Николаевой дал И. Сельвинский: «Певучесть ее стихов проистекает не из нарочитого желания поэтессы быть певуньей, а из энергического, сильного и отважного строя ее души» (Знамя, 1947, № 1, с. 165—167).

Судьба Г. Николаевой сложилась таким образом, что в дальнейшем ее имя как поэта было практически забыто. Автор известных и нашумевших романов, она и сама ощущала себя прежде всего прозаиком. Но стихи тем не менее прошли через всю ее жизнь, они ощущались в прозе, связанной подчас образными реминисценциями со стихотворными пейзажными зарисовками: картина знойного летнего дня, окончившегося дождем в «Жатве», и стихотворение «Дождь»; стихотворение «Сосна» и сосны в «Битве в пути», в «Нашем саде», где писательница скажет: «Сосны — деревья моей жизни», и т. д. Как отмечают исследователи ее творчества, «ее прозаические произведения отличает лирическая экспрессивность... лирико-проникновенные интонации. Влияние поэтического дара сказывается и на ее стремлении к ритмической организации речи» (Лушицкая И. Начало большого пути: О поэтическом творчестве Г. Николаевой.— Сб. науч. работ Белорус. гос. ун-та. Минск, 1967, вып. 1, с. 25—51).

В 1955 г. под заглавием «Через десятилетие» в журнале «Знамя», № 5 были опубликованы новые поэтические вещи Г. Николаевой: «Рубеж обороны», «Родине», «Если радость на руку садится...», «Я только тебе не перечу...», «Рифма», «Скупец за поживу удушит...», «Я не приму твоей простой души». Цикл «Через десятилетие» был встречен отрицательной рецензией (Турков А. Через десятилетие.— Октябрь, 1955, № 6, с. 174—176), и с тех пор писательница не публиковала своих стихов, продолжая, однако, их писать и выражая через них самые сокровенные свои размышления, неразрывно связанные с жизнью страны, так как принятие на себя ответственности за все, что происходит вокруг, стремление соизмерять каждую мелочь своего бытия «с огромной поставленной целью» было «органикой» писательницы, по ее собственному признанию.

Все остальные стихи, представленные в настоящем томе, кроме перечисленных здесь и вошедших в ее два прижизненных сборника стихотворений, были опубликованы посмертно. Это такие стихи военных лет, как «Молчаливым нет пути иного...», «Русским женщинам» (Работница, 1965, № 1), «Потомку», «Мы перешли тяжелый перевал...», «Разговор с тоской» (Лит. наследство, т. 78, ч. 1); несколько стихотворений из поэмы «О самом главном» (Лит. газета, 1971, 3 марта, с. 7).

Стихотворения 1961—1963 гг. («Концерт Шостаковича», «Взлетают спутники...», «Покорно жду бессонницы и сна...») и 12 стихотворений из цикла «О самом главном» были опубликованы в Собрании сочинений Г. Николаевой (М., Худ. лит-ра, 1973).

Наиболее полно ее лирика представлена в отдельно вышедшем сборнике (Николаева Г. Стихи.— М., Сов. писатель, 1984), в который вошли ранее не публиковавшиеся произведения («Моя дорогая эпоха», «Под луной река блестит, как олово...», «Одно твердишь без повторенья...», «Прохожу я серединой мостовых...», «Я порой на стук не открываю...» и т. д.). В сборник включены также некоторые забытые стихотворения из «Горьковской коммуны» 1939 г. и из изданного в Нальчике сборника 1945 г. («Третий год с любых путей-дорог», «Что ты бродишь неприкаянный...», «Не тому портрет дарила», «Ты приходишь...» и пр.).

Попытки анализа поэтической стороны творчества Г. Николаевой предпринимались после ее смерти (Лущицкая И. И. Указ. соч.; Николаенко Н. Любовью рожденная лирика.— Радуга, 1970, № 4, с. 173—178 и др.).

Стихотворения печатаются по сборникам: «Стихи» (Нальчик, 1945), «Сквозь огонь» (М., 1946), по журнальным публикациям и автографам, хранящимся в ЦГАЛИ (ф. 2292, оп. 2, ед. хр. 30—31, 32, 35) и в архиве М. В. Сагаловича.

ПУБЛИЦИСТИКА

Колхоз «Трактор».— Впервые: в журн. «Знамя», 1948, № 3.

На смену успеху, пришедшему после публикации стихотворений и рассказа «Гибель командарма», к начинающей писательнице, щедро вложившей в эти произведения свои фронтовые впечатления, пришло творческое опустошение. Кончилась неудачей попытка в жанре драматургии (в ЦГАЛИ хранятся рукописи двух пьес Г. Николаевой — «Закулисная история» и «Полдня в семье Степановых»).

На творческом перепутье Г. Николаева работает как очеркист.

«Колхоз «Трактор» — третий написанный в ее жизни очерк (первым был военный очерк «Врач Бахирева» — Мед. работник, 1945, 16 августа; вторым — «Елизар Куратов», опубликованный позднее в «Волжском альманахе» (1948, № 6) и отдельным изданием (Горький, 1948) в серии «Знатные люди области»). Именно третьему очерку было суждено сыграть поворотную роль в творческой судьбе писательницы. Беспрецедентна была перепечатка этого очерка из журнала «Знамя» газетой «Правда» (1948, 31 марта, 1—2 апреля). В послевоенные годы восстановления народного хозяйства убедительно и достоверно описанный пример успешного хозяйствования на селе заключал в себе одновременно художественный, экономический и политический смысл, так как описание автор вел «через людей, через их де-

ла, мысли и чувства» (Николаева Г. О специфике художественной литературы.— Вопросы философии, 1953, № 6, с. 127—154).

Жанр очерка стал своего рода открытием для писательницы и определил ее писательскую судьбу, открыв «методику поиска» того живого материала, на основе которого были написаны позже ее известные романы.

В результате этого успеха «Литературная газета» предложила Г. Николаевой стать ее специальным корреспондентом. «Я еще не раз была в «Тракторе»,— писала она уже после публикации очерка,— очень сжилась с колхозом. Сейчас много работаю над не то романом, не то повестью...» (Воспоминания о Г. Николаевой, с. 63—64).

Таким образом, очерк «Колхоз «Трактор» неразрывно связан с романом «Жатва». Это и первая «проба», и подготовительный материал для романа.

Очерк вызвал положительные критические отзывы (Галин Б. Чувство времени.— Правда, 1948, 25 августа; Константинов А. Очерк о передовом колхозе.— Новый мир, 1948, № 8, с. 262—263; Агапов Б. На боевых позициях.— Лит. газета, 1949, 4 мая).

Работа писательницы по изучению колхоза привлекла внимание специалистов сельского хозяйства. По просьбе Сельхозгиза Г. Николаева включила в изданную в 1949 г. брошюру результаты проведенных исследований. «Написала монографию о колхозе «Трактор»,— отзывалась Г. Николаева об этой брошюре,— стало хуже, чем очерк, но острее» (Воспоминания о Г. Николаевой, с. 100).

Вследствие этого очерк публикуется по тексту журнала.

Черты будущего в колхозе «Красный Октябрь».— Впервые: в газ. «Правда», 1949, 7 и 8 января.

Написан о передовом колхозе Кировской области. В. Вишневский, главный редактор журнала «Знамя», куда в 1948 г. Г. Николаева представила первый вариант романа «Жатва», увидел в рукописи «развал России» (ЦГАЛИ, ф. 1038, оп. 1, ед. хр. 1999, л. 1). «Народу нужно дать образы привлекательные, здоровые, примерные, учащие...» — писал он в рецензии на рукопись (там же, л. 4). Писательнице предложили поехать в более благополучные колхозы и там, в гуще жизни, проверить свои выводы (Воспоминания о Г. Николаевой, с. 67).

К чести автора, она не поставила в центре своего романа передовой колхоз «Красный Октябрь», в который была послана по командировке для дальнейшей работы над романом. Но некоторые прототипы (например, Екатерина Лалетина) послужили ей материалом для романа, о чем подробнее написано в комментариях к 1-му тому настоящего Собрания сочинений.

Очерк был положительно оценен критикой (Лукин Ю. Поэзия нашей жизни.— Новый мир, 1949, № 3, с. 249—251). Ему уделили внимание исследователи очеркового жанра (Росляков В. Советский послевоенный очерк.— М., 1956, с. 125—130; Журбина Е. Искусство очерка.— М., 1957, с. 119—124). Специальная статья была посвящена исследованию влияния очерков «Колхоз «Трактор» и «Черты будущего» на роман «Жатва» (Соловьева И. А. От очерков к роману.— Уч. записки Саратовского гос. университета, 1954, т. 41, с. 181—194).

Печатается по публикации в газете «Правда».

А. Александрова

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

ПОЭЗИЯ

1937—1940

Николаева Г. Е.

H63 Собрание сочинений. В 3-х т. Т. 3: Проза; Поэзия; Публицистика./Сост. М. Сагаловича. Научн. подгот. текста и коммент. А. Александровой.— М.: Худож. лит., 1988.— 495 с.

ISBN 5-280-00145-7 (Т. 3)
ISBN 5-280-00144-9

В заключительный том настоящего Собрания сочинений вошла проза 50—60-х годов, а также поэтические и публицистические произведения писательницы.

Н 4702010200-216 / 028(01)-88 подписное

ББК 84Р7

Галина Евгеньевна
Николаева

Собрание сочинений

Том третий

Редактор
Т. Шеханова

Художественный редактор
Е. Ененко

Технический редактор
Г. Такташова

Корректоры
О. Стародубцева
И. Шевякова

ИБ № 4946

Сдано в набор 20.08.87. Подписано в печать 05.04.88. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 26,04. Усл. кр.-отт. 26,04. Уч.-изд. л. 25,26. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-2811. Заказ 1546.
Цена 2 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» им. А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28